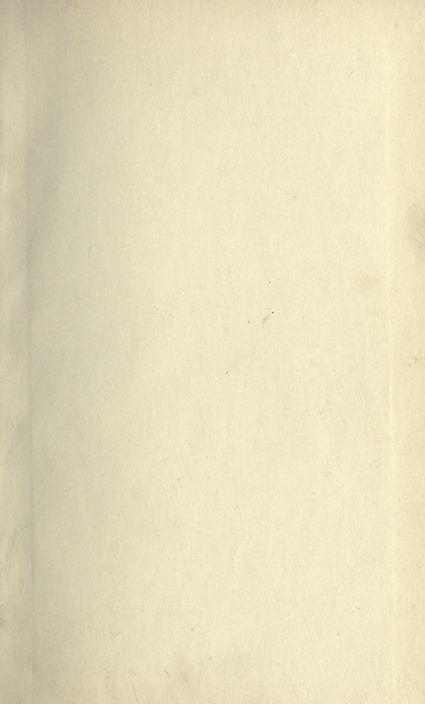
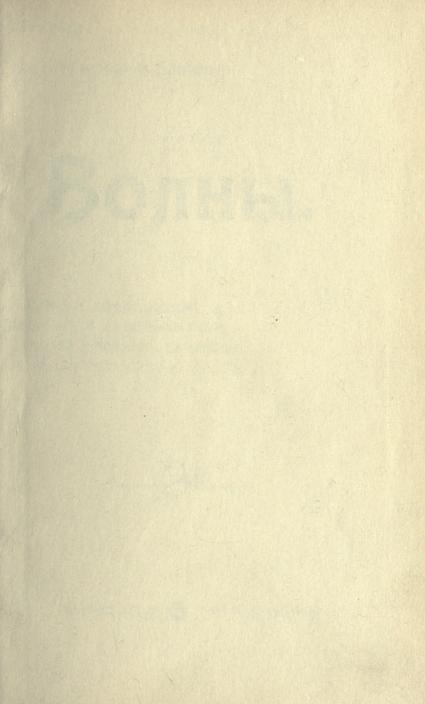


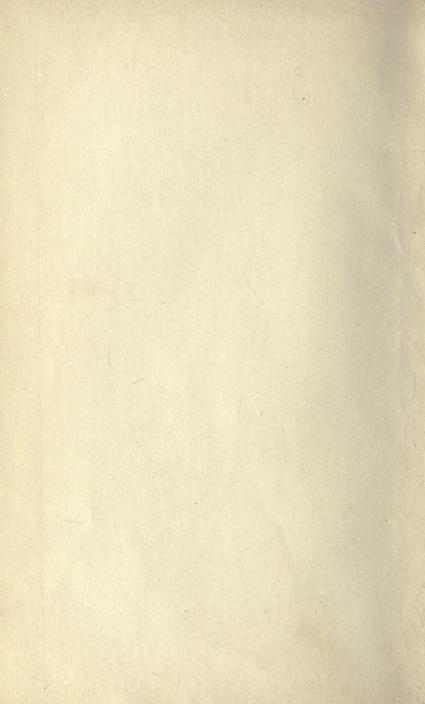
HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS









Nemirovich-Danchenko, Vasitii Ivanovich

Вас. Немировичъ-Данченко.

Волны.

I. ВОЛНЫ; II. НОЧЬЮ и ДНЕМЪ; \triangle \triangle III. СОБАКА; IV. НА ПЕРВЫХЪ ПОРАХЪ; V. РУССКІЙ ХУДОЖНИКЪ ВЪ ВЕНЕЦІИ; VI. НЕ ОТЪ МІРА СЕГО. \triangle \triangle \triangle \triangle



PG 3467 N4V62 1907





Волны.

Повъсть.

Люби, пока любить ты можешь, Иль часъ ударить роковой— И станешь съ позднимъ сожалѣньемъ Ты надъ могилой дорогой.

Изъ *Фрейлихграта* (перев. А. Н. Плещеева).

I.

Солнце, море и горы... Какъ хорошо кругомъ, какъ легко дышится, какъ беззаботно живется здѣсь! Кажется, все, что еще вчера туманило мысль и сѣрыми тучами заволакивало измученную душу, отошло далеко.. Такъ далеко, что даже странно дѣлается: было ли это все, или только снилось? Неужели позади оставлены навсегда и сырые туманы, и вражда, и злоба? Дѣйствительность ли этотъ разладъ, или такъ нанесло кошмаръ, и опять его прочь потянулъ южный вѣтеръ туда, на сѣверъ, къ болотамъ, къ сѣрымъ небесамъ, къ мертвящему холоду?..

Солнце, море и горы! Синева то, синева какая; смотришь и не насмотришься! Все утонуло въ ней: и вершины лиловатыхъ утесовъ, и тихія волны, и глубокое, благоговъйною тишиною въющее на счастливую землю, мистически-задумчивое небо... Да, вотъ оно счастье, безмятежное, полное, не оставляющее ничему мъста въ душъ, ничему, кромъ сознанія этого праздника природы... Неужели же есть еще гдъ-нибудь скучныя длящіяся будни? Имъ уже не върится, хотя ихъ пережиль самъ...

Солнце, море и горы... Солнце горить на голубыхь волнахъ серебряными бликами, волны словно ластятся къ тихимъ берегамъ, разбрасывая на ихъ желтыхъ отмеляхъ бълое кружево своей пъны... Горы смотрятъ и на солнце и на море и не наглядятся. Смотрятъ, убравшись въ зеленыя рощи, въ лиловыя тъни; смотрятъ, привольно раскидываясь въ тепломъ свътъ... Что тамъ за ихъ утесами? Отъ кого загородился ими чудный край? Кого онъ не пускаетъ сюда?..

Солнце, море и горы... И Алексъй Петровичъ Верховенскій притворился даже, что не слышалъ, когда чей-то голосъ съ мраморной террасы позвалъ его въ твнь и прохладу плотно заввшанныхъ шторами комнать. Солнце, море и горы! Воть уже нъсколько дней, какъ онъ ихъ видитъ и любуется ими. Утромъ, просыпаясь, онъ спѣшить выйти сюда-и только ночь съ ея таинственнымъ сумракомъ загоняеть его домой. Мраморная терраса тоже къ лицу всему его окружающему. Отовсюду она заткана лозами винограда, вътвями плюща, какими-то розовыми цвътами, и стоитъ только лънивому вътру шевельнуться, чтобы эти легкія завъсы зашептали и зашелестили нъжно, мягко и ласково, -такъ ласково, что сердцу даже больно становится, -- отчего оно не въ силахъ угадать и распознать этотъ шопотъ... Птица порой слетить сюда, уцъпится за зеленую вътку и поетъ-разливается, словно опьянъвъ отъ этого воздуха, отъ этого аромата кругомъ. По мрамору террасы тып перепутавшихся листьевь и вытвей колеблются и дрожать вперемежку съ солнечными просвытами... А за этимъ сквознымъ занавысомъ видны роскошныя, всею полнотою жизни выющія магноліи, громадные былые цвыты которыхъ словно отъ истомы жадно раскрылись солнцу; торжественно молитвенные, стройные кипарисы, стремящівся отъ земли къ глубокому синему небу, страстныя алыя розы и поблыднывшія словно отъ неизмыримаго счастья, котораго оны не въ силахъ вынести, большія былыя лиліи... А тамъ, за ними—это море,—море съ его немолчнымъ шумомъ, море, которое съ утра до ночи и ночью точно чего-то допрашивается у молчаливой земли и допроситься не можеть!

— Что же ты, Алексый! Дозваться тебя нельзя.

И на террасу вышла красивая брюнетка, слегка нахмуривъ брови, ръзко очерченныя надъ горячими глазами.

- Я уже думала, что ты ушелъ!—недовольно проговорила она.
 - Никуда не хочется отсюда...
- Да въдь не убъжить отъ тебя наша терраса. И сегодня, и завтра, и послъзавтра будеть она здъсь же. А тамъ завтракъ ждеть.

Алексъй Петровичъ вздохнулъ и вошелъ въ комнаты.

- Лучше бы завтракать на воздухъ.
- Спасибо. Я и безъ того ни на что не похожа. Загоръла до неприличія! Да и ты облънился совсъмъ. Посмотри-ка на свои мольберты—не стыдно? Въ Пе тербургъ только и говорилъ, что на югъ заработаешься и все утраченное время наверстаешь. А здъсь...

Но онъ потянулся къ ней, схватилъ ее за руки и притянулъ къ себъ.

- Оставь, сомнешь. Причесывалась, причесывалась...

- И еще причешешься. Не велика важность!..
- Лънтяй... слабо отбивалась она.
- Здравствуйте, только вась недоставало!...

Съ террасы въ комнату торжественно входилъ замъчательно толстый котъ съ громадною круглою головой.

— Только васъ не хватало, Морданъ, для нашего счастья.

Морданъ отправился въ знакомый уголъ, ткнулся носомъ въ блюдечко и, не найдя тамъ сливокъ, сначала горестно изумился, а потомъ сѣлъ надъ нимъ и грустно замяукалъ.

— Видишь,—засмѣялась брюнетка,—даже Мордана заставилъ ждать.

А Алексъй Петровичъ не отрывалъ глазъ отъ дверей, въ которыя зеленъли виноградныя лозы, ярко блестъли словно лакомъ покрытые листья магнолій и темнъли важные, суровые кипарисы.

— Вѣдь я,—точно въ видѣ извиненія прибавиль онъ,—вѣдь я только теперь отхожу отъ тѣхъ тумановъ, отъ того холода... Сколько лѣтъ на сѣверѣ, не видя юга,—было отъ чего замерзнуть... Теперь отогрѣваюсь... Да и то... Развѣ оно прошло безслѣдно... Еще много надо дышать здѣсь, чтобы отдышаться и прійти въ себя.

При слов'в то она нахмурилась, низко наклонила свою голову и, только несколько спустя, проговорила недовольно съ видимымъ раздраженіемъ:

- *То?*.. Значить опо еще не совсьмъ прошло для тебя, не умерло?.. Скажите, пожалуйста, ему, видите ли, надо еще *забыть*. Какъ это *мить* пріятно слышать.. Не отдышался...
 - Ты несправедлива, Сопя....
 - Теперь, разумъется, я же окажусь виновата.

- Да, ты не права: сучокъ сломасшь—и то въ изломъ, какъ слеза, капля влаги проступить. А сердцу еще и того хуже. Въ изломъ не сразу болъть перестанеть...
- Пожалуйста, безъ глупыхъ сравненій...... Иначе... иначе я, право, пожаліво, что побхала сюда... И оставались вы бы съ тъмъ, чтобы въ изломів не болівло... хороши вы были—нечего сказать.
- Ну довольно... Ты сама знаешь, что объ этомъ не можетъ быть и рѣчи... Кстати же и Морданъ на тебя такъ смотритъ, что самое каменное сердце и то бы расчувствовалось.

Котъ дъйствительно мягко подобрался, сълъ у ея ногъ и не сводилъ съ нея умиленнаго взгляда. Точно проситель въ министерской пріемной.

Она расхохоталась и пошла наливать ему сливокъ.

- Идиллія, насм'єшливо проговорилъ Алекс'єй Петровичъ.
 - А вамъ драмы-то еще не надовли?

Онъ точно прикусилъ языкъ и замолчалъ.

— Если хотите драмъ, сто̀итъ только вамъ вернуться въ Петербургъ. Онъ васъ ждутъ тамъ...

II.

Вилла "Дарсана", гдъ лътъ пять назадъ происходило описанное, находится едва ли не на самомъ лучшемъ мъстъ красивой Ялты. Она на углу набережной
и Ауткинской улицы. Впереди—море, позади—горы.
Домикъ весь прячется въ саду. Вдоволь тъни и прохлады, и, что лучше всего, въ самую шумную пору
здъсь стоитъ тишипа, въ которой такъ хорошо

чувствуется и думается. Когда кругомъ суматоха вовсю и маленькій городокъ кипить не надолго просыпающеюся въ немъ жизнью, а толпы петербуржцевъ и москвичей кишмя-кишать на его улицахь, -- на виллъ "Дарсана" художнику и поэту все-таки легко и привольно. Благодаря саду, которымъ она заслонена отъ пълаго міра, ея уединенію не грозить ничто. Понятно, что Верховенскій, искавшій покоя и одиночества, выбраль именно этоть уголокъ и замкнулся въ немъ, не сказываясь знакомымъ. Послъ всего пережитаго ему слишкомъ тяжело было бы видъть людей... Не они ему нужны здѣсь. Алексѣю Петровичу довольно было солнца, моря и горъ, этого вида и этой террасы!.. Лучшаго онъ ничего не хотълъ и второй мъсяцъ уже прозябаль, забытый всёми и счастливый тёмъ, что его тоже забыли...

Въ первые дни, какъ только онъ сюда прівхаль, ему казалось, что краски и освъщение юга заставять его работать больше, чъмъ когда бы то ни было. Онъ разставилъ мольберты, натянулъ холсты на рамы, вынуль палитры и краски, педантически уложиль рядомъ кисти. Короче, для будущихъ картинъ было готово все, кромъ его самого. И души этихъ картинъ уже бродили въ его головъ, точно ожидая воплощенія, но творець бездъйствоваль, его суббота продолжалась слишкомъ долго. Не то, что апатія напала на негонътъ. Апатія художника соединяется съ недовъріемъ къ себъ, съ упадкомъ силъ, съ полнымъ отрицаніемъ всего уже созданнаго, и сомниніемъ въ томъ, что имъетъ создаться. Верховенскій скоръе ждаль-чего? онъ не зналъ самъ. Ждалъ ли той лихорадки работы, когда негодуешь, что день слишкомъ коротокъ, а ночь черезчуръ длинна, когда мысли и образы цёлымъ

вихремъ проносятся въ головѣ, когда все кругомъ, точно воздухъ электричествомъ, насыщается энергіей труда и творчества?.. Или онъ ждалъ, чтобы первый пасмурный день загналъ его въ комнаты, чтобы провести по полотну только начальные два-три штриха... Онъ зналъ, что тяжелы только первыя родовыя боли созиданія. Потомъ оно идетъ съ головокружительною быстротою, потомъ уже трудно будетъ оторваться отъ мольберта, оставить кисть...

Софья Викторовна не совсѣмъ понимала это. Она думала (и мучилась), что это ея вліяніе такъ тлетворно дѣйствуетъ на любимаго человѣка, что падо ей отойти въ сторону, и онъ ощутитъ приливъ знакомыхъ силъ и возьмется за дѣло. Она нѣсколько разъ добивалась у него:

- Да въдь съ тою ты работалъ больше...
- Еще бы. Я прятался отъ нея въ свою мастерскую.
- Ея вліяніе не гасило же въ тебѣ этотъ feu sacrée...
- Фу,—поморщился онъ,—ты совсёмъ какъ провинціальная дама изъ "умныхъ" выражаешься... Я тебѣ говорю, что отъ нея я бѣгалъ въ свою мастерскую, а къ тебѣ я спасаюсь отъ работы... Что же ты хотѣла бы лучше, чтобы я отъ тебя искалъ прибѣжища у мольберта?—смѣялся онъ ея недоумѣнію.

Но она озабоченно морщила брови и покачивала головою. Она знала, какою цѣною достался ей любимый человѣкъ. Она понимала, что искусство рано или поздно потянеть его къ себѣ и боялась, чтобы онъ не проклялъ этого счастливаго настоящаго, такъ много отнимавшаго у него, какъ бы потомъ онъ не упрекнулъ ея. Она, принесшая въ жертву ему все, не вынесла бы такого упрека. Она слишкомъ любила его для этого, и не только его, но и его талантъ.

- Скажи мн'в, я не слишкомъ глупа для тебя? Онъ только см'ялся ей въ отв'ять...
- Да что же тебѣ мѣшаетъ взяться за дѣло? Вѣдь лѣто пройдетъ, и потомъ ты самъ будешь каяться, что я увезла тебя сюда.
- "Я увезла"... Точно я—сабинянка, а ты—римлянинъ... Ты хочешь знать, что мит мтыаетъ?—Три вещи: солнце, море и горы... Горы, море и солнце... Дай приглядться къ нимъ; дай, чтобы они совстмъ сдълались дтйствительностью, буднями и тогда...
- И тогда ты все равно будешь изображать Аннибала въ Капув. Сидитъ на террасв и жмурится на солнце, какъ Морданъ на сливки, когда онъ сытъ и больше ъсть, при всемъ желаніи, не можеть, а отойти жадность кошачья не позволяеть... Въ самомъ дель, когда я вспомню, какъ ты работалъ въ петербургскихъ туманахъ, даже досадно становится! Бывало, ваша (она сдълала удареніе на этомъ словъ), бывало, ваша Анна Алексфевна капризничаеть, нервничаеть, бфсится невъдомо отчего, а твоя милость запрется въ мастерскую и съ какимъ-то отчаяніемъ мажетъ кистью свои полотна... Ахъ, какая это пошлая женщина! Какъ вы, вы могли столько лѣтъ прожить съ нею? И какъ прожить! Такъ поддаться ея вліянію, такъ служить ей, именно служить... Зная всю ея глупость, всю ея пошлость! Фи!..

И Софья Викторовна даже разозлилась.

- Ты, кажется, ревнуешь къ прошлому?
- Я?.. Къ ней, къ вашей Аннъ Алексъевиъ? Полноте, я не понимаю, какъ я полюбила васъ. Сначала вы мнъ просто жалки были... До той выставки—помните... А потомъ, послъ вашего торжества, я окончательно спуталась, не понимая, какъ вы, вы—сила,

талантъ, могущество и можете прыгать на заднихъ лапахъ передъ такою будничною и пошлою дрянью.

Верховенскій поморщился.

- Что, непріятно?
- Н'втъ. За тебя очень досадно, разв'в можно такъ браниться.
- Надѣюсь, въ данномъ случаѣ ты не за нее обидѣлзя?
 - Нѣтъ, за тебя! Повторяю тебѣ...
- А въдь ты знаешь, что я проплакала цълый вечеръ, вернувшись отъ васъ, послъ той сцены, когда эта... эта... ваша Анна Алексъевна, заставила васъ играть такую жалкую и глупую роль!.. А какъ все потомъ случилось, я не понимаю, точно туманомъ заслонило эти нъсколько недъль, вплоть до той минуты, когда мы вмъсть съ тобой сидъли въ вагонъ и ъхали сюда на югъ.
- Ну, такъ пусть этотъ туманъ уже и все заслонитъ собою, что было. Для насъ началась новая жизнь, надо быть великодушнымъ и забыть старое...

III.

Солице, море и горы были хороши при всёхъ условіяхъ и во всё часы дня. Налетитъ ли вётеръ и нагонить тучи съ юга—лиловые утесы потемнёютъ, море нахмурится и солице только порою словно зажигаетъ на немъ пожары, прорвавшись въ узкіе просвёты, въ которые тепло и ласково голуб'єтъ небо... Застоится ли солице въ полдень надъ напоенною его зноемъ и истомившеюся землей—горы точно вздрагиваютъ въ яркомъ свётъ, и скалы ихъ издали кажутся раскален-

ными-до того горячи ихъ краски... Вечеромъ, когда прощальный отсетть ложится на нихъ, ихъ вершины горять, словно костры, и ночная синь, какъ темный бархать, одваеть ихъ склоны... Море меркнеть, меркнеть и гаснеть наконець, чтобы засвътиться оцять, но уже медлительнымъ, таинственнымъ и мечтательнымъ сіяніемъ місяца, --місяца, обращающаго южную благоуханную ночь въ какое-то волшебное, фантастическое царство сказочныхъ прелестей и неуловимыхъ чаръ... Алексъй Петровичъ такія ночи любилъ больше всего. Несмотря на ворчанье Софьи Викторовны, звавшей его домой, онъ упорно оставался сидъть у моря. Онъ уходиль со своей террасы и изъ своего сада на набережную, гдв была у него любимая скамейка. Позади смутно обрисовывались магноліи и кипарисы виллы "Дарсана": впереди, неустанныя, неугомонныя, набъгали волны одна за другою... Алексъй Петровичъ слъдилъ за ними... Вонъ едва-едва намъчивается впереди темный гребень... Онъ растеть и растеть... Точно пухнеть за нимъ волна... По его краю вспънивается бълая кайма... Еще нъсколько мгновеній-и подъ ногами Алексъя Петровича, круго выгибаясь, вдругь подымается набъжавшій валь, съ глухимь и зловъщимъ грохотомъ разбивается о береговой выступъ и отбъгаетъ назадъ, обезсиленный, съ однообразнымъ шорохомъ, сдвигая мелкіе камни... Только бълая кайма его пъны одна остается на отмели, умирая въ фантастическихъ узорахъ. А тамъ, впереди, рождается на сміну другая волна, еще темнъе, еще круче, еще величавъе... Алексъй Петровичь сначала любовался ими, потомъ безсознательно сталъ ихъ слушать. Именно безсознательно. Ударъ за ударомъ, грохотъ и шорохъ, журчаніе мелкихъ отбъгающихъ струекъ, всплески встрътившихся гребней-

вся эта музыка моря мало-по-малу давалась ему, и чъмъ онъ меньше о ней думалъ, тъмъ болъе понималъ ее... Собственно говоря, въ такія минуты умъ его быль занять совсёмь другимь. Въ голове пробегали тысячи мыслей, рождались, жили и умирали образы изъ прошлаго, грезы о будущемъ-и рядомъ немолчно говорило море, всегда попадая въ тонъ ему, никогда не нарушая его покоя, никогда не отгоняя его воспоминаній и не противорвча его мечтамь... Оно, какъ хорошо сыгравшійся оркестръ, только оттѣняло исполнявшуюся въ его душт вокальную пьесу. Волна за волною, ритмическія и звучныя, неслись къ нему съ цълыми вереницами новыхъ образовъ, думъ и впечатленій... А месяць задумчиво светиль съ осіяннаго имъ неба и тихія кроткія зв'єзды мерцали въ дивныхъ глубинахъ... Иногда, далеко - далеко, среди морского простора, загорался желтый огонекъ. Какое-нибудь суденышко шло мимо... Часто на свътломъ бликъ луннаго отраженія вдругь, чернья вся, вырисовывалась неожиданно вътхавшая въ него лодка. На минуту, тоже черная, ръзко выдълялась надъ нею фигура гребца, чтобы вмѣстѣ съ лодкой въ слѣдующее мгновеніе исчезнуть въ сумрачномъ морѣ... безъ слѣда... И опять мысли за мыслями, волны за волнами... И въ мысляхь и въ волнахъ были одни и тѣже, ритмическія, правильныя, одни и тъ же гармоническія сочетанія. И когда Алексъй Петровичъ, наконецъ, вставъ, шелъ къ себъ, вслъдъ долго еще говорили понятныя ему волны... Онъ затворялъ жельзныя сквозныя дверцы виллы, входиль въ тихій и теплый мракъ аллей, гдф сильно пахло кипарисами и цвътами магнолій... Онъ терялся подъ ними, сливался съ тьмою, изъ которой только вверху выдълялись осіянныя вершины деревьевъ,

а волны все продолжали говорить ему. Даже когда въ постели онъ смыкаль усталыя віки, ему чудился тотъ же спокойный и могучій шумъ моря... Часто, когда поднимался вътеръ, море становилось грознымъ; словно чъмъ-то недовольныя, волны вырастали и съ бъщенствомъ неслись въ спокойные берега. Будто испуганныя ихъ стихійною угрозой, безпомощно колыхались вершины кипарисовъ, шумбли листья магнолій и на террасъ трепетали виноградныя лозы и цъпкія вътви плюща... Когда въ такія ночи Алексвії Петровичь сидълъ на своей любимой скамьт у берега, ему казалось, что валы именно на него несутся съ неудержимою силою, что они сметутъ его прочь и увлекутъ съ собою въ хмурое и одичавшее море... Но они только бросали въ лицо ему свои брызги и п'вну и уходили прочь, довольствуясь его безсознательнымъ страхомъ...

 Долго ты еще будешь сидъть здъсь?—приходила къ нему Софья Викторовна.

Онъ словно просыпался, съ удивленіемъ смотрѣлъ на нее и, только узнавъ ее, спрашивалъ:

- А что?
- Мнъ одной жутко и скучно... Пойдемъ...

И онъ шелъ чрезъ колыхавшійся и шумѣвшій тоже подъ вѣтромъ садъ, чрезъ аллеи, полныя теперь шороха и призрачнаго движенія, на террасу, по мрамору которой бѣгали бѣлыя пятна луннаго свѣта, прорывавшагося сюда сквозь колеблющіяся завѣсы оцѣпившей ее отовсюду зелени...

- Что ты тамъ сидишь одинъ? ревниво спрашивала Соня.
 - Я не одинъ, —смъялся онъ.
 - Съ къмъ же ты?

- Съ моремъ... Мив говорять волны... Много говорять.
 - Нельзя ли подвлиться, что онв говорять тебв?...
 - Много!..-И онъ хмурился...-Много...

И часто опъ скользилъ по ней загадочнымъ и печальнымъ взглядомъ.

О чемъ ему говорили волны? Почему послѣ всякой безмолвной бесѣды съ ними онъ съ такою грустью слушалъ Соню?.. О чемъ болъло его сердце?..

IV.

Сначала волны точно вмъстъ съ нимъ радовались его счастью. Онъ бились согласно съ его сердцемъ и убаюкивали память о прошломъ, чтобы въ ней было меньше горечи и скорби. Алексъй Петровичъ, слушая ихъ, погружался въ состояніе какого-то неизмѣримаго покоя. Точно все кругомъ замерло, и онъ тоже замеръ со всемъ міромъ; потомъ ему стало казаться, что прошлаго никогда не было, что всю свою жизнь онъ сидель здесь, на берегу, и такъ же, какъ сейчасъ, слушаль море. Если существуеть Нирвана-это была она; онъ уходилъ въ нее съ головою и радовался ей. Ни заботь, ни старыхъ огорченій, ни опасеній за будущее... Такимъ образомъ мало-но-малу прошлое теряло для него всю свою остроту. Оно уже не оскорбляло его, не наводило унынія. Напротивъ, также мало-по-малу подъ говоръ волнъ оно стало выходить изъ Нирваны, моментами воскресало передъ нимъ, и Верховенскій уже видъль въ немъ не однъ тъпи. Проступали свътлыя минуты, порывы радости, и многое случившееся тамо здёсь являлось передъ нимъ уже

въ иномъ освъщении. Когда прошла лихоралочная раздражительность оскорбленнаго чувства, когда состояніе мертваго покоя залічило старыя раны и "въ изломъ" перестало больть, Алексъй Петровичь сталъ различать лучше и убъждался, что не всегда онъ быль правъ и передъ своею совъстью и передъ мою, оставленною въ петербургскихъ туманахъ женщиной. За многое наединъ съ собою здъсь онъ начиналъ краснъть; многое, необъяснимое со стороны той, теперь казалось ему яснымъ. Чувство ненависти и униженія еще жило въ его душѣ, всѣми своими силами онъ возмущался противъ ея глупости и пошлости, противъ того будничнаго міра низменныхъ инстинктовъ и грошовыхъ интересовъ, которые она всегда создавала вокругъ, противъ ея сомомнънія, которому, безъ всякаго права на это, она приносила въ жертву его и его достоинство. Онъ еще бъсился на ту глупую роль, на ту смѣшную роль, которую она заставляла играть его, но онъ уже смотрелъ спокойне на себя, точно видѣлъ себя со стороны и разсуждалъ о себъ, какъ о постороннемъ; злясь на ту, уже начиналъ обвинять и себя во многомъ. И, точно радуясь этому, волны все громче и громче бились въ берега, шумнъе шуршали каменья, когда онъ уходили назадъ, шире ложились былыя кружева пыны и веселый летыли ему въ лидо холодныя брызги... "Надо быть справедливымъ", говорилъ онъ и, разъ ступивъ на этотъ путь, уже видълъ, что еще пройдеть нъсколько дней, и онъ оправдаеть въ намяти прошлаго многое, чему до сихъ поръ не находилъ извиненій... Часто вдали, въ зеленыхъ гребняхъ вскидывавшихся волнъ, мерещились ему круглыя и черныя тёла дельфиновъ, кувыркавшихся въ моръ, порою на берегъ выбрасывало прибо-

емъ разбившуюся кефаль... Онъ по цёлымъ часамъ наблюдаль, какъ суда качались на мертвыхъ якоряхъ: то носомъ клюнетъ внизъ, въ размоину, оставшуюся отъ отхлынувшаго моря, то сядетъ на хвостъ-а носъ торчить высоко-высоко, то ляжеть на бокъ — вотьвоть уйдеть съ мачтами въ воду, но набъгаеть новая волна, и онъ, эти мачты, медлительно подымаются, останавливаются на мгновеніе прямо надъ моремъ, чтобы тотчасъ же перевалиться на другую сторону. И какъ качало лодки здѣсь!.. Казалось, налетитъ волна-и щепки не останется; и волна налетала, разомъ вздымалась надъ бортами лодки зеленою, оперенной былою пыной стыною, но еще мгновение-и лодка взмывала наверхъ, вся обрисовывалась съ килемъ на воздух в и падала на противоположную сторону, точно уходя въ какую-то бездну, гдв ея не было видно вовсе... Но воть вырастала новая стена, и лодка опять замирала надъ нею... Алексъй Петровичъ слъдилъ и за волнами и за лодками, слъдилъ и за блестящими черными тълами дельфиновъ и за арабесками пъны въ зеленыхъ размоинахъ-и вдругъ ни съ того ни съ сего, казалось, въ самый неподходящій моменть, произносилъ:

— Да, въ этотъ разъ я былъ очень виновать, очень... А она, пожалуй, и права...

И рядомъ съ движеніемъ неугомонной стихіи въ его душѣ смѣнялся приливъ и отливъ какихъ-то до сего совсѣмъ невѣдомыхъ ему чувствъ, и также, какъ лодки и суда на взбѣшенныхъ волнахъ, колыхались и въ немъ, то уходя на самое дно, то опять вскидываясь кверху, казавшіяся ему незыблемыми чувства вражды и злобы. Часто онъ ихъ и не видѣлъ вовсе, —такъ ихъ покрывали волны новыхъ ощущеній. А море все шу-

мѣло и говорило, и все яснѣе и яснѣе онъ, слушавшій его, понималь этоть шумъ и говоръ. Все это время стоялъ легкій юго-восточный вѣтеръ, не дававшій вовсе успокоиться зыби. Часто въ говоръ волнъ вмѣшивалась печальная, словно о чемъ-то тоскующая татарская пѣсня, охватывавшая душу Алексѣя Петровича невыразимою и безпредметною печалью, подъ вліяніемъ которой ему становилось жалко даже тѣхъ, кого онъ имѣлъ причины ненавидѣть. Въ такія минуты ему хотѣлось быть одному, и даже ласковый голосъ Софьи Викторовны вовсе его не радовалъ.

Какъ-то онъ ушелъ послѣ обѣда на свою скамью и просидѣлъ тамъ до заката солнца... Сони не было,— она уѣхала кататься съ цѣлымъ обществомъ знакомыхъ. Алексѣй Петровичъ зналъ, что она, слишкомъ любившая верховую ѣзду и неутомимая въ сѣдлѣ, не вернется раньше ночи. И, правду сказать, вовсе не огорчался. Для нея это было единственнымъ отдыхомъ отъ монотонной жизни, которую она вела съ нимъ. Она возвращалась вся разгорѣвшаяся, со смѣхомъ на устахъ, шумная; ему казалось, что какой-то чуждый вихрь врывался на его террасу, въ его молчаливыя, словно къ чему-то прислушивавшіяся комнаты. Она отводила душу на этихъ прогулкахъ...

Сегодня солнце заходило между двумя тучками... Оно точно пріостановилось между ними, и Алексью Петровичу казалось, что какое-то ярко пылающее око смотрить на него оттуда. Вечера здѣсь коротки—ночь голубая, мечтательная, прозрачная прохладнымъ сумракомъ быстро смѣнила теплый и душный день... Волны сегодня говорили громче, чѣмъ когда бы то ни было, и, прислушиваясь къ нимъ, Верховенскій пропустиль даже топотъ копыть по мостовой и веселые голоса...

Онъ ихъ различилъ только тогда, когда сіяющая, свъжая, точно вся опрысканная росой, Софья Викторовна остановилось надъ нимъ... Лощадь ея фыркала и тяжело дышала, втягивая въ себя бока... Очевидно, она заморилась сегодня на бъшеной скачкъ...

- Здравствуй, бирюкъ! крикнула ему Соня.—Ты все здѣсь?
 - Видишь...-довольно угрюмо отвъчаль онъ.
- Домой!.. Я устала страшно, а ты, я думаю, достаточно насиделся.
 - Да, совершенно достаточно!

Мъсяцъ ужъ свътилъ, звъзды горъли, ночь холодъла, и призрачныя тъни уже скользили по темному саду. На террасъ точно колебались лунные просвъты. Черные, отраженные на мраморъ листья обрисовывались ръзко. Цикады кричали такъ, что отъ нихъ звенъло въ ушахъ. Казалось, что это поютъ самые листья, каждый листокъ — тонкимъ, серебристымъ голосомъ. Весь садъ былъ полонъ этимъ звономъ... Лежа въ постели, Алексъй Петровичъ долго еще прислушивался къ нему...

V.

- Тебѣ было очень весело?—спросилъ Алексѣй Петровичъ ночью, замѣтивъ, что Сонечка проснулась.
 - Когда? сегодня?
 - Да.
- Очень. Компанія, знаешь, подобралась великол'єпная. Этотъ Одарченко влюбленъ въ меня немножко и, въ чаяніи украсить тебя рогами, изъ себя выхо-

диль. Онъ и джигитоваль, и черезъ камни перескакиваль, и я не знаю, что еще дълаль.

- Дуракъ!
- Нътъ, онъ не глупъ, —засмъялась Софья Викторовна, —и... очень красивъ, надо отдать ему справедливость... Во всякомъ случать не такой хмурка, какъты... Онъ началъ было уже на твой счетъ прохаживаться, но я его оборвала разомъ.
 - Напрасно трудилась!
 - Ты не ревнивъ?
- Не приходилось. Не знаю, можеть быть, и ревнивъ. °
 - А ты проскучаль весь день?
- Я?.. затруднился Алексъй Петровичъ. Я?.. Право, не знаю... Кажется, нътъ.

А, впрочемъ, скучалъ онъ или нѣтъ? Сидѣлъ цѣлый вечеръ и часть ночи слушалъ море. Не замѣтилъ, какъ пробѣжало время... Значитъ, не скучалъ.

- Ну, я спать хочу. Прощай, не буди меня завтра.. Можеть-быть, Одарченко во сн'в увижу...
 - Съ Богомъ!—улыбнулся Алексъй Петровичъ. Ему не спалось.

Сначала цикады мѣшали, звенѣли во-всю... Потомъ, должно-быть, вѣтеръ поднялся,—вѣтви стали въ окна стучаться, море, примолкшее было, заговорило опять. Ударъ за ударомъ. Сначала Верховенскій не обращалъ на нихъ вниманія, потомъ они стали съ настойчивою правильностью повторяться одинъ за другимъ... Разъ, два, три... четыре... пять. Онъ уже считалъ ихъ, отмѣчая болѣе сильные отъ слабыхъ.

- Что это? Море?—сквозь сонъ спросила Соня.
- Да, оно...
- Ты сегодня и не поцеловаль меня, милый...

Несмотря на вътеръ, небо, насколько было его видно въ окно, оказывалось чисто. Луна горела какъто преувеличенно ярко. Магнолія перель спальнею серебрилась каждымъ листкомъ своимъ, и только темный кипарись рядомъ стояль величавый, торжественный и печальный. Его не скрашивало сіяніе мъсяца, онъ еще чернъе казался среди освъщенныхъ раинъ. Соня заснула крѣпко. Алексѣй Петровичъ поднялся на локти и сталь всматриваться въ нее. Какая свѣжая, яркая красота! Немного чувственны эти губки, но чистый, дъвственный лобъ умъряеть ихъ страстность... И какъ хороши эти волосы! Устала, не заплела на ночь. Завтра станеть чесать ихъ, вырывая цёлыми клочьями. Ишь, какъ по подушкамъ разсыпались. Верховенскій приподняль ихъ и свернулъ. Все меньше запутаются. Онъ наклонился и тихо поцёловаль ее. Она улыбнулась ему во сив и обвила его шею рукою. Теперь ему поневол'в пришлось лежать неподвижно, чтобы не разбудить ея... Не спалось. Алексъй Петровичъ долго смотрълъ въ окно, прислушивался къ прибою моря, потомъ смыкалъ глаза, дълая усилія заснуть, но все было напрасно. Сонъ, какъ выражались въ старину, бъжаль оть него. Онъ сначала думаль, что это отъ жары, тихо высвободиль сначала шею отъ ея руки, но и отъ этого ему было не легче. Сбросилъ одъяло. Прохлада охватила его отовсюду своею мягкою, ласкающею волной. Прохладенъ былъ воздухъ, прохладна была подушка; онъ на минуту забылся было и задремаль, но тотчась же опять широко открыль глаза и неотступно засмотрълся въ окно. Какая эта вътка такъ ръзко вырисовалась на немъ вся, колышется, шуршить по стеклу. Другая стучится въ него, точно, испугавшись вътра, въ комнату просится ..

Что-то дѣлаетъ теперь та!

Онъ даже вздрогнуль отъ этой, совершенно неожиланно пришедшей ему въ голову мысли. Что она двлаеть? А ему какое дело... Пусть делаеть, что ей угодно. Ужъ, разумвется, не оно станеть интересоваться этимъ. Ему-то она поперекъ горла стала. Только и отдышался теперь. Пожалуй, такъ же не спить, какъ онъ злѣсь, и такъ же смотрить въ окно на бѣлую петербургскую ночь... Какъ сильно должна страдать она. Собственно говоря, въдь она очень несчастна. Взбалмошна, глупа, банальна, но... но она любила его... И до сихъ поръ любитъ, навърное. Раздражительна... Ну, это, впрочемъ, не отъ нея. Больная, съ разбитыми нервами, съ мукою неоправдавшихся ожиданій въ душь, поневоль стала раздражительной и нридирчивой свыше мѣры. И у нея были просвѣты нервы успокоивались, и характеръ ея значительно мънялся въ такіе періоды. Даже и глупость ея неособенно замѣтно выступала тогда. Напротивъ... Странно: въдь его друзья и знакомые, такъ жалъвшіе его (обидное сожальніе!), вовсе не считали ее глупой. Нътъ. Больной, разбитой... но глупой-ньть Какъ она должна страдать теперь, именно теперь. Одна!.. Одна!.. Она именно всегда боялась оставаться одною. Одиночество пугало ее, доводило до отчаянія, до истерики... А теперь и днемъ, и вечеромъ, и ночью одна... Это ужасно!.. Особенно въ безсонницу... А теперь, подъ вліяніемъ всего пережитаго, у нея, навѣрное, такая именно безсонница... Върно, не выдержала, встала, накинула на себя блузу и слоняется по комнатамъ... Подошла къ окну, приложилась къ холодному стеклу его горячимъ лбомъ и тихо-тихо безмолвно плачетъ... Безмолвно... Жаловаться некому—никто ея все равно

не услышить!.. Ночь одна. Эта бълая, безглазая, без-цвътная, петербургская ночь...

Ему стало жутко...

Сердце билось съ какою-то болью. Трудно дышалось. Словно перехватывало горло. И въ вискахъ кровь стучала. Простыня, которою онъ прикрылся, давила его. Онъ сбросилъ ее... Подушка, будто тисками, охватывала голову...

- Соня, ты спишь?

Но въ отвътъ слышалось только ея мѣрное дыханіе. Больная, нервная... Къ ней и относиться надо было, какъ къ недужному ребенку. Развѣ можно серьезно принимать всѣ ея выходки. Положимъ, она была виновата. Притчею для цѣлаго города сталъ онъ. Да вѣдь все, что она ни творила съ нимъ, эти мелкія униженія, эта ревность сумасшедшая... Именно, сумасшедшая. Развѣ ее можно судить, какъ судятъ нормальныхъ людей?.. Разумѣется, нѣтъ и никогда.

Во всякомъ случав не онъ судья ей... Онъ ушелъ и только... Богъ съ нею. Онъ постарается забыть о ней. Именно забыть. Проклинать ее не за что... Она сама теперь несчастиве, чвмъ когда-либо быль онъ...

И какъ море шумитъ! Чъмъ больнъе мысли, тъмъ и волны его грознъе быются въ берега. Нътъ, лежать становится совсъмъ невозможно!.. Совсъмъ! Такъ можно съ ума сойти...

Алексъй Петровичъ всталъ, накинулъ на себя пальто и тихо вышелъ на террасу.

VI

Сквозная завъса плюща и винограда колыхалась. Лунные блики трепетали на мраморномъ полу. Морданъ, спавшій въ углу, потянулся, всталъ и тихо на-

правился къ Алексѣю Петровичу. Съ ласковымъ мурлыканіемъ онъ потерся объ его ноги и, когда тотъ сѣлъ у балюстрады, вскочилъ къ нему на колѣни и мокрымъ носомъ ткнулся ему въ подбородокъ. Садъ весь былъ залитъ сіяніемъ мѣсяца. Оно словно трепетало на деревьяхъ и кустахъ. Пахло розами и лиліями. Какъ только поднялся вѣтеръ, цикады смолкли, и теперь его меланхолическій свистъ слышался по темнымъ аллеямъ, вмѣстѣ съ говоромъ волнъ и шелестомъ встревоженныхъ имъ листьевъ. Ярко освѣщенные цвѣты магнолій казались совсѣмъ серебряными. Розовыя кисти легерстреміи безсильно опустились, какъ слезы, повисшія съ рѣсницъ. Вѣтеръ слегка колыхалъ ихъ и уносился дальше.

— Да, разумъется, она не такъ виновата... Она невыносима, жизнь съ нею невозможна. Но если бы эта натура была здоровой, и если бы она сама такъ не страдала...

И словно въявь воскресла теперь передъ нимъ оставленная женщина.

Съежившаяся въ глубокомъ креслѣ, съ ногами, закрытыми теплымъ пледомъ... Шторы спущены. Лампа зажигается рано, и желтый свѣть ея выхватываеть изъ потемокъ тоже желтое, высохшее лицо съ большими лихорадочными глазами, такъ подозрительно и ревниво слѣдящими за нимъ. Еще бы, ей досадно все въ немъ: и его привычка къ обществу—какъ художникъ, онъ въ немъ гонялся за типами и идеями, и его здоровье, и сила, сказывавшіяся въ каждомъ его движеніи. Его разговоръ—шумный и веселый, его голосъ—коробили ее. "Потише, пожалуйста, потише, —шептала она поблекшими губами и закрывала глаза отъ внезапно охватывавшаго ее чувства раздраженія.—Развѣ можно

такъ кричать-ушамъ больно! Въдь я слышу, пока еще не глухая"... Шаги его-ръшительные и смълыестали ей невыносимы. "Ты хоть бы посидълъ немного!" морщилась она, когда онъ ходилъ по мягкому ковру ея комнаты. И запахъ этой комнаты-онъ памятенъ ему. Жарко натопленная, продушенная лъкарствами, насыщенная смёсью духовъ какихъ-то съ карболкою!.. Здъсь никогда не отпирались форточки, здёсь было закупорено все, что могло бы этоть воздухъ привести въ соприкосновение съ наружнымъ... Когда она вставала сама, тогда окончательно становилось невозможно жить дома. Она совалась всюду и всюду вносила съ собою ощущение въчнаго недовольства... И то не такъ поставлено и это надо унести; наконецъ она принималась сама за дъло, но на первыхъ же порахъ, утомленная, падала въ кресло и плакала безсильными, больными слезами... Стоило ему увхать куда-нибудь по двлу, она сидвла и ждала его возвращенія и при встръчь пытливо смотръла на него, начиная неизбъжный допросъ: гдф онъ быль, что дфлаль, что видълъ? И при этомъ въ дрожи ея голоса, въ тонъ его, въ лихорадочно-загоравшихся глазахъ, въ побледнъвшемъ лицъ такъ и выражалась безконечная, злобная ревность. По вечерамъ она не ложилась спать, пока онъ не возвращался, и тутъ начинались безобразныя сцены съ плачемъ и упреками, съ истериками и обмороками... Когда къ нему приходилъ кто-нибудь, она жадно прислушивалась, выходила, одолъвая свою немочь, совершенно некстати вмѣшивалась въ дѣловые разговоры-и компрометировала его всюду и вездъ, гдъ только могла... Сама не понимая этого, компрометировала, не сознавая всей несправедливости своей, подымала голосъ и иногда при другихъ устраивала

ему спены... Онъ не зналъ, что ему делать. Уйти прочь... и онъ уходилъ, но тогда бользнь ен дълалась серьезной-являлись доктога, консиліумы. "Что вы дълаете, вы убиваете ее!" говорили ему кругомъ... Онъ отказался отъ женскихъ портретовъ, приносившихъ ему больше всего средствъ къ жизни. Еще бы, она при этомъ высиживала цѣлые сеансы, когда онъ работаль... Надо сказать, что ея вздорная ревность была совствить неумъстна. Несмотря на ея невозможность, на ея ужасный характерь, онь не изм'вняль ей вовсе. Ему не до того было, онъ слишкомъ отдавался своему искусству, слишкомъ любилъ его и, какъ это ни страино, въ его сердцѣ было тогда столько жалости къ этой несчастной, что онъ и не думалъ пользоваться тымь, что само шло ему въ руки. Молодой, красивый, онъ чурался жизни и становился отъ нея подальше. Въ редкія минуты душевнаго просветленія она рыдала, просила у него прощенія, истерически кричала на весь домъ: "Я гадкая, скверная, я знаю, что я не стою тебя, твоей любви... но я не могу, не могу...", а что "не могу"-такъ и оставалось всегда неоконченнымъ и невыясненнымъ. Все въ ней носило характеръ какого-то психопатическаго порыва. Она ничего не дълала просто: и мирилась и сцены ему устраивала съ преувеличеніями невыносимыми. И хуже всего то, что онъ сознаваль полную невозможность винить ее... Ему и врачи, пользовавшіе ее, говорили: "Вы ея не осуждайте, она по самой бользни своей должна быть придирчивой, несправедливой... Она станетъ безсмысленно набрасываться на васъ, но вы, пожалуйста, не оправдывайтесь, не защищайтесь, потому что тогда ей будеть хуже"... А когда онъ молчаль, она выходила изъ себя и кричала ему: "А, такъ, значить, я действительно права!" Онь не видель никакого исхода, и часто ему приходила въ голову мысль о самоубійствъ... Нужна была вся его сила воли, чтобы выносить эту каторгу... И онъ ее выносиль, -- выносиль долго... Чемь она страдала? Сами врачи не могли опредълить этого. Нервы прежде у нея были здоровые, разбились отъ малокровія, отъ какой-то немочи, отъ полнаго упадка всъхъ жизненныхъ силъ. Она никогда не думала ни о какомъ дълъ. Онъ, желая занять ее, предлагаль ей многое, она даже и не бралась за это. "Я ни къ чему не годна!" только и могь онъ отъ нея добиться. "У тебя есть голосъ-пой!"--"Долго учиться и скучно!" отвъчала она... "Я тебь купиль рояль-играй!.."- "Терпъть не могу музыки вообще..."—"Читай..."—"Ненавижу чтеніе".--"Чего же ты хочешь?"— "Такъ... Ничего..." Она ничего не хотъла и въ то же время ни съ чъмъ не мирилась... Она не ударила палецъ о палецъ и жаловалась на пустоту жизни и, точно радуясь тому, что судьба послала ей мужа, его же винила и въ этой пустотъ и въ своей непригодности къ чему бы то ни было...

Ты виновать, разумъется... Я вышла за тебя семнадцати лъть, ты могь меня пріучить ко всему, пріохотить къ дълу, къ занятіямъ!.."

Онъ пожималъ плечами и уходилъ къ себѣ, къ мольберту, чтобы только забыться отъ ея воркотни...

"Видно, не любишь, когда говорять правду!" слышалось за нимъ, и вслъдъ за этимъ въ его мастерскую являлась она сама со своимъ пледомъ, подушками, запахомъ лъкарствъ и ревнивой подозрительностью.

Когда онъ выходилъ изъ себя и въ порывѣ сильнаго бъщенства начиналъ кричать, она смолкала, вся блѣд-

ная, смотрѣла на него широко раскрытыми глазами и безъ чувствъ падала въ кресло... Ее уносили къ себѣ, укладывали въ постель, и потомъ она цѣлыя недѣли боролась со смертью, удерживая его у своей кровати и умоляя не оставлять ея.

VII.

Алексѣю Петровичу стало невыносимо отъ этихъ воспоминаній.

Онъ сбросилъ съ колѣнъ заснувшаго было Мордана и прошелся по террасть. Что-то зашуршало въ виноградныхъ съткахъ: какая-то сонная итица шарахнулась отъ него въ сторону. Вскочившій было на балюстраду Морданъ только когти выпустиль да хвостомъ завилялъ отъ досады и потомъ, глядя на Верховенскаго, жалобно замяукаль. Съ мостовой послышался звонкій топоть коныть, и чей-то сміхь долетьль оттуда. Далеко-далеко проснулся рояль подъ разсѣянно касавшимися его клавишъ руками и опять заснулъ... А волны однъ все говорили ему... Говорили, не смолкая, точно онъ не все еще вспомнилъ, точно въ его прошломъ было еще что-то, что нужно было прибавить ко всему только что вновь имъ пережитому и прибавить сейчась, сію минуту! Его потянуло къ нимъ, къ этимъ волнамъ...

Онъ тихо спустился внизъ и пошелъ по сонному саду... Въ аллеяхъ ужъ не пахло розами, какъ у него на террасъ,—напротивъ, ихъ сплошь наполняло густое и тяжелое дыханіе кипарисовъ. Жучка тявкнула было, но, узнавъ его, завиляла хвостомъ и сладко зъвнула. Какая-то ящерица перебъжала зигзагомъ облитую

яркимъ луннымъ свътомъ дорожку и скрылась въ густыхъ, бълыми цвътами осыпанныхъ кустахъ... Вотъ и решетка... Онъ попробовалъ-калитка не заперта. Направо и налъво была пустынная набережная. Море волновалось и кипъло серебряными взметами пъны. Берегъ весь быль взмыленъ ею, и волны, ударяясь въ него, пропадали въ этой шипъвшей и клубившейся массъ... Алексъй Петровичь съль на "свою" скамью и по привычкъ сталъ слушать море. Оно теперь было ему еще понятиве, чвив прежде, и каждый ударь волнъ казался ему новымъ откровеніемъ; онъ прислушивался къ нимъ, удивляясь, почему раньше онъ не говорили ему того же. Ему досадно было на редкія минуты, когда, отхлынувъ, онв смолкали, словно собираясь съ силами, чтобы опять накинуться на влажный берегъ, на отмели, засыпанныя мелкимъ камнемъ, шуршавшимъ вследъ каждому набегу раздраженнаго сегодня моря...

Да въдь она не всегда была такою. Онъ припомнилъ, какъ сумасшедше влюбился въ нее, что за очаровательной дъвушкой казалась она ему, да не ему одному. Всъ увлекались ею! Значитъ, было же въ ней что-то такое! И тогда она не казалась ему глупой—напротивъ. Она даже была изящна, чего именно теперь въ ней и слъда не осталось. Въ петербургскомъ свътъ на нее показывали, какъ на исключеніе. Когда они сошлись? Началось съ того, что его пригласили писать ея портретъ. Нъсколько сеансовъ понадобилось. Потомъ онъ просилъ ее позировать для картины. Картина на выставкъ вызвала общіе восторги. Это былъ его первый большой успъхъ. Она, эта дъвушка, въ его сознаніи почти нераздъльно слилась съ идеей его картины, и объ стали ему дороги. Да, все это

было. Онъ помнитъ, какъ цёлые вечера просиживалъ у ея ногь, съ какимъ обожаніемъ смотрѣлъ на нее,именно снизу вверхъ, точно она была недосягаема для него, точно онъ быль гдь-то въ преисподней, а она въ самыхъ небесахъ царила... И потомъ это безумство первыхъ мъсяцевъ ихъ обоюднаго счастья! Надо сказать правду, онъ дорого заплатилъ за нихъ послъ. Они увхали къ себв въ деревню и заперлись тамъ ото всего свъта. Была зима. Снъга заносили все кругомъ, волки выли, выходя изъ лъсу, подступавшаго чуть не къ самому саду. Они не замъчали ничего. Имъ хорошо было вдвоемъ, на ихъ "необитаемомъ островъ", какъ они называли свой домъ. Потомъ надо было вернуться въ Петербургъ. Она воображала, что и здъсь они такъ же замкнутся въ студін; она забыла, что художнику нужна жизнь, свъть, толпа, что иначе его геній гаснеть, какъ лампада, въ которой изсякло масло. Она хотъла замънить ему все и всъхъ, но не могъ же онъ въчно писать ее и ее одпу. Потомъ, заласканная, зацълованная, доведенная имъ до самообожанія, она вообразила, что все ея, разъ это ея — должно быть для него идеаломъ красоты. Она перестала стъсняться. Она вёдь для него во всёхъ видахъ одинаково прекрасна и показала ему такіе виды, какихъ онъ и не воображалъ. Проза широкою волною влилась въ его монотонное существованіе. И какая проза!... Это все какъ-то случилось разомъ. День безъ всякаго вечера смінился ночью. Не оказывалось промежутковь вовсе. Какъ художникъ, онъ сейчасъ же почувствоваль, что она становится банальной. Этоть безпорядокь, лишенный изящества, эта свобода обращенія, доходившая до неряшества, были ужасны, слишкомъ ужасны. Онъ сталъ уходить, не думая ей измънять никогда, и

начались безобразныя сцены ревности, тѣмъ болѣе нелѣпыя и оскорбительныя, чѣмъ менѣе онѣ оправдывались его образомъ жизни. Возвращаясь домой съ запасомъ наблюденій и образовъ, онъ натыкался на истерическіе крики, на безумства влюбленной, потерявшей голову и воображавшей себя обманутою женщиной. Чѣмъ далѣе, тѣмъ онъ чувствовалъ себя несчастнѣе, тѣмъ она опускалась все больше и больше. Потомъ пришла болѣзнь и довершила остальное.

А какъ опъ любилъ ее въ первое время!

Онъ припоминалъ цѣлые вечера, когда онъ рядилъ ее во всевозможные старинные костюмы, съ такимъ вкусомъ собранные имъ у себя. Какъ шелъ къ ея рыжеватымъ волосамъ и чернымъ глазамъ затканный золотомъ венеціанскій бархатъ, какъ красиво ложились вокругъ ея округленнаго стана изящныя складки сквозного брусскаго шелка, какъ удивительны были ея длинныя косы — эти косы, безпощадно отнятыя у нея потомъ болѣзнью. Онъ помнитъ ихъ... У Софьи Викторовны тоже чудные волосы, но куда же ей до нея, разумѣется, до нея въ то счастливое время.

Она была слишкомъ ребенкомъ.

Она не находила въ себъ силы перенести даже самомалъйшаго удара судьбы. Она терялась, падала духомъ, и надобны были сверхъестественныя усилія его энергіи, чтобы воскресить ее и заставить оправиться. Она сама часто нонимала несправедливость и глупость своихъ выходокъ, упрековъ, сценъ, какія она ему дълала, но, сознавая это хорошо, не могла удерживаться отъ пихъ. Точно въ ея натуръ не было вовсе аппарата, посредствомъ котораго она могла бы управлять собою, не было этого нравственнаго тормоза, чтобы остано-

виться во-время и не итти дальше... Что съ нею теперь?

Опять этотъ вопросъ и опять холодный потъ проступаетъ на лбу у Алексъя Петровича.

Онъ увхаль послъ одной изъ сценъ небывалой еще. Онъ обжаль, оскорбленный такъ, какъ даже съ ея стороны не считалъ этого возможнымъ никогда. Онъ, щадя свое достоинство, долженъ былъ отрясти прахъ отъ ногъ своихъ. Онъ ужъ любилъ другую, любилъ Соню, и въ этомъ нашелъ мужество поступить хоть разъ въ эти долгіе годы, мужчина, какъ человъкъ!.. Но...

Это проклятое но!

Но теперь онъ съ ужасомъ думалъ, что дѣлается тамъ. Въ немъ, въ силу его прежней любви, въ силу долгой, выработавшейся за нѣсколько лѣтъ привычки жило чувство безконечной жалости къ той искалѣченной нравственно и физически женщинъ. Именно—жалости. Ему казалось, что онъ на произволъ судьбы бросилъ больного ребенка, что ребенокъ этотъ бъется теперь въ безумномъ отчаяніи, бѣгаетъ по оставленной квартирѣ, зоветь его и каждую минуту умираеть отъ страха, безпомощный, жалкій, умѣющій только плакать.

А волны все глуше и глуше шумъли...

Точно и онъ были измучены, точно и онъ теряли послъднія силы. Тише бились онъ о берега и, убъгая по отмелямъ, будто жаловались кому-то. И чъмъ больше слушалъ ихъ Алексъй Петровичъ, тъмъ ужаснъе чувствовалъ онъ себя...

VIII.

Дня черезъ два море стихло...

Алексъй Петровичъ, выйдя утромъ, не узналъ его... Кругомъ стояла невыразимая тишина. Все замерло въ природъ, все задыхалось отъ жары и томилось въ солнечномъ блескъ. Накалились скалы; горы, лишенныя тыни, выяли зноемь на замолкшій берегь. Улицы пусты. На набережную солнце смотрить такъ пристально, что Верховенскій скорѣе подался назадъ подъ громадную магнолію... За берегомъ въ безконечность ложится синь недвижная, - такая недвижная, что ему даже странно было думать, что еще вчера взволнованная стихія неугомонными волнами билась въ влажные берега и точно чего-то допрашивалась у нихъ... Суда обсохли совствить и спали на зеркальной поверхности моря... Только порою на ней вскидывалась кефаль, и долго потомъ оттуда, куда она падала, разбѣгались плавно и медленно круги, доходя до самыхъ отмелей...

Алексъй Петровичъ невольно зажмурился... Больно было глазамъ.

- Ну, Алеша, теперь самое время такть въ Гурзуфъ.
 - Жарко.
- Вотъ еще какой нѣжпый, смѣялась Соня.— Пойдемъ, пойдемъ...
 - Загоришь!
- Я ужъ такъ загоръла, что рукой махнула на себя.

На улицъ ихъ точно ожгло. На нее, впрочемъ, это не дъйствовало, она прикрыла его своимъ зонтикомъ...

- Я думаю, въ такой зной и извозчики не тронутся отсюда.
 - Мы водой.
 - На чемъ?
 - На "Геров"!
- Это еще что за "Герой"?—засмѣялся Алексѣй Петровичъ.

Онъ сегодня чувствовалъ себя хорошо. Волны нагоняли на него тоску, бередили въ его сердцѣ старыя раны. Улеглись онѣ, и все пошло отлично. Жажда жизни проспулась въ душѣ. Онъ точно помолодѣлъ и, чего съ нимъ давно не было, сталъ даже шутить. Встрѣтился и Одарченко...

- Здравствуйте... Вы все за Соней ухаживаете?
- Кто вамъ сказалъ?..
- Она сама...—засмѣялся онъ.—Ничего... У васъ недурной слогъ.
 - Почему вы знаете? растерялся юноша.
- Мы сегодня читали ваши письма. Знаете, книгъ здѣсь не достать... Очень, очень хорошо. Старайтесь... Когда-нибудь, гдѣ-нибудь и какъ-нибудь да клюнетъ. Только не сравнивайте душу съ разбитымъ кораблемъ, съ котораго бѣжалъ экипажъ. Во-первыхъ, это старо; и при чемъ тутъ экипажъ, юноша? И вѣдь если бѣжалъ экипажъ, такъ крысы все же остались. Сверхъ того, это подастъ поводъ всѣмъ называть вашу душу экипажною душою, что совсѣмъ нелестно. Да вы пе смущайтесь. Соня очень довольна, она даже находитъ, что одно письмо любой модный журналъ напечатаетъ. Очень, очень хорошо... Кстати, помните: "чувствительно" пишется черезъ у, а не черезъ ю... Никто не говорить чювство, говорять—чувство... Да вы не конфузьтесь. Приходите завтра обѣдать къ

намъ! Мы васъ ждемъ... Право, вы намъ доставили большое удовольствіе вашею литературой. Помните, ровно къ пяти часамъ... да вы какое вино пьете?..

- Всякое...—терялся тоть все болье и болье.
- Совътую вамъ всегда пить чужое вино и любить чужихъ женщинъ... И то и другія вкуснъе будуть отъ этого... Смотрите же, не опоздайте...

Пароходъ "Герой" ужъ стоялъ у пристани.

Это быль крошечный, но ужасно грязный, я думаю, грязныйй изъ героевъ, когда-либо удивлявшихъ міръ. Софья Викторовна, чтобы пройти, не запачкавъ платья, должна была вспомнить канатныхъ плясуновъ, а Алексый Петровичъ сразу попаль въ какую-то лужу, уцьльвшую здысь, несмотря на солнце... "Герой" оказался дыйствительно героемъ. Онъ ходилъ отъ Ялты въ Гурзуфъ и въ Симеизъ ежедневно, несмотря ни на какую погоду, даже и тогда, когда большіе пароходы, не осмыливаясь останавливаться здысь, шли прямо въ Оеодосію... Рядомъ съ Соней сыль какой-то татаринъ съ ужасно сладкими глазами, выроятно, не разъ смущавшими петербургскихъ барынь.

- Здравствуй, Абдуль!—привътствоваль его Алекеъй Петровичъ.
 - Здорова, баринъ.
- Кто это теб'в куртку такую подарилъ?.. Ишь, вся золотомъ расшита.

У татарина глаза стали еще слаще...

- Одна тутъ есть... Каждый день съ ней Учанъ-Су ъзжу...
 - Богатая?..

Тоть даже зажмурился и языкомъ зачмокалъ.

 Объщала лошидъ купить, два лошидъ, три лошидъ.

- Воть какъ... Ну, старайся, Абдулка.
- Нельзя стараться! вдругъ грустно вздохнулъ онъ.
- Почему?
- Вчера она письмо получилъ... Изъ Петербурга мужъ ему сюда ъдетъ.
 - Можетъ-быть, не надолго.
- Нэть... весь августь и сентябрь будеть зд'ясь. Не стоить стараться... Афицерь его мужь!

Алексъй Петровичъ весело расхохотался...

- Ты что хмуришься?—обернулся онъ къ Сонъ.
- Ты бы еще откровенные съ нимъ разговоръ завель.
- Не знаю почему, но сегодня мив ужасно хочется надвлать какихъ-нибудь отчаянныхъ глупостей...
 - Чему это обрадовался?
- Давно себя не чувствоваль такъ легко... Знаешь, эти волны меня раздражали, на нервы дъйствовали. И въдь сколько дней это продолжалось!
- Говорять, что здѣсь, какъ подуеть восточный вѣтеръ, такъ мало-мало на недѣлю волненіе разведеть... Я все-таки не думала, что у тебя такъ рас-шатаны нервы!..

Нальво идиллическіе домики смынялись выступами грозныхь утесовь, за однимь изь нихь весь на свыту выступиль громадный и тяжелый Аю-Дагь. Какъ разъ въ эту минуту по береговой тропинкы ыхаль какой-то татаринь на маленькой лошадкы...

- Какъ хорошо! —проговорила Соня.
- Да... ты помнишь это само вѣдь напрашивается:

"Волшебный край—очей отрада! Все живо тамъ—холмы, лѣса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріятная краса,

И струй и тополей прохлада,—
Все чувства путника манитъ,
Когда въ часъ утра безмятежный
Въ горахъ, дорогою прибрежной
Привычный конь его бѣжитъ,
И зеленѣюща́я влага
Предъ нимъ и блещетъ и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-Дага!.."

Только сегодня она не блещеть и не шумить, а совсемъ заснула подъ ними и, пожалуй, еще оттого красивъе.

IX.

Что-то особенно радостное и свътлое охватило Алексвя Петровича, когда они вышли на берегъ въ Гурзуфъ. Онъ взглянулъ на Соню и въ ея счастливыхъ глазахъ прочелъ выражение того же чувства. "Правда, хорошо", шепнуль онъ; она отвътила ему улыбкой... Прямо передъ ними былъ дивный паркъ, гдъ все "росло и вонъ рвалось изъ м'вры". Платаны въ своей задумчивой дрем'в стояли пышные, кидая кругомъ прохладную тынь. Кипарисы молитвенно подымались къ темно-синимъ небесамъ, чудныя лагерстреміи сгибались подъ тяжелыми кистями розовыхъ цвътовъ, посреди зеленыхъ лужаекъ широко раскидывали свои гигантскіе листья бананы, и красиво протягивали въ знойный воздухъ узорчатую сквозную зелень развившіяся на волъ латаніи... Изъ тъни къ свъту, изъ свъта въ тынь, рука объ руку, шли Верховенскій съ Соней, словно въ какомъ-то очарованномъ снъ. Въ глубинъ аллей часто синъло море, -синъло и сіяло въ одно и

то же время какимъ-то неописуемымъ голубымъ блескомъ. Оно было недвижно... Волны спали, какъ спали въ душѣ Алексѣя Петровича всѣ, вчера такъ мучительно охватывавшія его воспоминанія...

- Ну, что, разв'в нехорошо я сд'влала, что увезла тебя въ Крымъ?
 - Да, еще бы!
- Тамъ теперь туманъ, дождь въ туманѣ... **и** твоя жена въ дождѣ...

И она засм'влась. Что-то, словно облако, нашло на Алекс'вя Петровича... Но онъ тотчасъ же засмотр'влся на горы, покрытыя виноградниками...

- Какъ любилъ этотъ уголокъ Пушкинъ,—задумчиво проговорилъ онъ,—какъ часто въ холодъ и туманахъ съвера онъ мечталъ о немъ...
 - Вотъ, вотъ онъ...-крикнула Соня.
 - Что такое?
 - Платанъ этотъ, платанъ Пушкина...

Громадное дерево мощно раскидывалось въ ширь и въ высь своими пышными вътвями. Оно говорило о полнотъ жизни и мощи, каждымъ листкомъ своимъ играло съ солнцемъ и, насквозь имъ пронизанное, стояло словно въ золотомъ уборъ. Стояло одиноко... Словно уважая память великаго поэта, связанную съ этимъ великаномъ, ни одинъ кустикъ не подбирался сюда...

— Вотъ они—"и дремлющій заливъ и черныхъ скалъ вершины", ты помнишь, у Пушкина... Ахъ, какъ хорошо здѣсь, какъ хорошо!

Громадные отели, воздвигнутые нынъшнимъ владъльцемъ, не остановили вниманія нашихъ путниковъ. Имъ больше по душѣ была татарская деревушка на скалахъ, куда вела узкая тропинка... Всѣ ея домики

точно оберпулись лицомъ къ солнцу и смотрѣли на пего во всѣ свои веселыя окна. Опѣ—эти живописныя лачуги — точно ступеньками лѣстницъ покрыли склоны надъ Гурзуфскимъ заливомъ, и, бродя по переулкамъ между ними, Алексѣй Петровичъ любовался красавицами-татарками, глядѣвшими на него наивно, робко и дико, точно лани, готовыя броситься стремглавъ при первой попыткѣ подойти къ нимъ, погладить ихъ.

— Какъ хорошо, какъ хорошо!...

И чёмъ выше подымались они, тёмъ красиве, сине, ярче мерцалъ внизу голубой заливъ, гуще въ лиловыя краски одевались скалы Аю-Дага и царственне выдвигались древнія руины... Остатки Юстиніановскихъ башенъ, величавыя развалины толстыхъ стёнъ, когда-то грозно хмурившихся отсюда на эту морскую даль... Теперь здёсь тишина, спокойствіе...

— Дай руку... Такъ мив не подняться! — крикнула Соня.

Верховенскій пріостановился...

— Все точно заснуло кругомъ!.. Молчитъ... И горы и море...

Дъйствительно, все спало... Спали накалившіеся камни, спалъ мощный Аю-Дагъ, спало море подънимъ... Однъ ящерицы не спали едва шурша, опъ бъгали по всъмъ направленіямъ въ щеляхъ и трещинахъ, да горный орелъ, пробужденный нашими путниками, сорвался съ выступа сърой скалы и съ хриплымъ клекотомъ взвился въ недосягаемую высь, широко раскинувъ свои могучія крылья...

Туть есть мѣстечко, гдѣ въ старыхъ руинахъ гуще трава и ярче цвѣты... Отсюда Гурзуфскій заливъ кажется озеромъ, сжатымъ съ одной стороны Аю-Дагомъ,

а съ другой—Никита-буруномъ... Долго не хотълось уходить Сонъ. Весь паркъ былъ подъ ея ногами, за татарской деревней, на крыши которой, казалось, можно было вспрыгнуть... Вонъ платанъ Пушкина... Вонъ его старый кипарисъ, торжественный, точно памятникъ... Вонъ пышные кедры, нъжныя апельсинныя и лимонныя деревья, зеленые лавры... И опять это солнце, море и горы! Горы, солнце и море въ безконечныхъ сочетаніяхъ, оттънкахъ, краскахъ, силуэтахъ и отсвътахъ.

Счастливый день!...

Долго его будеть вспоминать Алексви Петровичь. Въ тьму и холодъ его будущаго онъ броситъ не одинъ теплый лучъ... Какъ жаль, что человъкъ не можеть удовлетвориться только солнцемъ, моремъ и горами, что въ этой дивной рамкъ онъ создаеть сложнъйшія отношенія и мучится и бьется въ нихъ, не зная, какъ выпутаться изъ имъ самимъ же раскинутыхъ сътей. Мучится, бьется и задыхается, когда кругомъ все такъ хорошо, свътло и счастливо, когда кроткая и чистая, не знающая безумія и разлада природа, кажется, говорить ему: "Живи, смотри и радуйся!... Живи и любуйся—я не повторяюсь никогда и нигдъ. Умъй видъть, и это будеть для тебя неисчерпаемымъ источникомъ наслажденія. Умёй видёть — каждый новый лучь мёняеть меня, каждая тёнь даеть новое выраженіе моему прекрасному лицу..." И сегодня Алексъй Петровичъ быль въренъ этому зову: онъ смотрель и видель и радовался...

А на далекомъ морѣ уже просыпался вѣтеръ...

Туть оно было недвижно, но тамъ его синь потеряла блескъ и прозрачность, потускивла и рвзко отдълилась отъ голубого небосклона, съ которымъ

сливалась еще недавно такъ, что корабли, стремившеся на югъ, казалось, плавали въ небесахъ... Когда Алексъй Петровичъ сошелъ внизъ къ самому берегу, первая складка начинавшагося волненія уже набъжала на отмели и нѣжно шевельнула ихъ высохшіе на солнцѣ камешки... За нею шли другая, третья, веселые всплески сверкнули въ бухтѣ, и когда пароходикъ "Герой" шелъ назадъ въ Ялту, его уже покачивали проснувшіяся волны...

Онъ же подымались и въ душъ Алексъя Петровича...

"Тамъ теперь туманъ, дождь въ туманъ и она въ дождъ", пришла ему на память фраза Сони... Да, и она въ дождъ и туманъ...

X.

Волны заговорили опять.

Море расшумълось на ночь... Къ утру оно уже бъшено кидалось на берега, стараясь точно перерасти ихъ своими взмывами. Точно какія-то зеленыя горы подымались надъ землею, перекидывались за начатыя постройки мола и обрушивались на набережную, заливали всю ее вплоть до желъзныхъ ръшетокъ дачъ и садовъ... Бълыя кружева пъны свивались и развивались уже не на однъхъ отмеляхъ внизу, они раскидывались у самыхъ тротуаровъ города... Море перебрасывалось черезъ кровли купаленъ и гнъвно ревъло, точно грозя Ялтъ смыть ее прочь съ этого узкаго прибрежья и унести съ собою въ потемнъвшую даль. Суда, еще державшіяся на волнахъ, еще не сорванныя съ якорей, часто подымались выше часовни,

выстроенной у самаго моря, и тотчась же съ жалобнымъ скрипѣніемъ падали внизъ въ мгновенно раскрывавшіяся у нихъ подъ килемъ бездны. Вмѣстѣ съ пѣною выбрасывало на берегъ доски, какіе-то обломки весель, уключины, бочки... Гдѣ-нибудь разбило лодки, и море выплевывала ненужные ему остатки.

Алексый Петровичь уже не сидыть на своей скамых. Она теперь то и дыло исчезала поды зеленою массой воды. Вы слыдующую ночь, выйдя кы рышеткы своего сада, Верховенскій видыть, какы нады берегомы подымались точно былые призраки. Подымется, вырастеть, страшно вырастеть, вскинеть наверхы, словно оть ужаса, былые длинные рукава своихы одежды и рушится внизы размывами пыны и тысячами брызгы... А вслыды за уничтожившимся призракомы—другой, третій... безы конца... И всы они одинаково подымають кверху свои руки... Не пугаеть ли ихы тоты мракы, та буря, что шумить теперь вы душы этого человыка, такы спокойно, повидимому, глядящаго изы-за желызныхы перилы своего сада?

Повидимому!

Да, только-повидимому.

Онъ быль мученикомъ все это время и мученикомъ вдвойнв. И за ту, что томилась теперь въ Петербургв "подъ дождемъ и въ туманв", и за эту, что пока, счастливая и безмятежная, улыбаясь, засыпала и просыпалась въ этомъ чудномъ домикв среди цввтущихъ магнолій и кипарисовъ... Что двлаетъ та? Какъ сказать, что съ нимъ творится, этой?.. Въ немъ самомъ шумвли, набъгали и отбъгали, вспънивались и разбивались волны такихъ воспоминаній, грозно ревъла буря такихъ сложныхъ и перепутавшихся чувствъ, что иногда ему казалось лучшимъ подойти

къ берегу и дать себя унести настоящему морю въ его таинственныя пучины...

Иного исхода онъ не видёль и встрёчаль каждое утро улыбку Сони, какъ виновный, опуская свою голову.

Наконецъ онъ остался одинъ.

Какъ случилось—въ первыя минуты Алексъй Петровичь не соображаль этого. Ему было ясно одно: судьба отдавала его на произволь самому себъ. Теперь ничто не могло уже служить для него отсрочкой, оправданіемъ. Онъ могъ самъ ръшиться, что и какъ ему дълать. Соня разъ утромъ получила телеграмму, развернула ее и поблъднъла.

— Что это, что это!—растерянно повторяла она.—Воть, воть...—сама не понимая, что д'влаеть, протянула ее Верховенскому.

Тоть прочель.

Телеграфировалъ отецъ: "Умираю... Прівзжай проститься. Осталось жить не болве недвли"...

- Я повду съ тобою...
- При чемъ же mы и mамъ? спросила его Соня. Отецъ не знаетъ нашихъ отношеній. Ты думаешь, что они обрадуютъ его въ послѣднюю минуту?.. Еще если бы умерла mа, съ невыразимою жестокостью подчеркнула она. Tа... И къ чему она живетъ, вотъ ужъ именно ни себъ ни собакамъ!

Она, эта здоровая, сильная женщина, не зам'вчала, что подъ вліяніемъ внезапно нахлынувшей на нее ненависти, она дълалась не только несправедлива, но и груба, вульгарна.

- Та относительно тебя ни въ чемъ не виновата.
- Недоставало бы только, чтобы *ты* ее сталь защищать!—съ непослѣдовательностью раздраженной женщины вспыхнула она.

- Во всякомъ случат ты должна такать къ отцу...
- Да, да... Сегодня же... Я успѣю черезъ двое сутокъ въ Кіевъ. Еще, можетъ быть, застану... Ты не очень станешь скучать здѣсь?

Онъ съ удивленіемъ взглянуль на нее.

- Развѣ теперь время говорить объ этомъ! Вѣдь... буду ли я скучать или пѣтъ, все равно надо.
- Тебѣ, разумѣется, одинаково, здѣсь я или нѣтъ... Даже, можеть-быть, безъ меня лучше...
- Какая ты!..—только и могь проговорить онъ, все больше и больше изумляясь и не понимая, что дълается съ нею.

Она расплакалась и пришла въ себя.

Только послѣ слезъ она серьезно обсудила положеніе дѣлъ и живо уложилась. Верховенскій нанялъ ей коляску до Симферополя и проводилъ ее до Алушты. Весь путь за ними гнались волны... Онѣ точно хотѣли дорваться до ихъ колесъ; оставили только у Кастели и опять накинулись на нихъ на набережной Алушты... Имъ точно не хотѣлось упускать свою добычу и, когда назадъ Алексѣй Петровичъ ѣхалъ уже одинъ, начавшее успокоиваться море только гремѣло и жаловалось на что-то... Теперь онъ слушалъ его безъ помѣхи.

Слушалъ и день и ночь...

Дия черезъ три онъ получилъ телеграмму:

"Отцу лучше... Но надежды нътъ. Мнъ придется остаться здъсь еще недъли двъ. Пиши"...

Следоваль адресь...

Въ этомъ году восточные вѣтры держались упорно. Ранѣе равноденственныхъ бурь они цѣлыми недѣлями бѣсились по всему простору Чернаго моря. Оно не могло успокоиться или если и успокоивалось, то на день,

на два... Съ отъ вздомъ Сони такихъ дней не было... Волны бушевали почти у самой калитки виллы "Дарсана", и все время, глядя на нихъ, Алекс в Петровичъ прислушивался къ тому, что еще глуше и грознъе шумъло въ его душъ...

Наконецъ ему стало невыносимо, и черезъ недѣлю Соня у постели умирающаго отца получила отъ него неожиданную вѣсть:

"Дѣла на нѣсколько дней вызывають въ Петербургъ. Выѣзжаю. Телеграфируй пока до востребованія"...

Весь долгій путь ему чудилось, что позади еще слышится дальнее эхо черноморскихъ волнъ. Когда, въ туманъ и дождь, онъ прівхалъ, наконецъ, и по влажнымъ, точно заплаканнымъ улицамъ добирался до гостиницы, волны эти, назло разстоянію, зашумъли еще громче... Стоило ему закрыть глаза—и онъ видълъ вскидывающіеся надъ мокрымъ берегомъ бѣлые призраки негодующей бури.

XI.

Онъ только заняль номерь въ отелѣ и, не переодѣваясь, пошелъ къ себѣ.

Разумъется, онъ не могъ остановиться "дома".

Можетъ-быть, его появление нанесло бы еще большій ударъ той женщинѣ, судьба которой поднимала такую бурю въ его душѣ.

Онъ и теперь направлялся къ ней не совстмъ спо-койно.

Если бы онъ захотъль быть благоразумнымъ, онъ сначала узналь бы отъ общихъ знакомыхъ, что съ

нею. Но онъ самъ не понималь, что именно заставляло его такъ спъшить. И онъ спъшилъ, взялъ и понукаль извозчика, точно минутой ранве или позже уже не все равно было въ ихъ обоюдномъ положеніи... Улицы за улицами какъ нарочно тянулись ужасно долго. Онъ съ ненавистью смотрълъ на дома, смънявшіеся одни другими, и когда, наконецъ, извозчикъ свернуль на Литейную и вдали показались желтыя ствны того, гдв жиль онь, сердце его такъ забилось, что онъ остановилъ дошаль и опять пошелъ пъшкомъ. Онъ бы задохнулся сидя. Движеніе нъсколько привело его въ себя. Вонъ угловое окно-ея окно... Въ немъ не видать ничего; върно, какъ и тогда, оно занавъшено плотно. Что-то дълается теперь за его тяжелыми гардинами?.. Вонъ другое, но онъ напрасно силится разобрать что-нибуль на ихъ темномъ фонъ... Не выглянеть ли кто, не прижмется ли къ холодному стеклу пылающимъ лицомъ, какъ дѣлалъ онъ когдато?... Алексъй Петровичъ остановился на противоположномъ тротуаръ и сталъ всматриваться... Нътъ никого и ничего.

Странное дѣло, по всему пути онъ мучился за Соню. Что, если она узнаеть, что если она пріѣдеть сама. Теперь же воспоминаніе о любимой женщинѣ какъ-то странно скользило по его сердцу, вовсе не заставляя его сжиматься и биться, какъ оно сжималось и билось, когда въ Ялтѣ онъ думалъ объ этой брошенной здѣсь, что теперь мучится и томится за тяжелыми гардинами того вонъ окна... Соня точно отошла куда-то далеко-далеко. Такъ далеко, что онъ даже не различалъ ея лица, не видѣлъ его вовсе... Не то, что забылъ его, а словно оно было заслонено чѣмъ-то, заставлено...

Наконецъ онъ подошелъ къ дому. Позвонилъ, вызвалъ дворника. Тотъ, увидъвъ Алексъя Петровича, сорвалъ съ себя шапку.

- Изволили прівхать?.. Ну, слава Богу, слава Богу...
 - Что, у меня все благополучно?
 - Чего-съ? растерялся дворникъ.
 - Все хорошо дома-то?
 - Цело... Будьте покойны...
 - Я тебя спрашиваю про жену? Здорова она?
 - Анна Алексвевна... Точно что...
 - Да говори толкомъ!
 - Ихъ... потому что... нътъ.
 - Какъ нѣтъ!
- Ихъ, которыя ваши знакомыя дамы увезли... Прівзжали и увезли...
 - Зачьмъ?
- Онб-съ, супруга ваша то-есть, очень неладны были... Ну, прівхали, которыя, значить, дамы и взяли ихъ съ собою.
 - Что же, хуже сдълалось женъ?
- Не то, чтобы... А только онѣ все головой такъ вотъ качали... И все про себя, про себя что-то...
 - Что про себя?
- Разговаривали... Про жисть, значить...—дворникъ терялся все больше.
 - Кто же въ квартирѣ?
 - Никого-съ... Намъ сдана подъ расписку...
 - Принеси ключъ и отопри.

Дворникъ побѣжалъ за ключомъ. Алексѣй Петровичъ тихо началъ всходить на лѣстницу. Онъ самъ не могъ дать себѣ отчета, что съ нимъ. Такъ подступало къ

сердпу, кружило голову, ноги не держали, подкашивались...

"Увезли... Куда увезли?.. Что съ нею?.."

- Куда увезли?..—спросилъ онъ у дворника, когда тотъ появился внизу.
 - Которыя дамы... къ себъ, значить.
 - Да кто... У васъ записано?
- Какъ же, помилуйте, мы обвязаны... Кто прописанъ, сейчасъ же отмътку, куда выъзжаютъ. Мы сейчасъ же въ полицію, а полиція—въ адресный столъ...
- Что такое?—ничего не понималь Алексъй Петровичь.—Какой адресный столь?
- Потому отъ полиціи строжайше... У насъ околоточный новый до всего доходить. Одного дня нельзя... Сейчасъ—объявку.
- Да, воть что!.. Такъ принеси мнѣ сейчасъ адресъ, куда уѣхала жена...
- Воть только отворю двери... Мы квартиру ежедневно пров'ятриваемъ... Форточки отворяемъ. На ночь нельзя, потому, сами изволите знать, котовъ у насъ... Эта, которая, сус'ядняя старушка, одна ихъ шесть штукъ держитъ, ну, и отъ прочихъ приблудныхъ тоже весьма безпокойно... Такъ я справлюсь сейчасъ...

И дворникъ опять побъжалъ къ себъ.

Мѣсяца три только оставиль Алексѣй Петровичъ эту квартиру, а какъ она чужда ему... Даже страшно войти... Что съ нею, съ тою, которую увезли... Онъ схватился за голову и упалъ въ кресло... Все какъ было... Ему чудится, что изъ комнаты рядомъ сейчасъ послышится ему сухой кашель и звонокъ... Нѣтъ, все тихо, но какъ страшна эта тишина! Какъ она давитъ его, душитъ... Прямо передъ нимъ на стѣнѣ—портретъ. Большой, яркій... Какая красавица!.. Онъ хорошо

помнить ее такою, самъ рисоваль ее въ первый неріодъ ихъ любви! Какая красавица!.. И какъ сміло смотрять эти большіе, потомъ потухшіе и ставшіе такими робкими глаза. Какъ поблекли эти щеки, заострились и исхудали всв черты изящнаго лица... Какая темь легла потомъ на него!.. Вонъ и тотъ портреть тоже написанъ имъ... И вездъ она... она... Онъ всталъ и пошелъ въ ея комнату... Все, какъ при ней, даже пледъ на полу передъ кресломъ, какъ сбросила его съ ногъ, уходя, такъ онъ и остался... Въ каминъ напротивъ-зола... На столикъ склянки съ лъкарствами. Его портретъ внизу, на полу, подъ столомъ. Алексъй Петровичъ наклонился и поднялъ. Стекло разбито. Должно - быть, судорожнымъ движеніемъ руки уронила нечаянно... Гардины спущены... Полумракъ... Несколько леть выжила она въ этомъ полумракъ... Нъсколько долгихъ лътъ... День за днемъ, часъ за часомъ... И опять ея лицо смотрить со стѣны счастливое, улыбающееся, полное жизни... Эта длинная прядь волось, падающая на плечо... Тогда она поднялась утромъ съ постели; именно такою онъ и набросаль ее, какъ она была-свѣжей, изящной, еще полной покоя и тишины счастливо проведенной ночи... На ея подушкъ брошены розы. Онъ принесъ тогда ихъ и разсыпалъ кругомъ... Какъ ярки онъ... И какъ къ лицу ей. Были! Да, это она, онъ помнитъ, какъ онъ целоваль эти длинныя ручки, какъ заглядывался въ эти ясные, ему одному немеркнущимъ свътомъ сіявшіе глаза...

— Пожалуйте...

И дворникъ протянулъ къ нему записку.

— А, къ Куницынымъ! — обрадовался Алексъй Петровичъ.

Ему стало легче. У нихъ ей будетъ спокойно... Добрые, хорошіе люди, искренно любившіе и его и ее.

- Сейчасъ перевдете?...
- Нътъ... Подожду... Я пока въ гостиницъ остановился.

И онъ вышелъ вонъ.

XII.

"Что это еще значить? Зачьть она головою все такъ воть качала?" думаль Алексви Петровичь, провыжая въ другой конець города къ Куницынымъ и вспоминая разсказъ дворника... Какъ встрътиться съ нею?.. Чъмъ объяснить свой нежданный отъездъ посль той глупой и пошлой сцены? Где онъ быль, что дълаль? Въдь говорить съ нею, какъ съ взрослымъ и здравымъ человъкомъ, нельзя. Совсъмъ нельзя! Она—ребенокъ, больной и нравный... Но все-таки ребенокъ.

И опять эти волны... Онъ положительно слышить ихъ сквозь грохотъ извозчичьихъ колесъ по мостовой, сквозь шумъ и крики, охватывающіе его отовсюду... Точно наэло разстоянію, отзвучія ихъ доносятся сюда, доступныя только ему одному... Онъ будто торопять его, напоминають ему о чемъ-то... О чемъ?

Онъ мучился, пока довхалъ до Куницыныхъ.

- Дома?—спросилъ онъ у горничной, отворившей ему двери.
 - Барыня дома...
 - Попроси ее сюда на минуту.

Онъ былъ такъ ажитированъ, что та даже не пригласила его войти, а побъжала за хозяйкой.

- Наконецъ-то, наконецъ-то вы прівхали!...
- Ради Бога, что съ женой?...

Куницына какъ-то странно посмотрѣла на него, хотѣла что-то сказать, но запнулась и, еще помолчавъ, вдругъ чуть не вскрикнула ему:

- Войдите же, войдите... Не на лъстницъ разговаривать!..
 - Да, но тамъ я встръчу ее... Мое появленіе...
- Ея вы не встрѣтите...—загадочно какъ-то уронила Куницына, и Алексѣй Петровичъ вошелъ за нею. — Ея вы не встрѣтите...
 - Мив сказали, что она здъсь.
 - Да... была здѣсь... Точно, была. Садитесь.
 - Ради Бога, что же съ ней? гдв она?
- Приготовьтесь, Алексѣй Петровичъ, къ самому худшему...
 - Умерла?—вырвалось у него.
- Лучше бы... Лучше бы, если бы умерла... Я нашла ее въ ужасномъ состояни...-Куницына говорила безпорядочно, какъ будто ей трудно было совладать съ собою, она торопилась и старалась не глядёть на Верховенскаго. — Въ ужасномъ! Ко мнъ пріъхаль докторъ нашъ и говоритъ: "Ради Бога, поъзжайте скорве къ Верховенской... Я, разумвется, сейчасъ къ ней... Сидить, качается изъ стороны въ сторону... Глаза безсмысленные, смотрить куда-то вдаль, меня не видитъ. Заговариваю-не слышитъ, только и повторяеть одно: "Увхаль, бросиль, забыль!.." Кое-какь съ докторомъ мы ее привели въ себя. Она смотръласмотрела на меня, заплакала и опять это: "Убхалъ, бросилъ, забылъ!.. Я увезла ее ко мнъ, а она по пути все: "Куда вы меня везете, куда?.. Я къ мужу хочу, отвезите меня къ мужу... "Нъсколько дней про-

жила она туть и ничего, кромѣ "уѣхалъ, бросилъ, забылъ", я отъ нея не слышала. И если бы вы могли себѣ представить, какимъ тономъ она говорила это. Смотритъ въ упоръ въ одпу точку, раскачивается и повторяетъ, да такъ, что всѣ плакали кругомъ: "Уѣхалъ, бросилъ забылъ..." Докторъ добивался, не было ли въ ея роднѣ помѣшанныхъ, не наслѣдственное ли у нея нервное разстройство... Вы не знаете?

Алексъй Петровичъ, сидъвшій молча, уронивъ голову на руки, потупился.

- Что вы спрашиваете?.. Да, о родныхъ... Нътъ, всъ ея родные здоровые, я знаю ея мать, бабку, отца, дъда, только это все здоровые люди.
 - Значить, насл'єдственнаго ничего.
- Ничего, ръшительно ничего. Не томите, ради Бога. Чъмъ же все это окончилось?
- Созвала я консиліумъ, приказали отвезти ее и пом'єстить къ доктору ***.

И Куницына назвала одного изъ наиболће авторитетныхъ психіатровъ.

- И все одно и то же. Сколько разъ я ни прівзжала къ ней—одно и то же: "Убхалъ, бросилъ, забылъ, къ мужу хочу..." Говорила я съ ***. Его мнѣніе, что она очнуться и прійти въ себя можетъ только, если вы вернетесь и возьмете ее. Не иначе. На васъ однихъ надежда. На васъ однихъ. Теперь, Алексъй Петровичъ, забудьте, что было. Мы знаемъ всѣ, что вслъдствіе ея болѣзни вы были мученикомъ, забудьте это. Поймите, что надо спасти разумъ этой несчастной... Вы должны еще разъ принести себя въ жертву.
- Помилуйте, да развѣ я... Напротивъ...—растерянно говорилъ онъ.—Напротивъ, я сейчасъ, сію минуту. Давно ли вы были у нея?

- Недѣлю не была. Я уѣзжала сама и только вчера вечеромъ вернулась. Собиралась сегодня къ ней. Иногда она меня узнавала. Чаще нѣтъ.
 - Что говорить докторь: есть надежда?
- Да... Есть, еще бы... Повторяю, единственное средство спасти ее—это вы, вы сами. Помимо этого нъть ничего. Воть онь разскажеть вамь... А всего лучше увезти ее куда-нибудь подальше, на югь, что ли, только чтобы ничто не напоминало ей эту обстановку, всю эту жизнь... Когда она вспомнить все, что случилось, сумъйте объяснить ей какъ нибудь вашь отъ- тадь. Слышите ли? Это очень важно. Больной вовсе не надо знать правды! Еще пустять ли васъ къ ней. Это зависить оть того, въ какомъ она положеніи...

Алексви Петровичъ уже не отвъчалъ ни слова. Въ немъ точно все упало внутри. Онъ почти не сознавалъ, куда и зачъмъ онъ ъдетъ. Казалось, не онъ къ больной, а его самого везутъ лъчить. Все потемнъло и помертвъло кругомъ, все замерло, и только негодующій ропотъ волнъ слышался издали, волнъ, такъ давно гнавшихъ его съ счастливаго юга на холодный и недужный съверъ... Изъ этого мрака одни ея глаза смотръли, но только не глаза несчастной и больной женщины, а веселые, яркіе, любящіе, такіе, какіе онъ помнилъ въ первое время...

- Безуміе—какое это страшное слово!.. Боже! какіе удары судьба им'веть въ своемъ распоряженіи и за что?..
- Что это, къ чему вы прислушиваетесь? —пытливо взглянула на него Куницына.
- Волны!..
- Волны?.. Какія волны... "Какъ бы не пришлось, подумала она про себя, вм'ьсто одной, л'ьчить обо-ихъ..." Какія волны?..

— Н'єть, это такъ... Это впечатлівне Ялты. На Черномъ мор'є стояли сильные в'єтры... Волны шумізли... До сихъ поръ въ ушахъ слышится.

Куницына сомнительно покачала головою...

Что это было, онъ и самъ долго не могъ дать себъ отчета. Ни съ того ни съ сего ему вдругъ влетали въ голову разсѣянныя строки, вовсе не относившіяся ни къ случаю этому ни къ пострадавшей женщинъ. "Какой источникъ генія погасъ, какое сердце биться перестало!" или: "Безумецъ ты, они тебъ сказали и нагло такъ смѣялись надъ тобой..." или: "Пусть говорять, что я съ ума сошелъ..." Потомъ онъ приходилъ въ себя и ему опять, точно изъ недосягаемой дали, свѣтили чистыя и ясныя очи счастливой и любимой женщины... И неужели она можетъ сдѣлаться безумной, и онъ представлялъ ее себѣ такою и въ ужасѣ забивался въ уголъ кареты, стараясь уже ни о чемъ не думать, ничего не видѣть, не слышать...

— У нея было тихое помѣшательство...—не понимая его состоянія, продолжала Куницына.—Она не подымала голоса, не кричала, не билась. Только тысячи разъ въ день повторяла одно и то же: "Бросилъ, уѣхалъ, забылъ..." Бросилъ, уѣхалъ, забылъ...

И каждое слово этого "бросилъ, уъхалъ, забылъ", словно капля расплавленнаго свинца, падало на его сердце, прожигая его.

— И какъ повторяла!—не унималась Куницына.— Знаете, опустить голову, раскачиваеть ее такъ и точно про себя, точно она все время только объ одномъ думала и ни о чемъ больше... "Бросилъ, уъхалъ, забылъ..." Посадять ъсть ее—ъстъ, потомъ вдругъ положить ложку, заглядится куда-то и закачается и опять: "Бросилъ, уъхалъ, забылъ..." Сначала еще при

этомъ у ней слезы, совсѣмъ какъ у дѣтей, дождемъ сыплются, а потомъ лицо принимало совершенно безсмысленное выраженіе... Ночью, бывало, проснется и опять то же самое... Я голову потеряла съ нею. Разъ подъ утро прибѣгаетъ ко мнѣ горничная, будитъ. "Что такое?" спрашиваю. Смотрю, на ней лица нѣтъ. "Тамъ, тамъ", отвѣчаетъ... Я туда, смотрю—ваша жена уже въ подъѣздѣ. "Куда вы?"—"Къ мужу, къ мужу хочу, къ Алексѣю Петровичу..." И какъ она говорила это... Голосомъ больного ребенка... Мнѣ до сихъ поръ снится это, и по ночамъ я плачу...

А волны все глуше и глуше шумѣли. Алексѣй Петровичъ слушалъ ихъ, и точно сквозь ихъ ропотъ долетали къ нему слова его знакомой!

"Сейчасъ увижу,—думалъ онъ про себя,—сейчасъ увижу".

И ему хотвлось выскочить изъ кареты и броситься куда - нибудь головой внизъ, въ омутъ, только бы не встрвчаться съ нею сейчасъ, не услышать этого "бросилъ, увхалъ, забылъ".

XIII.

- Что вы?.. Что съ вами?..

Куницына тревожно взглянула на оглядывавшагося во вст стороны Алекстя Петровича...

- Ничего, такъ...
- -- Васъ что нибудь безпокоить?.. Вы что нибудь вепомнили?
- Нѣтъ... Волны эти. Странно, я ихъ слышу здѣсь... Онъ меня гонятъ куда-то или за мною гонятся... Ничего не понимаю... Ясное дъло, что на такомъ раз-

стояніи он'ь не могуть... Откуда же я ихъ такъ отчетливо... Ударъ за ударомъ... И раскаты...

"Н'єть, вм'єсто одной, положительно обоихъ л'єчить придется!"

И Куницына хмурилась, глядя на Верховенскаго, который становился все тревожите и страните...

- И чьмъ ближе къ больниць, тымъ все ясные и ясные... Точно мы къ самому берегу подънзжаемъ... Мны кажется, если я закрою глаза, такъ самые всплески волнъ увижу надъ этою набережною.
 - Надъ какою набережной?
 - Гдв я сидвлъ часто въ Ялтв...
- Алексъй Петровичъ, очнитесь, опомнитесь. Въдь вамъ теперь нужна вся ясность ума, вся твердость ваша... А вы поддаетесь, Богъ знаетъ, чему... Ну, какія волны на двухъ тысячахъ верстахъ разстоянія...

Онъ потупился. Только у самой больницы уже съ удивленіемъ взглянуль на нее,—такъ взглянуль, что та невольно спросила его:

- Что?
- Неужели вы не слышите ничего?...
- Кромѣ грохота колесъ по мостовой, ничего, разумѣется. Знаете, Алексѣй Петровичъ, если бы можно было ждать еще, я бы сама предложила вамъ не видѣться сегодня съ нею, потому что, извините меня, вы тоже не нормальны. Вѣроятно, утомленіе дороги, цѣлая масса пережитыхъ вами тревожныхъ впечатлѣній, все это сказывается...
 - Нѣтъ, что же...

А самому Алексъю Петровичу хотълось сейчасъ же выскочить изъ кареты и опрометью броситься прочь. Что-то ужасное, неотвратимое сторожило его тамъ, за этими массивными дверями на ключъ запертаго подъъзда.

Точно отсюда уже никогда не суждено ему было выйти на свътъ Божій. У Верховенскаго какъ-то и ноги отяжельли, и онъ самъ точно сталь донельзя грузнымъ,такъ ему трудно было переступить порогъ, за которымъ, темная и мрачная, словно супилась громадная передняя... Онъ пріостановился даже: дикая мысль мелькнула у него въ головъ. Не убъжать ли, пока еще есть время, въ самомъ дълъ? Что ему? Лично онъ можеть быть еще счастливъ. Стоитъ только ръшительно повернуться и уйти въ эти двери, у которыхъ стоитъ теперь мордастый швейцарь, състь въ эту же карету, что привезла его сюда, а тамъ на желѣзную дорогу, и черезъ два дня онъ въ Крыму... Солнце, море и горы; горы, солнце и море точно въ какомъ-то туманъ пронеслись мимо. Развъ мало своей жизни онъ отдаль этой женщинъ, чего же еще требують оть него? Въдь живешь только разъ и весь этоть "разъ" совствиь испорченъ безконечною и безнадежною возней съ больнымъ созданіемъ, въ мукахъ и страданіяхъ котораго онъ, лично онъ, неповиненъ... Неужели же опять въ этотъ мракъ, въ эту духоту, въ это въчное нытье... Въ немъ что-то подымалось мятежнымъ порывомъ, негодующее, злобное... За что! Отдать ей все, отказаться оть всего!... Но вдругъ тотъ же знакомый отдаленный гулъ послышался ему, тв же волны, подъ говоръ которыхъ онъ уже примирился съ ужаснымъ и мучительнымъ прошлымъ. И по мъръ того, какъ онъ подымался по широкой лъстницъ, волны все могущественнъе и бъшенъе глушили его тревожныя мысли. Волны точно хотели затопить все, что въ эти минуты начиналось въ немъ, смыть и унести съ собою голоса его личнаго счастья, его жажды жизни...

⁻ Дома докторъ?-словно сквозь сонъ послышалось ему.

- Да, пожалуйте...
- Алексъй Петровичъ, входите же... Да оправътесь. Мы сначала потолкуемъ съ профессоромъ, какъ все это устроить, а потомъ къ ней пойдемъ. То-есть, пойдете вы; я думаю, мнъ при этомъ дълать нечего, ръшительно нечего. Посторонніе только мъшаютъ, сыпала она, точно желая въ самой себъ тоже заглушить нараставшее волненіе.

Громадный кабинеть доктора весь тонуль въ полумракъ. Занавъсы были спущены, и Верховенскій смутно различалъ шкапы съ книгами, черные диваны между ними, письменный столь, заваленный бумагами, брошюрами, записками, столики въ сторонъ, загроможденные невъсть чъмъ... Нога тонула въ мягкомъ ковръ... Шумъ волнъ тутъ прекратился совсемъ... Тищина тяжкимъ бременемъ давила Алексъя Петровича. Онъ сълъ, онъ не могъ бы стоять. Чувство какой-то странной усталости охватило его. И голову кружило и точно вихремъ подхватывало и уносило его мысли прочь, такъ что въ эти мгновенія онъ ощущалъ кругомъ странную пустоту... Въ самомъ дѣлѣ, сколько несчастныхъ прошло чрезъ этотъ строгій и полный такой мистической тишины кабинеть, чтобы больше уже никогда не возвращаться къ свъту и свободъ. Можетьбыть, и съ нимъ будетъ то же самое... Воть, какъ и ихъ, поведуть его отсюда и запруть, и потомъ-одиночество, сумракъ и эта страшная пустота... И ее вели отсюда... Сначала она, можетъ-быть, сидъла на этомъ самомъ мъстъ, гдъ сидить онъ, и головой качала и безсмысленно повторяла: "бросилъ, увхалъ, забылъ", а потомъ ее взяли за руку и, говоря вст тъ же роковыя три слова, она следовала за ними куда-то далеко-далеко...

— Ахъ, какъ голова болитъ!—вырвалось у Алекстя Петровича.

Въ самомъ дѣлѣ, точно кто-то посторонній подсказалъ ему, что у него болитъ голова. Она болѣла все время, но онъ самъ не сознавалъ этого. Только сейчасъ, помимо своей воли, понялъ это какъ-то и крикнулъ.

— Ничего, я понимаю, что вамъ тяжело. Потерпите еще немного... Сейчасъ все узнается, все кончится,—утъшала его Куницына.

Сейчасъ!.. Какъ онъ боялся именно этого "сейчасъ", когда все должно узнаться и опредълиться. Если бы это сейчасъ можно было отдалить! И онъ зажмурился даже; что-то подступило у него къ горлу, перехватило дыханіе.

— Здравствуйте! —послышалось около.

Онъ удивленно открылъ глаза и всталъ совсѣмъ машинально. Какой-то маленькій человѣчекъ, на тоненькихъ ножкахъ и съ пресмѣшнымъ вихромъ на лбу, удивительно задорно торчавшимъ, пожималъ руки Куницыной и въ то же время по привычкѣ зорко и пытливо оглядывалъ Алексѣя Петровича.

— Здравствуйте...

Странно. Верховенскому послышалось въ этомъ "здравствуйте" странное смущене. Точно докторъ самъ терялся и не зналъ, что ему сказать. Въроятно, поэтому онъ въ третій и въ четвертый разъ повторялъ все то же:

- Здравствуйте, здравствуйте!..
- Воть я прівхала къ вамъ... Съ мужемъ, знаете, моей знакомой, —той, которая у васъ...

Волненіе доктора заразило и Куницыну. Она, сама не зная почему, встревожилась и, вопросительно глядя на него, тоже повторяла:

- Съ мужемъ, знаете... Это мужъ... Тотъ самый... Алексъй Петровичъ Верховенскій...
- А!..—совладаль съ собою докторъ...— Именно "тотъ самый", какъ же, какъ же, знаю-съ. Да кто же не знаетъ. У меня даже есть вашъ "Уголокъ рая". Еще помѣчено: Сорренто, 1879 г.
 - Да, это мое...

Докторъ чему-то вдругъ обрадовался, схватилъ его за руку и началъ жать, при чемъ вихоръ на лбу его встопорщился еще смѣшнѣе...

- Признаться, зарился я на вашу: "Игра въ горълки", да не по карману было... Не по карману, такъ Третьяковъ-то у меня и перехватилъ ее... Подъ самымъ носомъ...
- Какъ здоровье Анны Алексвевны? спросила Куницына у профессора.

Тоть удивительно взглянуль на нее и сделаль больше глаза.

- Здоровье?.. Да... здоровье... Все, матушка, условно, условно... Сейчасъ, сейчасъ... Сели бы вы и я сяду... Вотъ такъ. Да-съ!.. Ну, а теперь что вы пишете?
- Собирался... Не пишу еще...—недоумъвая, отвътилъ Алексъй Петровичъ.
- Не пишете, жаль... Писать надо... Надо, надо... И докторъ вдругъ задумался и забарабанилъ пальцами по кольну мадамъ Куницыной, совсъмъ не замъчая неловкости этого...
- Надо писать... Надо... Здоровье?.. Разв'в вы не получали моей записки?—круто оборваль онь и какъ-то ръшительно взглянуль на нее.
 - Нътъ. Какая записка?...
 - Сегодня не получали?..

Онъ бросился къ столу и нажалъ пуговку электрическаго звонка.

- Ничего не получала... А что? случилось что? Профессорь, не отвъчая ей, прошелся по кабинету... Въ дверяхъ показался лакей:
 - Госпожв Куницыной записку мою отнесли?..
 - Семенъ пошелъ, но еще не возвращался.
- Ну, воть видите,—чему-то обрадовался докторь, еще не вернулся. Значить, вы разминулись. Онь — къ вамъ, а вы—сюда... Ахъ, да!—точно сейчасъ онъ припомнилъ что-то.—Могу просить я васъ на два слова?

Куницына пошла за нимъ въ слѣдующую комнату. Въ дверяхъ докторъ обернулся къ Алексѣю Петровичу.

— Ради Бога, извините... Два слова—и сейчасъ къ вамъ и сообщимъ... Сообщимъ... Сейчасъ сообщимъ...

"Что за странный человъкъ", мелькало у Верховенскаго. Потомъ ему пришло въ голову, что отъ постояннаго обращения съ ненормальными ненормальны дълаются и врачи. Потомъ онъ сталъ думать о чемъ-то постороннемъ и вдругъ ему сдълалось страшно, чего—онъ еще не зналъ; но что значатъ всъ эти выходки доктора... Его растерянность, недомолвки, пытливые взгляды?..

Куницына вышла изъ той комнаты вся заплаканная, докторъ больше обыкновеннаго сѣменилъ ножками... Алексѣй Петровичъ понялъ, что случилось что-то неожиданное, и всталъ точно въ ожидани удара...

- Вы поздно прівхали, поздно!.. обратилась къ нему Куницына.
 - Поздно-съ!..-какъ эхо повторилъ профессоръ.
- Еще два дня назадъ можно было бы спасти несчастную...
 - Да-съ... Болъзнь приняла бы счастливый исходъ.

- Говорите скоръй! чуть не крикнуль имъ Верховенскій. Что туть случилось, что вы оть меня скрываете? Какъ вамъ не жаль, не стыдно...
- Видите ли,—неожиданно мягко заговорила Куницына. Можетъ-быть, это и къ лучшему... Тамъ, подняла она глаза кверху,—разръшеніе и оправданіе всему.
 - Она умерла?

И Алексый Петровичъ сыль на диванъ.

Тутъ все завертѣлось кругомъ: и докторъ, и Кунидына, и письменный столъ, и окна, завѣшанныя тяжелыми гардинами. Въ ушахъ шумѣло, и сквозь этотъ шумъ слышалось ему:

- Сегодня въ ночь... Часа въ два утра вошла къ ней сестра милосердія и застала ее у дверей.
 - Жива еще была?
- Нътъ... Она, върно, стучала, забывъ, что двери не заперты и около съла на стулъ и умерла... Вы опоздали, господинъ Верховенскій... Два бы дня раньше, можетъ, наступилъ бы благопріятный кризисъ. А теперь вы опоздали... Да-съ, опоздали.
- Да что вы радуетесь этому, что ли, что я опоздаль!—вскрикнуль Алексъй Петровичь и, уронивь голову на руки, истерически разрыдался.

XIV.

Онъ захотълъ ее видъть.

Куницына не могла пересилить своихъ ощущеній она осталась здѣсь, заявивъ, что всѣ хлопоты по похоронамъ беретъ на себя... Алексѣй Петровичъ пошелъ за докторомъ... — Не вернешь ужъ!..— совсёмъ банально утёшаль его профессоръ.—Нечего!.. Разумѣется, люди плачуть потому, что имъ отъ этого легче... Когда больно — поневолѣ кричишь или стонешь. Плачъ—то же самое: тотъ же стонъ отъ душевной боли... Но надо быть твердымъ...

Верховенскій не слушаль его.

Онъ шелъ длинными коридорами, съ окнами въ концахъ и съ дверями направо и налѣво. Тусклый свѣтъ позволялъ различать эти двери съ окошечками въ нихъ... Неужели за одной изъ такихъ именно дверей сидѣла она... Она, привыкшая къ заботливости, холѣ, къ нѣжности окружающихъ!...

ПІумъ волнъ опять послышался ему, но робкій и тихій... Волны словно плакали о чемъ-то, жаловались на какую-то страшную несправедливость... То замирали, то опять начинали биться...

По лфстницамъ внизъ—въ другіе коридоры, оттуда—въ третьи... Когда же конецъ всему этому? Шаги раздавались гулко... Голосъ доктора, уже вернувшаго себъ самообладаніе и шутившаго съ встрѣчавшимися ему сторожами, замиралъ гдѣ-то подъ бѣлыми сводами этихъ коридоровъ...

- Она здѣсь?.. спросилъ онъ, наконецъ, у какого-то солдата.
 - Издъсь, ваше превосходительство.
 - Отворено?
 - Точно такъ.

Докторъ толкнулъ двери...

Алексъй Петровичъ зажмурился и переступилъ за нимъ порогъ.

Какая ужасная тишина... Неужели это его сердце такъ бъется, такъ стучится... Куда? Что-то шуршить

около. Сестра милосердія идеть кь нимъ навстр'вчу... Она зд'єсь была... Одна съ этимъ, что лежить на нарахъ... Од'яло подостлано, на од'яльте это... Два большихъ окна. Форточки отворены — зд'єсь холодно...

- У насъ ледъ подъ нарами! объясняетъ ему докторъ...
 - Хотите видѣть? спокойно спрашиваеть сестра.
 - Угодно вамъ? оборачивается къ нему врачъ.

Алексъй Петровичъ съ удивленіемъ смотритъ и ничего не понимаетъ. Въ немъ все замерло. Все!.. Это, лежащее на одъялъ, сверху донизу покрыто бълою простыней. По простынъ — изръдка черныя пятнышки мухъ... Ползаютъ... Подъ простыней мерещатся очертанія какія-то... Вверху простыня приподиялась даже горбикомъ...

Сестра, не ожидая, отвернула простыню...

Она!.. Какая спокойная... Нѣжная, чистая... Нѣть, это не мертвое лицо! Нѣть, на немъ замерла мысль... Въ этихъ слегка сдвинувшихся бровяхъ еще замѣтна забота о чемъ-то... Полураскрытыя губы блѣдны, но онѣ могутъ улыбнуться!.. Онѣ не таковы были, когда она начинала плакать... Носъ заострился, побѣлѣль... Чудится Алексѣю Петровичу, или дѣйствительно рѣеницы дрожать?.. Вотъ - вотъ подымутся онѣ, и она, его дорогая, милая, обдастъ ихъ всѣхъ, какъ тогда... лучистымъ, яснымъ, счастливымъ взглядомъ... Гдѣ же это безуміе, о которомъ всѣ они говорили ему? Гдѣ? Это лицо тихо, нѣжно, кротко, но не безумно, нѣтъ, не безумно!

Улыбнется?.. Взглянеть?...

Нътъ... Вонъ муха поползла по носу, на ръсницы съла... Сестра смахнула ее... А она все лежитъ, такая же ясная, свътлая...

- Вчера онъ про васъ вспоминали...
- Какъ? безсознательно спрашиваетъ Алексѣй Петровичъ.
- Я къ нимъ пришла... Опѣ стали безпокоиться... Плакали, говорили все: "Къ мужу хочу, отвезите меня къ мужу". И сколько разовъ повторяли все одно и то же... Потомъ я имъ отвѣчаю: "Скоро, говорю, вашъ мужъ прівдеть, вру имъ, извѣстіе получено!.." Ахъ, плачутъ, поздно будетъ, ахъ, не успѣютъ... А потомъ опять: "Къ мужу хочу, къ Алексѣй Петровичу, отвезите меня къ мужу... Зачѣмъ вы меня здѣсь держите?.."

Какая худая... Какъ впала эта грудь и руки у нея какія стали тоненькія, блѣдныя!.. На груди сложены... Одинъ палецъ странно торчитъ, отчего ногти такими синими кажутся. Да неужели же это все правда. Или онъ проснется и все кошмаромъ однимъ почудится... Онь схватилъ ее за руку—еще мягкая, но холодная... Страшный, насквозь проникающій холодъ переходитъ въ его тѣло отъ этой руки...

Докторъ что-то говорить сестрѣ милосердія, они уходять... Алексѣй Петровичь одинъ остается съ нею—лицомъ къ лицу... Страшно ему, точно эта недвижная женщина сейчасъ будетъ судить его... Онъ вернулся, не забылъ, не бросилъ... Но какъ поздно, какъ поздно!

Сознаніе чего-то безконечно уродливаго, безобразнаго, вопіющаго по своей несправедливости, ненужности этого несчастія стало прокрадываться въ его сердце... За что?.. Что она сдѣлала? За что судьба такъ скомкала, смяла эту жизнь... Что растоптало ее, изувѣчило и жалкимъ трупомъ бросило на эти голыя нары...

— Аня... Аня...—позвалъ онъ ее, —слышишь ли ты мепя? Простишь ли?..

Какая-то книжка около. Сестра забыла, должнобыть. Алексъй Петровичь раскрываеть ее... Безсознательно читаеть вслухъ:

"Іисусъ отвъчалъ: ты не имълъ бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебъ свыше. По сему болъе гръха на томъ, кто предалъ Меня тебъ"...

На комъ это, на томъ?

На немъ, на Алексъъ Петровичь?.. Кто предалъ. Онъ предалъ... Кому?.. Кому предалъ!..

Черезъ нъсколько минутъ вошедшая сюда Куницына застала Алексъя Петровича все также неподвижно сидящимъ около... Когда она заговорила съ нимъ, Верховенскій не узналъ ея.

- Очнитесь...
- А... Кто предаль?.. Я?.. Но кому?.. Кто этоть "кто"?.. Зачёмь же онь сдёлаль сь нею это?.. Чёмь она виновна передъ нимъ?..

XV.

Точно въ туманъ прошло два дня...

Какъ ни напрягалъ своей памяти Алексъй Петровичь потомъ, никакъ не могъ понять, что онъ дѣлалъ и гдѣ былъ въ это время. Все заволокло совсѣмъ словно въ тучу... Изъ тумана всплывали порою четыре огонька восковыхъ свѣчей... Золотомъ блещущій покровъ... Какое-то желтое-желтое лицо... Яркій вѣнокъ... Кто его принесъ?.. Зачѣмъ онъ?.. Къ чему эти цвѣты около—къ чему ей, такъ страстно любившей ихъ и такъ долго лишенной возможности видѣть тѣ счастливые края, гдѣ растутъ они, радуясь теплу и солнцу... И опять все заносило мглою, и въ этой мглѣ слышался

монотонный голось какого-то чтеца, пъніе, низкая октава діакона, кудрявая голова котораго точно дразнила Алексъя Петровича... Онъ даже спалъ тяжелымъ сномъ, просыпаясь посреди ночи будто отъ какого-то толчка, зажигалъ свъчи и безсмысленно цълыми часами смотрѣлъ въ мглу, густившуюся за окномъ... Неужели въ этой мглф она, такъ всю жизнь боявшаяся тьмы и одиночества?.. Порою ему чудился въ тишинъ его комнаты шорохъ чего-то чуждаго... Словно кто-то ходиль около, наклонялся къ нему, заглядываль извив въ его сердце, въ его мысли и понималъ ихъ, -понималь, хотя самь Алексей Петровичь решительно не могь разобраться съ ними!.. Потомъ изъ того же сумрака выступила на мгновенье ярко освъщенная солнцемъ церковь, огоньки лампадъ и восковыхъ свъчей, много народа кругомъ-точно какой - то сърый фонъ, изъ котораго выдълялись и опять пропадали въ немъ знакомыя лица и длинная-длинная дорога съ толпами безучастныхъ людей по сторонамъ, извозчиками, перегонявшими его, при чемъ всѣ встрѣчные снимали шанки и крестились... И этотъ катафалкъ впереди, медленно колебавшій въ воздухѣ своими бѣлыми страусовыми перьями... Кто-то и что-то говорилъ ему, онъ отвѣчалъ, но о чемъ его спрашивали и что онъ отвѣчалъ совершенно ушло изъ его сознанія... Потомъ онъ съль въ карету съ Куницыною... Она плакала... Онъ былъ точно каменный... Кто-то даже замѣтилъ это...

— Лучше если бы вы плакали, Алексъй Петровичъ. Еще бы... Слезы въдь дешевы, и дешевая печаль вызываеть ихъ изъ неглубокихъ родниковъ сердца...

Потомъ кладбище... Опять пѣніе. Опять кудрявая голова діакона, старенькій-старенькій священникъ,—та-

кой старенькій, что Алексьи Петровичь, глядя на него, думаль: "А выдь воть онь не умираеть, не умираеть!"
— Подите, проститесь...—толкають его.

Куницына беретъ его за руку и ведетъ туда... Яма четырехугольная... Сырая земля горбомъ около. Внутри, внизу, тоже влажная земля комьями. Около—гробъ... Потомъ грохотъ этихъ комьевъ о его деревянную крышу!.. Неужели все?.. И ничего отъ нея, отъ его Ани, не осталось, кромъ вотъ того глазетоваго уголка, что еще торчитъ изъ-подъ земли... Одни воспоминанія... Была, мучилась, ушла... Куда ушла? Кто знаетъ!...

И волны опять, опять тъ знакомыя ему волны.

Только теперь, прислушиваясь къ нимъ, онъ начинаетъ понимать ихъ. Это онъ гнали его сюда, скоръе, скоръе... Если бы онъ понялъ тогда сразу, она была бы жива, она была бы спасена... Онъ слушалъ и боролся съ горечью своихъ воспоминаній, онъ слушалъ и примирялся съ ихъ обоюднымъ прошлымъ—когда надо было стремглавъ спъшить сюда назадъ къ ней, къ ея одиночеству и тоскъ...

Не осилила!

Онъ бросилъ, увхалъ, забылъ! Она, какъ никому иенужная, ушла изъ міра...

XVI.

Вернувшись домой, онъ засталъ на столъ телеграмму.

Она была отъ Сони!

"Телеграфируй, когда вывзжаешь въ Ялту... Я буду скоро!.. Что значить—нъть писемъ?.."

Онъ разорвалъ и бросилъ...

Онъ не могъ бы писать ей, онъ даже не видълъ ея. Она ушла изъ его сердца и памяти...

Ее заслонила твиь этой несчастной женщины... Между Соней и имъ стояла она... Мертвая была еще сильнве живой... Она такъ просилась "къ мужу", умирая. Теперь она была съ нимъ и онъ чувствовалъ это навсегда, постоянно, неотступно, безотходно... Она ревниво заслонитъ отъ него все, къ чему бы еще могло стремиться его сердце...

И довольныя этимъ, волны уже молчали... Онъ спокойно лежали у морскихъ береговъ...



Ночью и днемъ.

T.

Когда онъ вернулся домой, ему почудилось что-то таинственное, почти мистическое въ тишинъ, окружавшей его. Точно онъ былъ здёсь не одинъ, будто около стояль, неполвижно стояль нѣкто, кому не было надобности дышать, двигаться. Иванъ Николаевичъ попробовалъ кашлянуть, сказалъ первое навернувшееся ему слово, но и кашель и голось такъ странно прозвучали, какъ будто это сдълалъ не онъ, а тотъ другой. Спички обыкновенно лежали на углу стола. Онъ ощунью сталь ихъ отыскивать и урониль на коверъ. Пришлось за ними нагибаться. Холодъ пробъгаль по его спинъ и сосредоточивался въ колъняхъ. Онъ постоянно съ торъ испытываль это ощущение. Проснувшись ночью и найдя свѣчу сгорѣвшей, онъ торопился зажечь новую, только бы ни одной минуты ему не оставаться въ темнотъ. Онъ зналъ, что мракъ рождаеть загадочные призраки, что стоить только вспыхнуть огню, и вмёстё съ потемками они отъ него поползуть прочь. Онъ пробовалъ пересиливать себя, нарочно выдерживаль цёлыми часами; лежаль, открывъ

глаза и пристально глядя въ самыя нѣдра тьмы, обступавшей его постель. И всегда на его глазахъ рождалось во мракъ одно и то же. Сначала вдругъ неожиданно вспыхивала слабая искорка. Голубоватая, трепетная, чуть заметная. Проступить и пропадеть, потомъ проступить опять и вновь исчезнетъ... Наконецъ удержится и дрожитъ, дрожитъ... Вокругъ нея образовывается какой-то клубочекъ тумана; маленькій, маленькій, голубой внутри, съръющій по краямъ и, наконецъ, сливающійся съ тьмой. Клубочекъ этоть растеть... Искорка вся растворяется въ немъ, точно давая ему жизнь. Въ немъ что-то переливается, дымится, какъ дымится паръ надъ стынущей рекой. Потомъ нъкоторые отливы, оттънки удерживаются, опредъляются. А въ это время сердце бьется, страшно бьется, потому что онъ уже знаетъ: въ этомъ клубкъ опредълившимися и устойчивыми тынями сейчась обрисуются чьи-то опущенныя въки. Чуть-чуть намътятся брови... Едва-едва... Лобъ сольется съ краями клубка, съ тьмою, точно очертанія головы распускаются въ ней. Потомъ носъ... блъдный, безжизненный носъ, такой же безжизненный, какъ и въки... Совсъмъ безкровныя губы, плотно сжатыя, слипшіяся. И сколько бы онъ ни смотръль во тьму, самъ себя убъждая, что это все пустяки, что мертвые не возвращаются, лицо это неотступно будетъ передъ нимъ. И онъ, не отводя глазъ отъ этого виденія, точно сторожа его, протягиваль . руку подъ подушку, отыскивалъ спички, зажигалъ ихъ и, по мъръ того, какъ разсъвалась тьма, призракъ бледнель, бледнель, будто всеми своими атомами распускался въ тускломъ свёть, уже наполнявшемъ комнату. Ивана Николаевича за последнее время пугало то, что, прежде сомкнутыя, даже казавшіяся ему слипшимися, губы ни съ того ни съ сего открылись... Глаза оставались закрытыми. Вѣки такъ же плотно прилегали къ нимъ, а эти бездвѣтныя, блѣдныя-блѣдныя губы отдѣлялись одна отъ другой. Теперь онъ уже не дѣлалъ такихъ опытовъ. Съ него было довольно! Онъ спалъ со свѣчами... Онъ приказывалъ даже безъ него держать лампы зажженными, но старикъ-лакей, какъ случилось сегодня, забывалъ объ этомъ.

Когда онъ нагибался за спичками, ему почудилось, что знакомая голубая искорка уже трепетала въ неподвижномъ мракъ. Дрожащей рукою онъ зажегъ свъчу. и ему показалось, что это не мракъ уползаеть въ углы, подъ потолокъ, въ гостиную, а черные шлейфы какихъ-то длинныхъ мантій, до сихъ поръ недвижно лежавшіе на коврѣ. Свѣча разгорѣлась, онъ ощупаль лобъ: лобъ былъ холодный, весъ покрытый каплями пота... Сердце захолонуло. Въ гостиной, куда поползли черныя мантіи мрака, вдругь прозвучаль стонь, необыкновенно музыкальный и тихій въ то же время, точно посл'яднее, умиравшее отзвучіе лопнувшей струны... Какъ отъ призрака единственнымъ спасеніемъ быль действительный светь, такь оть этихь галлюцинацій слуха онъ спасался настоящимъ шумомъ. Онъ нарочно уронилъ большую книгу. Но она беззвучно упала въ пушистый и толстый коверъ... Стонъ могъ повториться. Онъ нервною рукою схватилъ колокольчикъ... Онъ зналъ, что прислуга спить внизу и его не услышить, но ему нужень быль звонь чёмь рёзче, тымь лучше. Онъ громко зазвониль и вдругь обмерь... Въ черномъ четырехугольникъ двери, которая вела въ гостиную, показалась какая-то фигура... Этого еще не было никогда. О, если бъ онъ увиделъ въ ея рукахъ ножъ, — онъ бы не испугался. Разбойникъ, убійца былъ

бы счастьемъ въ эту минуту. Нѣтъ, передъ нимъ, очевидно, совершалась новая метаморфоза его воплощеннаго страха. Онъ обернулся къ этой фигурѣ,—та не пропадала.

— Зачемъ ты здесь?

Молчаніе.

— Кто тебя звалъ?

То же самое...

Онъ собралъ послъдніе остатки мужества и пошель прямо на нее, со свъчею въ рукахъ. Пламя ея потянулось назадь, словно въ ужасъ передъ тъмъ, что было въ той комнать. Фигура подалась назаль... Онъ вошель въ гостиную со свъчей-призракъ исчезъ: но когда несчастный оглянулся назадъ, ему почудилось, что тоть же силуэть стоить уже въ его кабинеть... Иванъ Николаевичъ зажегъ и въ гостиной лампу. Только тогда онъ успокоился... Онъ сълъ въ кресло и постарался собрать свои мысли, но каждая изъ нихъ уносилась куда-то и трепетала, какъ испуганная птичка... Когда, наконецъ, ему силой воли, какъ ему казалось, даже страшнымъ напряженіемъ мышцъ головы, удалось одольть этотъ ужасъ, онъ всталь, прошелся по комнать, налиль и выпиль большую дозу cali bromatum, взялъ склянку съ одеколономъ и опрокинулъ ее на свою голову. Чувство холода въ темени нъсколько привело его въ себя. Онъ вздохнулъ съ облегчениемъ, раздълся и легь въ постель.

— Ахъ, если бы заснуть! — и вдругъ ему впомнилось макбетовское "Я убилъ сонъ". — Ахъ, если бы заснуть!.. Скоръй!.. Безъ грезъ и безъ сновъ. И зачъмъ эти ночи такъ длинны? То ли дъло лътомъ, когда одна заря смънчетъ другую... Тогда нътъ призраковъ, тогда

онъ можетъ спать, воображение не работаетъ... но теперь, теперь!..

Онъ закрылъ глаза. Онъ привыкъ къ яркому свѣту и только при немъ могъ забываться...

П.

Спаль онъ, однако, всегда крыпкимъ, тяжелымъ спомъ... Но, странное дело, это продолжалось только часа тричетыре. Какъ бы ни быль онъ утомленъ наканунъ, его точно что-то разомъ подымало съ постели. Нъкоторое время онъ безсмысленно всматривался въ знакомую обстановку кабинета, не понимая, что съ нимъ и гдь онъ. Она сливалась для него съ еще не улетучившимся сновидъніемъ, и опъ тщетно отыскиваль блуждающимъ взглядомъ призраковъ, минуту назадъ толпившихся у его постели. Потомъ онъ замвчалъ большой, чернаго дерева, столь, такое же кресло, темные обои, темныя гардины оконъ, шкапы съ книгами, зажигалъ другую свъчу, чтобы было свътлье, и ложился опять съ открытыми глазами и больной головой, съ страннымъ сознаніемъ чего-то ужаснаго въ сердцъ. Его ждало нъсколько часовъ безсонницы. Онъ привыкъ уже къ этому. Онъ зналъ, что глаза его не сомкнутся, пока между гардинами не прорѣжется тусклая полоса свъта и рождающійся день не заставить поблідність желтые огни свъчей... А тамъ опять кръпкій сонъ до тъхъ поръ, пока старикъ-лакей не придеть, не откинеть занавъсъ у окна и не разбудить его обычнымъ:

[—] Вставайте, Иванъ Николаевичъ!.. Десять часовъ ужъ... Пора!

Начинался день, когда опять его нервы становились крѣпки, и опъ самъ смѣялся надъ своими ночными ужасами. Точно въ немъ было два человѣка: одинъ здоровый, веселый и смѣлый — днемъ, другой суевѣрный, трусливый и больной—ночью.

Странное дѣло! Прежде этого съ нимъ не было.

Посль того случая, которому онъ собственно не придаваль сначала никакого значенія, прошли долгіе годы, онъ пережилъ свою молодость, пережилъ ее бурно и весело. Еще бы! Были здоровье, средства, досугъ... Потомъ, какъ и всъ, онъ дълалъ карьеру и въ ней успълъ. Это ему досталось даже такъ легко, что онъ потеряль въ ней вкусъ и наканунъ назначенія его на довольно высокій постъ ни съ того ни съ сего взялъ да и подалъ въ отставку. Убхалъ путешествоватьвернулся еще здоровъе и "жизнерадостиъе", какъ выражался завидовавшій ему полубольной пріятель. "Ты счастливецъ, — говорилъ последній, — у тебя нервовъ нътъ. Попробовалъ бы ты съ моими пожить!" И дъйствительно, всю жизнь у него не было нервовъ. Ровный, спокойный, онъ только изумлялся истерической способности другихъ создавать себъ страхи, въчно жить въ ожиданіи призрачныхъ катастрофъ, волноваться и мучиться, Богъ знаетъ, по какимъ поводамъ. У него уже появились въ вискахъ пряди съдыхъ волосъ, въ бородъ показались серебряныя нитки, у глазъ намътились гусиныя лапки и изр'вдка ни съ того ни съ сего начинало ломить спину, ноги. Подходила старость, но онъ зналъ, что она будетъ у него безмятежной и ясной. Какъ эгоистъ, онъ радовался тому, что въ свое время не обзавелся семьей. Теперь бы возись съ нею. Еще неизвъстно, чъмъ бы она его порадовала. Онъ слишкомъ навидался этихъ прелестей у своихъ знакомыхъ.

Жизнь его была полна и безъ того. Широкое образованіе, богатство давали ему возможность брать отъ нея все доступное человѣку. У него былъ большой и прекрасный кругъ знакомыхъ. Онъ не замѣчалъ, какъ идетъ время и вдругъ...

Именно вдругъ...

Случилось это не ждано, не гадано. Десятки лътъ спало и разомъ проснулось... Онъ забылъ думать объ этомъ... Самое происшествіе слилось до такой степени съ общимъ фономъ его молодости, что даже контуры и краски слились и, словно въ старой картинъ, потухли... Какъ-то вечеромъ онъ вернулся домой,.. Просидълъ до полночи за интересовавшей его книгой, спокойно легь спать и заснуль кръпкимъ и счастливымъ сномъ... И около двухъ часовъ ни съ того ни съ сего проснулся... Ему почудилось, что кто-то толкнулъ его, что ли?.. Онъ поднялся и нѣсколько времени смотрѣлъ въ темноту, ничего не понимая. Онъ уже собирался перевернуться на другой бокъ и заснуть, какъ вдругь проступила, дрогнула и спряталась голубоватая искорка... Онъ протеръ глаза. Улыбнулся даже. Чудится!.. Вотъ опять проступила, задрожала и удержалась... Окуталась въ легкій паръ и вся растаяла въ немъ, озаривъ его чуть замътнымъ свътомъ... Онъ не безъ любопытства всматривался. Онъ не былъ суевъренъ, и галлюцинація интересовала его сама по себъ, какъ рѣдкое зрѣлище. Онъ даже сталъ соображать, что онъ ѣлъ сегодня... Вспомнилъ грибы и успокоился. Върно, отъ нихъ... Но клубокъ пара сталъ опредъляться и густиться въ серединъ... Появились какія-то очертанія... Края его слились съ темнотою и пропали въ ней... Теперь уже онъ не могъ бы оторвать глазъ отъ этого страннаго, все же безформеннаго призрака... Но

помимо его быстро работавшей мысли, помимо глубоко лежавшаго въ его душт скептицизма онъ впервые почувствоваль, какъ сердце его сжимается, какъ чтото подступаетъ къ горлу такъ, что ему становится трудно дышать. Чувство глупаго, безсознательнаго страха впервые прокралось къ нему и холодомъ обдало ослабъвшее тъло... И вотъ въ бъломъ клубкт обрисовались опущенныя въки съ безцвътными, плотно къ щекамъ прилипшими ръсницами... Линіи заострившагося носа, сжатыя безкровныя губы... И ничего больше... А память работала во-всю... Чъмъ-то знакомымъ казался ему странный и безсмысленный призракъ, чъмъ-то знакомымъ, но ужасно далекимъ.

И вдругъ онъ вспомнилъ назло годамъ и разстоянію! Вспомнилъ разомъ все, точно это случилось еще вчера... Онъ зажегъ свъчу. Всталъ, облилъ голову холодною водою и опять легъ. Но сна уже не было...

— Какія глупости!—вслухъ проговориль онъ и засмѣялся даже.

Но смѣхъ его тогда прозвучаль такъ странно, что онъ весь похолодѣлъ отъ него. Ему почудилось, что въ слѣдующей комнатѣ кто-то засмѣялся тоже... Отозвалось въ углу подъ потолкомъ!

— Шалятъ нервы!.. У меня нервы! Чорть знаетъ что такое!

Онъ протянулъ руку. На почномъ столикъ лежало новое изданіе Боккачіевскаго "Декамерона"... Сталъ пробъгать страницу за страницей, но сквозь строки итальянскаго текста проступало ито-то другое. Читая, онъ не понималъ напечатаннаго, но хорошо соображалъ это другое... Наконецъ строки стали спле таться въ какіе-то узлы... И книга сама выпала у него изъ рукъ...

Да развѣ она такая была?—опять вслухъ спросилъ онъ себя.

III.

Именно такая!

Теперь онъ хорошо помнить ее. Странно, какъ тридцать лътъ въ немъ спало, казалось, даже умерло воспоминаніе, а туть воскресло разомъ, безъ всякаго, повидимому, повода... Собственно говоря, онъ и не слълалъ ничего особеннаго. Каждый день на бъломъ свътъ творятся дъла еще хуже, и никому отъ нихъ не больно. Люди сходятся и расходятся. Мало ли такихь? Онъ въ этомъ отношеніи былъ похожъ на всѣхъ его товарищей. Молодость ключомъ кипъла, хотълось жить, а туть подвернулась эта тихая и кроткая дівушка, съ робкой улыбкой и наивными голубыми глазками. Молчаливая, какъ мышонокъ въ норѣ, она иногда по порученію матери, его квартирной хозяйки, заходила къ нему въ комнату. Разъ осталась дольше обыкновеннаго, и юноша ее поцъловалъ, смъясь и любуясь, какъ вспыхнуло ея бледное личико и загорелись наивные глазки... А тамъ само собою пошло подъ гору. Разъ побъжаль человъкъ, остановиться ему трудно на крутомъ спускъ. Ноги не слушаются головы. И его и ее точно какимъ-то вихремъ подхватило и давай кружить. Да онъ даже и теперь чувствуеть свою совъсть спокойной. Въ самомъ дъль, чъмъ онъ виновать? Онъ не объщалъ ей ничего. Она, отдаваясь ему, не диктовала своихъ условій, и онъ не соглашался на нихъ, не принималъ ихъ. Между цими не было никакихъ обязательствъ. Ни онъ не заикался о женитьбъ, ни она не мечтала о ней. Еще бы! Онъ-хорошей и

богатой семьи. Даже скажи онь ей, она бы съ ужасомъ подумала, какъ она войдетъ въ эту семью! Нътъ, это было бы ръшительно невозможно. Любили потому, что любилось и время пришло для обоихъ. Вотъ и все. Она смотръла на него довърчивымъ, робкимъ взглядомъ, молилась, служила ему. Когда онъ увзжалъ, она даже не плакала. Она знала, что это такъ и должно быть. Онъ кончилъ курсъ, его ждала семья. Онъ не объщался вернуться. Надо отдать ему справедливость, онъ не успокоиваль ее и не обманываль. Прощаясь съ нею, онъ не услышаль отъ нея упрека. Она сидъла вся блъдная, опустивъ безсильно руки на колъни и глядя въ землю. Только когда онъ, улыбаясь, сказалъ ей: "вернусь, пожалуй, застану тебя уже замужемъ", -- она вся вздрогнула и подняла на него недоумъвающій взглядъ. Такъ и читалось въ немъ: "Неужели ты сказаль это? Или я ослышалась". Онъ оставиль ей денегь, и она не отказалась отъ нихъ. Такъ онв на столикв около нея и лежали, тамъ, гдв онъ положилъ ихъ. Его только поразило одно: въ последнемъ поцелув ея не было страстности. Онъ обняль ее, она оставалась такою же неподвижною, точно онъ ласкаль трупъ. На Николаевскомъ вокзалѣ, окруженный товарищами, онъ забыль о ней. Только когда повздъ двинулся, вдали, у самыхъ дверей залы для пассажировъ, онъ замътилъ ее. Она не подошла къ нему. Она только неотступно смотръла на него оттуда на этотъ разъ большими и печальными глазами. Онъ даже гордился собою во всемъ этомъ "казусь", какъ онъ потомъ называлъ случайное приключеніе его молодости. Еще бы, ихъ связь осталась никому неизвъстной. Никто изъ его друзей даже не подозр'вваль о ней. О, онъ поступиль по-рыцарски

Она бы могла выйти замужъ и устроиться какъ слъдуеть. Во всякомъ случат ея прошлое не воскресло бы передъ нею, не заставило бы ее краснъть, переданное устами кого-либо посторонняго... Дома ему было не до того. Новые люди, новыя знакомства, новые интересы. Все это захватывало, не давало опомниться. Только черезъ два мѣсяца онъ вернулся въ Петербургъ. Не о Надъ же ему было думать на первыхъ порахъ. Начались служба, выбоды. Скромная, наивная довушка съ ея тихими ласками и робкою улыбкой совстмъ стушевалась въ общемъ фонв его недавняго прошлаго. Даже когда онъ вспоминалъ о ней, - что, надо сказать правду, случалось рѣдко, — только чувство довольства собою являлось у него на душь. "Ну что жъ, потомъ разыщу, помогу ей открыть табачную лавку. Пусть живеть! Она была удобная!.. " Но, разумъется, добрыя намфренія такъ бы и не исполнились, если бы разъ вечеромъ онъ неожиданно не остался наединъ съ самимъ собою. Въ театръ, куда онъ собирался, не было мъста, поъхалъ къ знакомымъ — дома нътъ, къ другимъ-тоже... Куда же дъваться? А погода была скверная, - туманъ, холодъ. Дома тоже не знаешь, какъ убить время... И въ этотъ-то безцѣльный досугъ его потянуло събздить на старую квартиру, узнать, что подёлываеть та девушка, пожалуй, если ея матери нътъ дома, взять ее съ собою и къ себъ часа на два, на три... Она вдругъ дорога ему стала почему-то. Ему разомъ, безъ всякой причины, захотълось опять этой робкой ласки, тихой, стыдливой улыбки, наивнаго, словно мерцающаго взгляда голубыхъ глазъ. Они бы согръли его теперь въ этотъ холодъ. Онъ поъхалъ туда. "Неужели я здёсь жиль?" задумался онь, по дымаясь по неособенно чистой лъстницъ во второй

этажъ. Онъ позвонилъ, заранѣе любуясь смущеніемъ и радостью милой дѣвушки. Никто ему не отпиралъ. Позвонилъ еще.За дверями послышались тяжелые шаги.

— Здравствуйте, Анна! Не узнали меня?—спросилъ онъ у горничной.

Но та какъ-то безсмысленно смотрѣла на него, ничего не понимая.

- Что съ вами?
- Иванъ Николаевичъ, большое горе у насъ случилось!..
 - Что такое?..

Издали въ коридорѣ показалась хозяйка, растерянная, заплаканная.

- А, Надежда Ильинична!..
- Голубчикъ!.. Иванъ Николаевичъ!—заголосила та,—Господи!.. Въ какую минуту вы... Надя-то моя...

"Сбъжала!" досадливо мелькнуло у него въ головъ... Но онъ спросилъ:

- Больна?..
- Нѣтъ... Вотъ-вотъ...

И сама не понимая, что она ділаеть, старуха повернула къ себів. Иванъ Николаевичь такъ, какъ былъ, въ шинели, даже не снявъ шляпы, послідоваль за нею. Въ первой комнаті толкалось нісколько жильцовъ, словно ждавшихъ чего-то... И то же самое растерянное выраженіе мололой человіть замітиль на ихъ лицахъ.

IV.

Надя не сбѣжала... Она и больна не была. Напротивъ, дѣвушка оказывалась здѣсь; она лежала на постели, одѣтая въ то же съренькое платьице, кото-

рое такъ нравилось Ивану Николаевичу, скромное и простенькое, какъ она сама. Ноги ея странно и неподвижно торчали изъ-подъ него. Одна нога въ туфлъ, другая въ какомъ-то темномъ чулкъ... Кругомъ — тишина... Старуха-мать даже не плакала... Она изръдка только стонала, не отводя тусклаго взгляда отъ этой смятой подушки, на которой, едва-едва бліднізя, изъ наволочки выступало лицо ея дочери. Опущенныя въки, и не только опущенныя, но какъ будто сжатыя съ усиліемъ, такъ что рѣсницы прижались къ щекамъ. Заострившійся нось съ синеватою тінью какихъ-то подтековъ, плотно слившіяся губы... Одна рука, тонкая, съ длинными пальчиками, лежала на груди, другая висъла съ кровати на полъ... На ней быль золотой тонкій обручь браслета, подареннаго когла-то Иваномъ Николаевичемъ.

Онъ такъ и остался въ дверяхъ, прикованный къ порогу...

Кто-то сняль съ него шинель и шляпу, онъ даже не замѣтиль этого. Онъ не могъ отвести глазъ отъ мертваго лица, по которому какъ разъ въ эту минуту ползла муха, остановилась, почистила лапки и опять поползла ближе къ рѣсницамъ, за нею по блѣднымъ щекамъ слѣдовала ея маленькая тѣнь. Въ головахъ стояла лампа. Керосинъ шипѣлъ въ ней, и—странно!— это шипѣніе раздражало Ивана Николаевича. Что-то противное, злобное слышалось въ немъ. Наконецъ онъ отодвинулся немного и, замѣтивъ одного изъ жильцовъ, еще при немъ зинимавшаго здѣсь комнату, безсознательно подалъ ему руку...

- Кто бы могь думать! банально началь тотъ.
- Что случилось, ради Бога?

- Скучала всё эти мёсяцы, шопотомъ и быстробыстро началъ пояснять тотъ, скучала всё эти мёсяцы и какъ скучала! Слоняется, бывало, по коридору, жметъ себё руки. Встрётишься съ ней, спросишь: "Что вы, Наденька?" "Ахъ, тоска!.. такая тоска!" Тутъ смёяться начали было надъ нею. Объясняли "дёвицё замужъ пришла пора", а она замёсто того сегодня заперлась и вотъ видите...
 - Что "видите"-то, что "и"?
 - Отравилась!

Ивана Николаевича точно что-то въ сердце толкнуло.

- Почему вы думаете, что отравилась?
- Пузырекъ нашли около... Докторъ былъ и ядъ самый назвалъ. Дигиталисъ, что ли, или стрихнинъ— не знаю. Изъ тъхъ, что столбнякъ вызываютъ... Записку оставила на столъ, странную, никто ее понять не можетъ.
 - Какую?
- Коротенькая: "Прости, мама...Не могла я больше... Прощайте и вы..." Далъе слъдовало, должно-быть, чье имя, но его она старательно зачеркнула, съ собой въ могилу унесла тайну.
 - Тайну?-холодъя спросилъ Иванъ Николаевичъ.
- Да, несомивнию. Докторъ, осматривавшій ее, сообщиль намь...—и жилець еще болье понизиль голось:—сообщиль намь, что она уже четвертый мысяць, должно быть, въ интересномъ положеніи. А мы вствее считали дывочкой. Думали что...

Но туть вернувшаяся изъ той комнаты мать подошла къ Ивану Николаевичу.

— Батюшка, милый вы мой!.. Голубчикъ!.. Дочкато, дочка... Тотъ молчалъ.

— Хоть бы мнъ, старой, сначала. А то она! Жить бы ей да жить. Господи, Господи! Покарай же Ты его!

И, опустясь на стуль около, она заплакала какъ-то жалко, безсильно, по-старчески.

- Хоть бы знать-то, кто загубилъ ее. Вотъ Иванъ Николаевичъ жили вы здѣсь. Сами видѣли какая она была. Такъ вѣдь и ея не пожалѣли. Ребеночка-то, и того развратили у меня. Какъ цвѣточекъ росла. Я такъ думаю на старика одного, Степана Пантелеевича. Изъ интендантскихъ! Все на нее таращился, бывало! Жилъ онъ здѣсь, богатъ былъ. А у нея въ конвертѣто деньги оказались, большія деньги. А на бумажкѣ написано: "Маменька, раздай бѣднымъ, пускай за меня Богу молятся!"
- Сколько денегъ?—совсѣмъ уже глупо спросилъ Иванъ Николаевичъ.
 - Двѣ тысячи!

Это было именно то, что онъ оставилъ ей.

— И ни на кого-то она, голубиная душенька, не жаловалась. А особенно про васъ всегда жалѣючи поминала. Любила васъ покойница. Всегда вы съ ней ласковы были. Что же теперь я буду, Иванъ Николаевичъ, что же я безъ пея-то? Господи!.. Хоть бы меня зарыли... съ ней вмѣстѣ. Не глядѣть мнѣ больше на бълый свътъ.

Иванъ Николаевичъ вошелъ опять въ ту комнату, гдъ лежала Надя.

Онъ поднялъ свъсившуюся руку, хотълъ ее положить на постель, но она опять тяжело и безжизненно упала. Не зная самъ, что дълаетъ, онъ коснулся губами лба покойницы и почувствовалъ отъ нея такой

холодъ, что онъ насквозь проникъ его до сердца. Поправивъ сбившіеся волосы ея и, какъ пьяный, шатаясь, вышелъ вонъ. Его уже въ передней догнали и подали ему шинель и шляпу.

— На похороны придете?

Онъ даже не зам'тилъ, кто его спрашивалъ.

- Да, да, непремънно.
- Такъ послъзавтра... Завтра утромъ ее потрошить будутъ.

Но онъ уже не слушалъ. Весь въ ужасъ, онъ спускался внизъ по ластница, повхалъ къ себъ... Но молчание его комнатъ было ему теперь не подъсилу. Онъ вышелъ и долго слонялся по улицамъ города, потомъ попалъ куда-то въ ресторанъ и сидълъ тамъ, пока не заперли дверей и не попросили его удалиться. Вспомнивъ, что Дюссо еще отпертъ, онъ поъхалъ туда. Нашелъ знакомыхъ, изумившихся его мрачности... Они заинтересовались, начали его разспрашивать. Иванъ Николаевичъ не выдалъ имъ тайны, но замкнулся въ такую загадочность, что сталъ даже рисоваться ею... На похороны онъ не повхалъ... Черезъ недълю-двъ онъ даже забыль обо всемъ этомъ "происшествіи", и воть только теперь, черезъ тридцать льть, не ждано не гадано, безъ всякихъ видимыхъ причинъ оно воскресло передъ нимъ именно въ той формъ, какую всего менъе онъ считаль бы возможной.

V.

Черезъ тридцать лѣтъ! Былъ ли онъ виноватъ передъ нею? Нѣтъ. Въ глубинѣ своего эгоизма онъ считалъ ее полусумасшедшей идеалисткой... Вѣдь она

отдалась ему безъ всякихъ условій. Онъ никогда не объщаль на ней жениться. Да она и сама понимала, что это невозможно. Развѣ она не могла выйти за какого-нибудь чиновника помельче? Тотъ былъ бы даже радъ той помощи, какую при этомъ оказалъ бы имъ Иванъ Николаевичъ. Ребенокъ!.. Она, во-первыхъ, скрывала его, а во-вторыхъ, онъ бы и на него выдалъ извѣстную сумму. Зачѣмъ же эти призраки, безмолвные, нѣмые, встаютъ передъ нимъ, зачѣмъ они парушаютъ покой его счастливаго существованія?.. Почему онъ не можетъ остаться теперь лицомъ къ лицу съ прошлымъ, чтобы изъ глубины непрогляднаго мрака не показалось ему это мертвое лицо съ опущенными вѣками и блѣдными, сжатыми губами?..

Сегодняшнюю ночь онъ проводилъ безъ сна...

Никогда еще огонь свъчи такъ не раздражаль его. Богъ знаетъ, что бы онъ далъ за одну возможность затушить ее и остаться въ темнотъ безъ видъній, безъ грезъ. Почему-то именно сегодня онъ сталъ думать о томъ, что эта несчастная испытывала передъ своей ранней кончиной... Отчего она не дала знать ему?.. Въдь его адресъ былъ у нея. Изъ деревни письмо ее тотчасъ же переслали бы къ нему въ Петербургъ... Что заставляло ее молчать? Не стыдъ. Въдь не стыдилась же она своей любви, отдаваясь ему. Боязнь? Чего? Она вообще и ран ве дичкомъ была. Ей казалось ужаснымъ быть навязчивой. Онъ не слышалъ отъ нея ни одного укора. Онъ вспомнилъ, сколькихъ женщинъ онъ любилъ потомъ, и какія драматическія представленія он' устраивали ему при всякомъ поводъ да, наконецъ, и безъ повода. Она была деликатиће, сдержаниће всвхъ ихъ. Едва ли не она одна и любила его какъ следуетъ, по-настоящему.

По крайней мъръ въ одномъ ея чувствъ было самопожертвованіе; другія, напротивъ, отъ него требовали жертвы! Отчего же этихъ другихъ онъ цънилъ больше? Отчего?

А существуетъ ли еще ея могила?..

Съ чего ему пришелъ въ голову этотъ вопросъ? Онъ зналъ, что похоронили ее на Смоленскомъ кладбищъ. Какъ-то вскоръ послъ ея смерти встрътилъ знакомаго жильца изъ тъхъ номеровъ, и тотъ упрекнулъ его:

- А вы такъ и не проводили ея?.. Не сдълали этой чести бъдной дъвочкъ. Положимъ, вы чужой ей... Но мы всъ шли за ея гробомъ, всъ.
 - Я боленъ былъ! потупился онъ.
- Разв'в что... Матушка ея ждала васъ. Съ часъ не выносили гроба, думали, что вы опоздали... Островерховъ не прівхалъ тоже. Но онъ, по крайней мѣрѣ, цвѣтовъ прислалъ. Покойница такъ любила цвѣты при жизни.

Потомъ онъ все собирался съвздить къ ней на могилу. Но не до того было: жизнь шла мимо кладбищъ и непріятныхъ воспоминаній. Теперь она опять повернула къ нимъ... И это старое объщаніе посвтить ея бъдную могилку встало передъ нимъ еще однимъ упрекомъ.

- Да, надо будеть съ-вздить, вслухъ проговориль онъ.
 - Завтра же!..

И взглянуль передъ собою въ полумракъ, лежавшій за дверями гостиной. Точно онъ кому-то даль объщаніе... Странное дѣло, ему стало нѣсколько легче послѣ этого. Точно онъ уже отчасти сталъ сводить съ нею счеты... Заснулъ онъ подъ утро и заснулъ

крѣпко... Слуга, явившійся въ десять часовъ разбудить его, былъ прогнанъ съ бранью, удивившею того. Иванъ Николаевичъ всегда былъ вѣжливъ съ людьми.

- Сами приказывали! оправдывался тотъ въ дверяхъ.
- Разбуди въ часъ!..—И онъ заснулъ еще кръпче. Къ часу, впрочемъ, онъ самъ проснулся и долго лежалъ, припоминая, что онъ хотълъ сдълать? Что-то лежало у него на совъсти, какое-то объщаніе, которое слъдовало исполнить сегодня же. Наконецъ траурныя рамки похоронныхъ объявленій въ поданной ему газеть навели его на мысль.
 - Да... съвздить къ ней...

Не измѣняя заведеннаго порядка своей жизни, онъ съ аппетитомъ позавтракалъ, затѣмъ одѣлся потеплѣе и вышелъ.

Кучеръ его уже ждалъ у подъвзда.

- На Смоленское кладбище!...
- Чего-съ?—изумился тотъ.
- На Смоленское.

Не измѣняя выраженія крайняго недоумѣнія на лицѣ, кучеръ повернулъ по направленію къ Васильевскому острову...

"Ну, вотъ и отлично... Да, давно бы слѣдовало, давно посѣтить ея могилу... Ахъ, какая была эта дѣвушка!.. Ласковая, нѣжная, тихая! Такихъ нѣтъ теперь. И какъ любить умѣла! Бывало, въ глаза смотритъ робко-робко, а у самой взглядъ такъ и теплится... Да, давно бы слѣдовало"...

Какъ и всегда, день принесъ съ собою спокойствіе и жажду жизни. Отъ призраковъ уже не оставалось ничего.

Кучеръ въбхалъ на Николаевскій мостъ.

Тутъ очень дуло, и вѣтеръ былъ сѣверный, морозный. Щипало лицо, носъ Ивану Николаевичу, какъ онъ ни кутался въ бобровый воротникъ шинели...

- Послушай... ты какъ думаешь... далеко еще ъхать.
- Да... съ часъ, пожалуй... это вѣдь вонъ гдѣ... тамъ и еще холоднѣе будетъ...

"Въ самомъ дълъ... Притомъ объясняться со сторожами, въ конторъ... отыскивать могилу... бродить по снъгу..."

Еще разъ пахнуло вътромъ...

- Фу, ты, чорть! Какой морозь!.. Алексъй...
- Чего изволите? -- обернулся кучеръ.
- Поворачивай назадъ!..—вырвалось у Ивана Николаевича.

Ото всёхъ его добрыхъ намёреній только и осталось это восклицаніе...

- Куда прикажете?
- Къ Донецкой... "Сегодня, кажется, у нея пріемный день", сообразиль онь про себя.

"А Надя?—шевельнулось у него въ головѣ.—Она въдь ждетъ!"...

Но день уже разсѣялъ ночные страхи... Иванъ Николаевичъ даже проговорилъ вслухъ:

> Мертвый въ гробъ мирно спи, Жизнью пользуйся живущій!...



СОБАКА.

T

Что это была за Рождественская ночь! Пройдуть еще десятки лёть, тысячи лиць, встрёчь и впечатлёній мелькнуть мимо, слёда не оставять, позади тебя длинный рядь могиль вытянется, — а она все будеть передъ тобою, какъ живая, въ лунномъ блеске, въ причудливой рамке Балканскихъ вершинъ, где, казалось, всё мы были такъ близки къ Богу и его кроткимъ звёздамъ...

Я ее хорошо помню: точно еще вчера добрался до самаго темени Куруджи, сахарная голова которой еще наканунь съ самаго утра дразнила насъ: "Все-де вы прошли и осилили, а меня вамъ не одольть!" И одольти; только сами, едва дорывшись до земли, свалились на нее, чтобы хоть немного отдышаться. Далекодалеко въ таинственномъ свъть чудились безлистныя деревья, точно скелеты, протягивавшіе къ намъ снизу свои костлявыя руки; еще ниже — синими тынями намъчались глубокія ущелья. Долина Казанлыка вся курилась былымъ паромъ, а за нею и манилъ насъ и призрачнымъ казался какой-то миражъ. Что тамъ было:

облака, заснувшія подълуною, или горы—мы не знали. Наліво, къ востоку, смілымъ взлетомъ, точно на ладони приподнятый къ самому небу, дремалъ Св. Николай съ траншеями нашихъ полузамерзшихъ богатырей, отстоявшихъ туть въ тяжелые дни третьей Плевны и честь и достоинство Россіи. Візчная память имъ теперь!.. Мало ихъ осталось между нами, но дізло ихъ не пропало тамъ, гдіз каждое добро, каждая тайная мысль, каждая безмолвная жертва и цізломудренно не обнаруженное страданіе въ красную строку записано для суда и воздаянія...

II.

Какъ теперь помню: лежали мы пластомъ; усталь такъ морила, что не хотѣлось даже ближе къ костру придвинуться. Сырое дерево шипѣло, обвиваясь дымомъ, тысячи искръ взлетали въ высоту; когда оно трескалось, сотни золотыхъ змѣй, казалось, бѣгали въ самомъ полымѣ. Въ красной массѣ разгорѣвшагося угля порою открывались чьи-то огненныя очи и опять подергивались сизою пленкою.

Фельдфебель последнимъ прилегъ. Ему пришлось указать места всей роте, поверить солдатъ, принять приказаніе отъ командира. Это былъ уже старый солдатъ, оставшійся на второй срокъ. Война подошла — стыдно ему показалось уходить отъ нея вчистую. Я давно къ нему присматривался. Онъ принадлежалъ къ темъ, у кого подъ холодною внешностью бъется горячее сердце. Брови нависли сурово. И глазъ не разберешь, а разсмотри ихъ — прямо къ нему со своимъ горемъ самый ледащій солдатишко доверчиво пойдеть.

Добрые, добрые они, -и свътились, и ласкали, и точно смѣялись чему-то. Усы ощетинились — съъсть, а на губахъ, подъ ними, какая-то детская наивная улыбка... Легь онь, потянулся... "Ну, слава Богу, теперь дляради Рождества Христова и отдохнуть можно!" Къ огню повернулся, трубку вынуль, закуриль. Въ морозномъ воздухѣ балканской ночи запахло, и вкусно запахло, дешевою махоркой... "Вмъсто чаю! — засмъялся онъ.—И дешево и самовара не надо!.. Теперь до разсвъта-покой!.. "И вдругъ мы вздрогнули оба. Близкоблизко гдф-то залаяла собака. Да какъ еще!-Отчаянно, точно на помощь звала, будто во всю свою пасть орала: "Ратуйте, православные, пропадаемъ"... Намъ было не до нея. Мы старались не слышать. Но какъ это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнъе. "Раненая, что ли? Или кто изъ лодырей пришибъ ее... Тоже въдь, подлецы, забавляются; любо имъ Божье творенье мучить!.. "

III.

Собака, очевидно, бѣжала по всей линіи костровъ, не останавливаясь нигдѣ. Занявъ самое темя Куруджи, мы, какъ я уже сказалъ, до земли дорылись, а отбросанный снѣгъ вокругъ насъ составилъ нѣчто похожее на валъ. Будь вѣтеръ—отъ него все-таки защита и за такимъ валомъ. Насъ уже пригрѣвало костромъ, у меня глаза слипались, и ни съ того ни съ сего я даже дома очутился за большимъ чайнымъ столомъ, должно - быть, засыпать началъ, какъ вдругъ лай послышался у меня надъ самыми ушами. Я приподнялся на локтяхъ. "Чего ты, дурная!" говоритъ рядомъ ста-

рикъ-фельдфебель. Именно дурная! Лохматая и въ какихъ-то плъшинахъ, на кривыхъ лапахъ и неизвъстно гдъ утратившая хвость, собака взбъжала на нашъ валь и неистово заливалась, какъ-то смѣшно подымая острую, съ торчия стоявшими ушами морду. Уставая лаять, она зорко всматривалась въ насъ. Ко мнт полбъжала-и вдругъ прочь кинулась. И даже заворчала. Я такъ и понялъ, что не оправдалъ ея довърія... Къ фельдфебелю сунулась, къ самой головъ его; тотъ поманилъ ее. Она ему въ мозолистую лапу холоднымъ влажнымъ носомъ ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась... Мы диву далисьи лаеть, и визжить, и руку ему лижеть, а потомъ ни съ того ни съ сего схватилась зубами за пслу его шинели и потянула ее, смѣшно упираясь передними лапами въ землю и все откидываясь на заднія. "Не спроста это!-вырвалось у солдата.-Песъ умный... У его дело ко мит есть!.. Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а тамъ опять за полу: "Пойдемъ-де, пойдемъ скорве!.."

IV.

- Неужели вы пойдете?—спросилъ я у фельдфебеля.
- Значить, надо! Песъ завсегда знаеть, что ему нужно... Эй, Барсуковь, пойдемь, на случай чего!..

Несуразный, но кръпко-накръпко сшитый солдать тоже поднялся. Про такихъ, какъ онъ, говорятъ ветлужской работы — пятью ломами не прошибешь. Собака уже бъжала впереди, и только изръдка огляды-

валась, уже отрывисто и деловито тявкая: "Такъ-де... Еще немного!.. "Я опять сталь засыпать у костра, мнъ уже чудился конецъ этой войны, теплые дома, мягкія постели... Голубыя воды Эгейскаго моря, синяя глубь Босфора съ золотою оправою его береговъ, бълое марево Стамбула и русскій пароходь, на который сажусь, чтобы вернуться домой, и родная молвь, и милыя дорогія лица, и дівичій сміхь, и забытая ласка матери... Должно-быть, я долго спаль такимъ образомъ, потом у что въ последнія мгновенія сознанія въ моей памяти какъ-то осталась-луна надомною на высоть; а когда отъ внезапнаго шума я поднялся, она уже была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звъздами. "Клади, клади осторожнъе!..—слышалось приказаніе фельдфебеля. — Ближе къ огню"... Солдаты подымались отъ костра, глядя сюда. Барсуковъ опускалъ на землю что-то завернутое, темное. Я протеръ глаза... Та же собака прыгала кругомъ, точно распоряжаясь, какъ опустить, какъ положить. Лаяла она уже тихо и ласкаясь ко всемь будто заискивая общей дружбы и расположенія. Даже мив въ лицо ткнулась мордой — "вставай-де, помогай и ты, чего пластомъ лежишь; развѣ не видишь, какое туть дѣло случилось!" И уши у нея попрежнему торчкомъ, и дохмы дыбомъ.

V.

Я всталь... Подошель... На земль, у костра, уже лежало то "темное", что я смутно различаль спросонокъ. Не то свертокъ, не то узелъ, напоминавшій формою дътское тъло. Стали раскутывать это темное,

а фельдфебель торонливо разсказывалъ. Потомъ уже мив удалось возстановить событія, какъ они происходили. Собака привела нашихъ на засыпанный снъгомъ скать горы. Тамъ лежаль кто-то, точно заснувшій. Наклонились и прямо на нихъ подъ луннымъ свътомъ, не мигая, смотръли большіе черные глаза. Блъдноебледное лицо съ плотно сжатыми губами и особенно ръзко выступавшій изь - подъ всклоченныхъ и примерзшихъ волосъ какой-то старый, должно-быть, но теперь вздувшійся и посинъвшій шрамъ. Собака ткнулась къ этому лицу, лизнула его и завыла, какъ-то странно подбирая задъ, должно-быть, поняла, что оно ужь не улыбнется ей больше... "Закостенъла! — тихо проговориль старый фельдфебель. -- Ишь руки, что твое дерево"... Онъ бережно держали у самой груди какое-то сокровище, съ чемъ бедной "беженке", какъ ихъ тогда называли, всего тяжеле было разстаться или что она хотъла во что бы то ни стало, хотя бы цвною собственной жизни, сохранить и отнять у смерти... Рукъ этихъ отвести нельзя было, ихъ пришлось оставить и распутывать изъ-подъ нихъ дорогую ношу... Что тряпокъ на ней оказалось! Все съ себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее ея тепло. Подъ тряпками-овечья шкура, и въ ней-то было завернуто это "начто", къ чему такъ неистово приглашалъ лохматый песъ...

VI.

— Рабеночекъ?—толпились солдаты.—Рабеночекъ и есть!.. Вотъ послалъ на Рождество Господь... Это, братцы, къ счастью...

Лохматка сидёла, пытливо вглядываясь во всёхъ, но, замътивъ общее расположение къ "находкъ", обрадовалась и на весь балканскій просторъ пролаяла такъ оглушительно, что отъ ближайшаго костра всталъ и пришелъ къ намъ "командиръ". "Что у васъ туть?" — "Дитю Богъ посладъ!.. " Тотъ только брови поднялъ. Капитанъ самъ быль семейный и толкъ въ этомъ понималъ. "Чего же вы его распутали?" Но Барсуковъ, нагръвъ надъ огнемъ овчину, живо завернуль въ нее маленькое существо, довольно спокойно относившееся къ новой обстановкъ. Ребенокъ велъ себя разсудительно, свыше всякой мъры. "Хотите на меня смотрѣть, -- казалось, думалъ онъ, -ну, смотрите, меня отъ этого не убудетъ". На красномъ комочкъ лица, изъ-подъ слегка припухшихъ въкъ, серьезно смотрѣли сѣрые глаза, останавливаясь то на мнѣ, то на "командиръ", то на фельдфебелъ. Носъ, пуговкою, какъ-то сморщился. "Плакать собирается!" замътилъ кто-то. Ребенокъ и тутъ оказался на высотъ своего положенія. Безбровый лобикъ его разгладился, роть вытянулся трубочкою, потомъ раскрылся и откровенно зѣвнулъ. "Вотъ-де вамъ, чего мнѣ надо".... Я дотронулся до его щекъ-мягкія оказались, теплыя... Глаза его блаженно закрылись и изъ-подъ овчины, назло всей этой обстановкъ-боевымъ кострамъ, морозной балканской ночи, ружьямъ, составленнымъ въ козлы и тускло блиставшимъ штыками, дальнему десятками ущелій повторенному выстр'влу-передъ нами покойное-покойное было дътское личико, одною своею безмятежностью обезсмысливавшее всю эту войну, все это истребленіе, всь эти жестокіе инстинкты!...

VII.

Барсуковъ разжевалъ было сухарь съ сахаромъ, оказавшимся въ чьемъ-то запасливомъ солдатскомъ карманъ, но старый фельдфебель остановиль его. "Внизусестры милосердія. У нихъ для ребеночка и молочко найдется!.. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородіе". Капитанъ дозволиль и письмо даже написаль, что рота береть находку на свое попеченіе... Лохматкъ очень понравилось у огня. Она даже лапы вытянула и брюхомъ къ небу обернулась. "Нате-де. Вся я тутъ передъ вами, какая есть-не взыщите!" Но какъ только фельдфебель тронулся съ мѣста, она безъ сожалѣнія бросила костеръ и, ткнувши мордой въ руку Барсукова, со встхъ ногъ кинулась за нимъ. Старый солдать несь дитя подъ шинелью бережно. Я зналь, какой страшный путь прошли мы, и съ невольнымъ ужасомъ думалъ о томъ, что его ожидало: почти отвъсные спуски, скользкіе, обледянъвшіе скаты, тропки, едва державшіяся на ребрахъ утеса... Къ утру онъ будеть внизу, а тамъ-сдалъ ребенка и опять вверхъ, гдъ рота уже построится и начнетъ свое утомительное движение въ долину Тунджи!.. Я заикнулся объ этомъ Барсукову. Несуразный ветлужанинъ, смотръвшій въ огонь, круго обернулся ко мнв и уставился на меня. "А Богъ-то?" спросилъ онъ. — "Что?" не понялъ я сразу. "А Богъ-то, говорю?.. Нешь Онъ попустить?.." Еще разъ издали донесся до меня веселый лай, и я опять заснуль, разогрѣтый огнемъ костра и успокоившійся послі только что пережитаго волненія... И Богь, дъйствительно, помогъ старику... На другой день онъ разсказывалъ: "Точно крылья несли меня. Тамъ, гдъ

одному было жутко днемъ, а тутъ въ туманъ спустился, ничего не вижу, а ноги сами идутъ, и дитё ни разу не крикнуло!.. И сестры какъ обрадовались: скажи, говорятъ, капитану, что мы его выходимъ и собаку пріютимъ!"

VIII.

Но собака, сверхъ всякихъ ожиданій, поступила совсѣмъ не такъ, какъ хотѣлось сестрамъ. Она осталась было и первые дни пристально следила, не спуская глазъ съ ребенка и съ нихъ, какъ будто хотъла убъдиться, хорошо ли будеть ему и заслуживають ли ея песьяго доверія оне. Лохмачь даже отъелся за это время. По ночамъ онъ ложился у постели "найденыша" и неизменно всякій его крикъ сопровождаль лаемъ. "Вставайте-де. Чего спите, когда онъ кушать просить". Но сестры вставали и безъ этого. Усталыя, измученныя послѣ цѣлаго дня безотрадной работы надъ ранеными, онъ все-таки находили въ своихъ святыхъ душахъ неизсякаемые источники нѣжности и любви для этого жалкаго, осиротъвшаго существа. Мало-по-малу убъдившись въ томъ, что и безъ него ребенку будетъ хорошо, песъ позволилъ себъ посъщать госпитали, гдъ по цълымъ часамъ сидълъ, безмолвно глядя на больныхъ, или, опуская лохматую голову, погружался въ свои собачьи мысли о тщетъ всего человъческаго... Въ послъднее" утро (почему послъднее" — сейчасъ объ этомъ будеть сказано) сестры видели, какъ верный песъ сталъ передними лапами на постель къ ребенку и долго смотрѣлъ на него, а потомъ выбѣжалъ изъ палатки и, присвы, задумался. Наконецъ, принявъ

какое-то твердое рѣшеніе, онъ обѣжаль всѣхъ сестеръ, приласкался къ каждой, явился на кухню къ полюбившемуся ему повару и тому мокрымъ носомъ толкнулся въ руку—и исчезъ невѣдомо куда!..

IX.

Невъдомо куда для "сестеръ" — въ первое время. Наша рота двинулась изъ Казанлыка за Малые-Балканы, и воть на одномъ переваль, гдь сныгь ужь остался позади, а царство невылазной грязи ожидало насъ впереди,-не успъли мы выстроиться, какъ передъ фронтомъ необыкновенно молодпевато, во весь карьеръ своихъ четырехъ кривыхъ лапъ, еще болве лохматая, вся залвиленная слякотью, но оглушительно и весело лая, пронеслась знакомая собака. Она твердо знала разницу въ чинахъ, потому что прежде всего оставила грязные следы на груди капитана, потомъ завертвлась у ногъ фельдфебеля и, наконецъ, радостно привътствовала Барсукова, кинувшись тому къ самому лицу... Барсуковъ отплюнулся, пробормоталь: "Ишь паршивая", но смотрѣлъ на пса добрыми и ласковыми глазами... Окончивъ съ этимъ, собака помъстилась на правомъ флангъ, около фельдфебеля, и съ тъхъ поръ это было ея неизмѣннымъ мѣстомъ. Она и шла и останавливалась съ нами. Солдаты ее полюбили и прозвали почему-то "ротной Арапкой", хотя съ Арапкою у нея не было никакого сходства. Она была покрыта светлорыжею шерстью, а голова у нея оказывалась посль дождя, разумьется, совсымь былой. Темъ не менте, решивъ, что на мелочи обращать вниманія не стоить, она стала и на имя "Арапки"

отзываться весьма охотно. Арапка, такъ и Арапка. Не все ли равно—лишь бы съ хорошими людьми дѣло имѣть.

X.

Вы помните Хаскіойскія поля? Море грязи внизу, море непрогляднаго тумана надъ нею... Туманъ сливался съ грузными медлительными тучами. Въ немъ двигалось что-то громадное, темное, зловъщее. Подошли наши войска, -- оттуда, изъ самыхъ нѣдръ этой мглы, грянули залпы. Мы отвётили тёмъ же и ударили въ штыки; турецкіе таборы бъжали, но за ними оказались сотни тысячъ бъглецовъ. Жены съ дътьми, старики со старухами. Наши солдаты остановились. Жалость была на всъхъ лицахъ. Но напуганное муллами, поднятое со своихъ мъстъ султанскими эмиссарами, мирное населеніе долинъ Марицы и Тунджи сослѣпу кинулось за таборами. Куда?.. Развѣ они знали въ безсмысленной паникъ! Голодные, терявшіе дътей въ этой слякоти, тысячами умиравшіе сами... Нъсколько дней мы собирали еще дышавшихъ, еще живыхъ, и "ротная Арапка" при этомъ дълала чудеса. Она рыскала по всему этому простору и громкимъ отрывистымъ лаемъ обозначала тъхъ, кому еще могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась надъ мертвыми. Ея върный собачій инстинкть указываль ей, что туть воть подъ напухшими комьями грязи еще бьется сердечишко въ маленькомъ дътскомъ тълъ. Она живо дорывалась кривыми лапами до него и, подавъ голосъ, бъжала къ другимъ. Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. "Тебъ бы, по-настоящему, медалю следовало", ласкали ее потомъ

солдаты. Но животнымъ, даже самымъ благороднымъ даютъ, къ сожалѣнію, медали за породу, а не за подвиги милосердія. Мы ограничились только тѣмъ, что уже въ Константинополѣ заказали ей ошейникъ съ надписью: "За Шибку (Куруджу) и Хаскіой—вѣрному товарищу"...

XI.

Сонъ, грезившійся мнѣ у костра на самомъ темени Балканскихъ вершинъ, скоро исполнился. У моихъ ногъ ласково шумъли синія воды Эгейскаго моря, въ лазурномъ царствъ котораго до сихъ поръ чудится купающаяся Амфитрита, потомъ черезъ нъсколько дней въ теплый свъть уходили дивныя дали Геллеспонта, и, наконець, все въ золотистомъ туманъ, стройное и художественное мерещилось несравненное марево Константинополя. Башни за башнями, дворцы за дворцами, минареты за минаретами. Какъ многоочивый змій апостола, оно по ночамъ горбло тысячами огней, дразня наши ревнивые глаза въчною, несбыточною сказкою русскаго Царяграда... А тамъ прибыли наши пароходы, и я помню, какъ старый фельдфебель пошелъ проводить меня съ неразлучавшейся съ нимъ Арапкой. "Кланяйтесь матушкъ-Россіи. Авось, и насъ Богь приведеть!.. " говориль онъ мнъ, а Арапка съ берега лаяла на меня, ставя шерсть дыбомъ и уши торчкомъ. "Чего-де ты, куда? Развъ здъсь не хорошо? Аль совсъмъ ополоумьль?" Когда лодка моя отчалила, Арапка даже въ воду сунулась и завыла, считая меня, очевидно, погибшимъ... Тихо-тихо сбъгался Константинополь въ одну кучу минаретовъ, сливался въ одинъ бълый комочекъ; темное и непривътливое, бурей встрътило насъ Черное море, и черезъ два дня мы впервые въ эти полтора года издали разслышали торжественный звонъ родныхъ колоколенъ...

XII.

Нѣсколько лѣть прошло сь тѣхъ поръ. Сотни могиль остались позади. Старыя были поблекли и слиняли. Кто и помнить о нихъ—такъ про себя больше. Ђхалъ я какъ-то по Задонскому приволью... Русскій просторъ охватывалъ меня отовсюду своими ласковыми зеленями, могучимъ дыханіемъ неоглядныхъ далей, неуловимою нѣжностью, что живописнымъ источникомъ пробивается сквозь его видимое уныніе... Сумѣй подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды,—и жива душа будетъ, и потемки разсѣются, и вѣра воскреснетъ, а сомнѣнію мѣста не останется въ сердцѣ, какъ цвѣтокъ, открывшемся теплу и свѣту... И зло пройдетъ, и добро останется вовѣки вѣковъ...

Вечервло... Потянуло сыростью съ поемныхъ луговъ; тихій благовьсть донесся откуда-то... Мой ямщикъ добрался, наконецъ, до села и остановился на постояломъ дворв... Мнв не сиделось въ душной, полной назойливыхъ мухъ комнать. Солнце садилось—я вышелъ на улицу... Вдали—крыльцо. На немъ песъ растянулся—дряхлый, дряхлый... куцый. Прощальный лучъ заката блеснулъ на его ошейникъ. У мужика—и собака съ ошейникомъ? Отъ нечего дълать любопытенъ становишься. Подошелъ. Господи! старый товарищъ... "За Шибку и Хаскіой". Арапка, милая! Но она только подняла голову и, не узнавъ меня, пробовала залаять,—

только ничего у нея не вышло... Хрипъ какой-то... Я въ избу-дъдъ сидить на лавкъ, мелюзга кругомъ шебаршитъ. Взрослые съ поля еще не вернулись. "Откуда у васъ собака эта?" — "Наша, ротная!.. " — "Батюшка, Сергъй Ефимовичь, вы ли это?" крикнуль я. Вскинулся старый фельдфебель-разомъ узналъ, и по лицу знакомое что-то пробъжало. Брызни на ветхую. слинявшую картину водой и на минуту поблекшія лица выступять на ней въ блескъ и жизни молодости. О чемъ и что мы говорили, - кому до того дело? Наше намъ дорого и на весь свъть кричать объ этомъ даже стыдно, поди... Арапку мы позвали-едва доползла, волоча брюхо, и у ногъ хозяина улеглась, хрипя и задыхаясь... "Помирать намъ съ тобой пора, ротный товарищъ,-гладилъ ее старикъ,-довольно пожили на покоъ!.. "Собака подымала на него угасавшіе глаза и повизгивала: "Пора-де, охъ, давно пора!" — А помните, какъ она браво тогда на Куруджъ лаяла на насъ?..

- Ну, а что съ ребенкомъ сталось?..
- Прівзжала!..—И двдушка радостно улыбнулся.— Отыскала меня, старика...
 - Здъсь?
- Да! Вотъ какъ. Барышня совсѣмъ. И все у нея по-хорошему. Меня приласкала—подарковъ навезла. Арапку въ самую морду поцѣловала. Просила ее у меня. "У насъ, говоритъ, ее холить станутъ"... Ну, да намъ-то не разстаться съ ней. И она отъ тоски подохнетъ.
 - А Арапка ее узнала?
- Ну, гдъ.... Комочекъ въдь была она тогда... дъвчонка-то... Эхъ, братъ Арапка, пора намъ съ тобою на въчное успокоеніе. Пожили, будеть?.. А?..

Арапка вздохнула.

Черезъ годъ я былъ опять въ этомъ селъ.

На кладбищь мнь показали бълый кресть... Подънимъ дъйствительно нашелъ успокоеніе старый фельдфебель... На клень надъ нимъ заливались щеглы, дрались веселые чижи... Могилу всю травкой занесло. Наивные бълые цвытки ласково, по-дытски, смотрыли на меня оттуда... Нахальный желтый курослыть хотыль было на самый холмикъ взобраться, да не смогь—въ ногахъ остался. Вдали блестыль кресть надъ куполомъ сельской церкви... Тихо было, мирно, благолыпно кругомъ...

- А Аранка гдъ? спросилъ я.
- Собака-то... Какъ дѣдушка померъ, она съ могилки уйти не хотѣла. Не ѣмши, не пимши, все жалилась и землю рыла. Да куда!—Лапы у ей дряхлыя, слабыя... Тутъ и поколѣла... На этомъ мѣстѣ...
 - Гдѣ ошейникъ ея?.. Не остался ли?
- Н'єть, куда... Батька къ ц'єловальнику сволокъ. Потому у насъ воть какъ пили тогда на сел'є, какъ рощу у барина покупали... Ну, и Арапкино добро туда же пошло...



На первыхъ порахъ.

(Повъсть).

T.

Онъ быль глупъ, какъ котенокъ, и веселъ, какъ сытый чижъ. Жизнь впереди ему казалась нескончаемымъ праздникомъ, на которомъ первое мъсто будеть принадлежать его великольпной особь. Ньчто въ родъ блистательнаго представленія съ фейерверкомъ, бенгальскими огнями, напіональными танпами многочисленнаго кордебалета и апонеозомъ съ центральной фигурой никого иного, какъ Митеньки Караваева. Такъ именно назывался этотъ новый Александръ Македонскій, котораго пассажирскій повздъ Николаевской дороги имълъ честь везти въ Петербургъ. "Завоеватель вселенной занималь весьма скромное мъсто въ вагонъ третьяго класса между толстою бабой съ ребенкомъ на рукахъ и какимъ-то купцомъ, лицо котораго, очевидно, обработанное въ недавнемъ запоъ, представляло собою точную карту чрезполосныхъ владеній. Ребенокъ все время неистово оралъ, хотя его мать то и дъло предоставляла въ его пользованіе такіе молочные

скопы, какимъ могла бы по праву позавидовать любая корова. Купецъ икалъ, крестился, призывалъ имя Госполне и, вспоминая что-то, чесалъ всей пятерней своей трехъэтажный затылокъ и укоризненно (себъ самому) моталъ кудлатой башкой. Собственно говоря, Митенькъ нечего было особенно веселиться. У него въ карманв оказывалось всего дввнадцать рублей съ копейками, позади-никого и столько же въ Петербургь. Столица являлась ему громаднымъ цятномъ, въ которомъ Караваеву не выступало ни одного знакомаго или родного лица. Но Митенькъ только что исполнилось шестнадцать лътъ - это во-первыхъ, а вовторыхь, съ нимъ быль маленькій чемоданчикъ, поражавшій удивительнымъ сходствомъ съ чрезполосицей купецкой морды, икавшей рядомъ. Онъ также былъ весь ободранъ, исполосованъ, разинутъ. Караваевъ, впрочемъ, не уступилъ бы его и за милліонъ. Еще бы! Въ растрепанномъ чемоданъ онъ везъ все свое будущее-богатство, почести и славу. Въ этомъ отношении Митенькинъ чемоданъ напоминалъ ранецъ наполеоновскаго малольтняго новобранца, въ которомъ полагалось невидимо присутствовать будущему маршальскому жезлу по меньшей мъръ. Розовымъ мечтамъ юноши нисколько не мъшало неприличное поведеніе обладателя молочныхъ скоповъ младенца, про котораго сидъвшій напротивь мужикъ, крутя носомъ, выражался деликатно:

[—] Ну, тетка!.. И дитё у тебя, дай ему Богъ...

[—] A гдѣ мнѣ пеленокъ набраться... Въ Питерѣ перемѣню.

[—] То-то, что.

[—] Извъстно, рабенокъ. Нешь онъ понимаетъ. У него одно положение: насосался и спитъ.

- Которые люди, —вдругъ обръть даръ слова купецъ слѣва, —примѣрно, себя воздержать не могутъ... Скажемъ такъ—свиньи, но, однако, и изъ нашихъ тоже похвалить невозможно. Къ пойлу этому пьяному точно борова къ корыту. О Господи! — и онъ опять икнулъ и закрестился.
- Воть телеть господинь, —повель мужикъ стани бровями на Митеньку. —Не сладко ему, поди, оть пеленокъ твоихъ.
- А небось дитё-то я одна, что ли, сдѣлала?—вдругъ взбѣсилась баба.—Сами-то округъ насъ какъ турмана ходите. Фрръ, да фрръ... Хвосты-то трубой,—а потомъ вашъ братъ въ кусты, а я одна въ отвѣтѣ... Небось, какъ кобелями бѣгаете, носъ-то не жмуритя?.. Господинъ!.. А можетъ, и у меня барское дитё. Легко мнѣ съ нимъ возжаться-то? Онъ, подлецъ, на иконы крестился. Я тебя, Марья, никакъ не оставлю, будь спокойна! А потомъ надѣлъ кокарду на лобъ—перья-то ершомъ поставилъ. Ищи его! Сказываютъ, въ Питерѣ при казенномъ мѣстѣ.
 - Это ты къ нему.
 - А то куда?..
 - И какъ онъ турнетъ тебя!
 - Меня!
 - Да... Кажи, какой у тебя документь?
- Документъ! А это что?—ткнула она подъ самую бороду ему младенца.
 - А можеть, онь оть меня.

Баба выпучила глаза.

- Или вотъ отъ купца. Нешь на немъ написано...
- Ну, это ты тоже... Придумалъ...—терялась баба.— На всъ иконы крестился... Чего еще.
 - У тебя свидътели есть?

- Такому дълу да свидътели еще. Богъ видълъ.
- Богъ-то видитъ, да не скажетъ...
- Тоже,—опять проснулся купецъ,—и ихней сестрѣ, которая... О Господи... Ротъ-то разѣвать въ прохладѣ...
- А вы, господинъ, не унимался мужикъ, тоже въ Питеръ?
 - Да!
 - На царскую службу, поди... Али учиться?
- Нѣтъ...—И вдругъ онъ нѣсколько хрипло, какъ молодые пѣтушки, крикнулъ:—Я—писатель!
- Чего еще?.. Какъ это... Чинъ такой... Или... У насъ тоже писаря.
- Не писарь, а писатель, обидълся онъ. Это разница. Я стихи сочиняю. Поняль?
- Такъ. Пѣсни, зпачить... Ну, это не дѣло. У насъ на фабрикѣ Петрунька есть, распослѣдній мерзавець. Вдовой сестры сынъ. Опъ тоже—пѣсни эти... И бьють же его походя! Пьянаго!
- Пьянаго, встрепенулся купецъ, да такъ, что чрезполосныя владѣнія у него на лицѣ выступили еще ярче.—Пьянаго беречь надо. Развѣ онъ въ себѣ. Народы бываютъ разные. Но только... О Господи!
- Беречь!—вдругъ ожесточился мужикъ.—Благодаримъ покорно. Онъ у меня зимою избу спалилъ. Беречь!.. Какой пьяный—ежели смирный! Мы тоже Бога помнимъ, не препятствуемъ, хоть лопни. Не моя водка-то. А Петрунька—сичасъ въ чужую клѣть за полушубкомъ. Для него, вишь, припасали.

Митенька Караваевъ нимало не обидълся. Даже усмъхнулся. Въ самомъ дълъ, приравнять его — будущаго... ну, дешевле чего пельзя, Пушкина, что ли? — къ какому-то пьяному Петрунькъ, который то и дъло воруетъ чужіе полушубки изъ мужицкихъ клътей.

Нужно снисходить къ невъжеству. Чъмъ онъ виноватъ, этотъ безграмотный "меньшой братъ"! Зато "меньшой братъ", узнавъ, чъмъ занимается "господинъ", утратиль къ нему всякое почтеніе и сразу перешелъ на "ты".

- У тебя, поди, родитель есть?
- Какъ же.
- Обидѣлъ ты его... папашку-то. Растишь-растишь, думаешь, Господь кормильца подыметъ... А ты пѣсни пѣть... Поди, старичокъ-то у тебя почтенный...
- Мнѣ за стихи мои будутъ деньги платить, вздумалъ было поднять свое пошатнувшееся достоинство Караваевъ.
- Деньги?.. Въ трактирѣ много ли въ шапку насобираешь? Еще вотъ такой купецъ попадется, — ну, онъ, не въ себѣ ежели да распалится, ну, тогда, поди, и двугривеннымъ побалуетъ. А то—плохо твое дѣло. У тебя этотъ инструментъ съ собой. Ты на гитарѣ, что ли?

Караваевъ обидълся.

- Видите этоть чемодань?
- Еще же бы.
- Ну, такъ онъ весь стихами набитъ...
- Бумагой...
- Да... На каждомъ листкъ пятьдесятъ строкъ, и ежели за каждую строку по четвертаку...
- Чего?.. Гдѣ же такія деньги-то глупыя водятся. Ты спроси, сколько мы за четвертакъ-то потѣемъ...
- Я тоже всегда за народъ. Я демократъ по убъжденіямъ.

Мужикъ не понялъ. Недоумѣло повелъ на него глазами и, видимо, вдругъ испугался.

- Мы что же,—забормоталъ онъ.—Мы вѣдь этому дѣлу не причинны. Мы не грамотны.
 - Понимаете, мы всъмъ обязаны народу...

- Точно что-у Бога народушку много.
- Н'вть, это все не то... Мы, въ свою очередь, должны лучшія мысли свои, плоды творчества посвятить вамъ, чтобы мужичку хорошо жилось...
 - Ты это оставь!-вдругъ вмѣшался купецъ.
 - Почему?
- Какія твои слова?.. Творецъ-то одинъ—Господь Богъ. И плоды отъ Него же...
 - Я про литературу, покраснълъ Митенька.

Мужика точно подняло... Схватилъ свой мѣшокъ и поближе къ дверямъ... Подальше-де отъ бѣды!..

- Твой тятенька-то гдё? началъ опросъ купецъ, уже совсѣмъ пришедшій въ себя.
 - Мой? Въ Черниговской губерніи.
 - Такъ... А чинъ на ёмъ есть?
 - Какъ же. Онъ полковникъ.
- Hy?.. Не врешь?.. По паспорту ты какъ значишься?
 - Сынъ отставного полковника.
- Скажи на милость, какой переплеть! Какъ же онъ тебя на такое дъло отпустиль?

Митенька разсердился. Пересёль на мѣсто, освобожденное мужикомъ, у окна и притворился, что его ужасно занимають болота, по которымъ ужъ у самаго Петербурга бѣжалъ поѣздъ, точно откуриваясь дымомъ отъ ихъ комаровъ. Кое-гдѣ по сѣрой ржавчинѣ виднѣлся зеленоватый налеть убогой травы, вдали мерещились чахлыя деревья. Чѣмъ ближе, тѣмъ все больше и больше скучивались у рельсовъ вытянутыя въ струну и словно прокисшія улицы деревянныхъ потныхъ домовъ, и только небо — блѣдно-голубое, глубокое, чистое — ласкало и нѣжило едва открывавшуюся послѣ долгой и непосильной зимы измученную землю...

Бользненна и чахла была эта природа, и Караваеву невольно думалось о томъ, какъ теперь хорошо дома въ большомъ саду, который весь въ росъ сверкаеть и горить подъ утреннимъ солнцемъ. Весь въ росъ свѣжій, душистый съ лиловою тѣнью, въ бѣломъ облакъ яблочныхъ цвътовъ, роняющихъ нъжные лепестки на пышные кусты внизу... И птицъ-то, птицъ!... То и дѣло срываются стаями и со-слѣпа несутся кудато, точно чья-то исполинская горсть швыряется ими во всв стороны... Да! но зато впереди!.. Свъту-то, свъту сколько, славы, дъла! Что онъ, Митенька, оставиль за собою? Городъ спить въ садахъ, точно его одурманилъ ихъ весенній аромать. Спять бълыя церкви, спять ихъ колокольни, въ амбразурахъ которыхъ голубъеть небо-точно туда вставлены синія стекла! Спять улицы, и въ ихъ грязи спять наивныя благонамъренныя свиньи, воображающія, что эта грязь самимъ Провидѣніемъ устроена для ихъ благополучія. Спять маленькіе домики съ цвѣтами на окнахъ. Спить базарная площадь съ деревяннымъ гостинымъ дворомъ, гдв всего и открыты три лавки, и въ этихъ трехъ спятъ пухлые отъ сна приказчики и клюють носами надъ шахматной доской хозяева. Спять брюхомъ внизъ мужики на телъгахъ въ ожиданіи какогото волшебнаго "покупателя", спять торговки съ бубликами, и только благимъ матомъ ореть зашибленная полѣномъ собака... Школяры уже прошли въ училище, хозяйки вернулись домой съ торга, тонконогіе чиновники въ кокардахъ, часто надъ расколовшимися козырьками, протрусили, куда имъ следовало... Только дымъ не спить. Изъ всъхъ трубъ въ безвътріи подымается въ синюю бездну, гдъ бълое крыло голубя мелькнеть порою да сфрый коршунъ пронесется надъ

соннымъ городомъ въ далекіе заливные луга... Вонъ три кита—купецъ Шведовъ, его кучеръ Панасъ и конь "Толсторылъ"—не знаешь, кто изъ нихъ круглѣе, медленно прослѣдовали въ бѣговыхъ дрожкахъ главною улицей, и она опять замерла, если не считать пестрой еврейки въ кринолинѣ, вышедшей на крыльцо подъ вывѣской "модесъ-робесъ, мадамъ Цимбалистъ", но и она такъ откровенно зѣваетъ на всѣ четыре стороны, что отъ ея появленія городъ не только не пробудился, но заснулъ еще глубже.

Н'ыть, разумыется, онъ сдылаль отлично, что укхаль оттуда.

И юноша уже любовно всматривался въ темныя ржавчины промокшихъ полей, въ озябшія крыши домовъ и чахлыя, чахоточныя березы села, мимо котораго, все больше и больше забирая силы, несся его вагонъ.

II.

— Куда же я теперь? — самъ себя спросилъ Караваевъ, соскочивъ на перронъ, когда повздъ влетвлъ подъ стеклянную кровлю дебаркадера и, всю ее наполнивъ удушливымъ дымомъ, остановился, тяжело пыхтя, точно загнанная лошадь. — Куда же я теперь?

Онъ даже не обратилъ вниманія на носильщика, пристававшаго къ нему...

- Вашъ чемоданъ? Пожалуйте квитанцію отъ багажа?
 - Какой багажъ? пришелъ Митенька въ себя.
 - Обыкновенно.
 - У меня нътъ багажа! Все тутъ съ собою.

Носильщикъ взгляпулъ на разинутый и облысъвшій чемоданъ и, сообразивъ, что тутъ дълать нечего, бросился дальше. Караваевъ пошелъ самъ за другими къ выходу. Всъ куда-то торопились, сбивались съ ногъ, кричали. Какіе-то необыкновенно предпріимчивые жулики, стараясь придать себъ видъ самаго неистоваго благородства, выхваляли, путая одинъ другого, безчисленныя меблированныя комнаты и, храня среди этого плебса аристократическое достоинство, швейцары гостиницъ басомъ провозглашали ихъ священныя имена. Старушонка въ капоръ и въ салопъ, хваставшимся когда-то бывшимъ несомнъннымъ атласомъ, накинулась на Митеньку, какъ на родного.

- Вамъ въдь, молодой человъкъ, подешевле комнату?
- Да, а что?
- Помилуйте. У меня самые важные сановники останавливаются. И даже посейчасъ генералъживеть. Есть по полтиннику въ сутки. Егорка, мерзавецъ...

Какой-то ободранный малый вывернулся изъ толпы.

- Бери чемоданъ...
- Не надо... не надо, я самъ.
- Да вы не безпокойтесь... Это мой племянникъ.

Но Митенька дома слышаль, что въ столицѣ народъ подлець, и зналь, что держить въ рукахъ сейчасъ всю свою будущую славу и богатство. Онъ бы ни за что и никому не уступиль чемодана съ рукописями. Караваевъ спотыкался и, чувствуя, что у него затекаетъ рука, вышелъ изъ вокзала и растерялся. Конокъ тогда еще не было, и потому вся эта показавшаяся ему громадною Знаменская площадь гремѣла, въ полномъ смыслѣ, желѣзными ободьями безчисленныхъ извозчи чьихъ дрожекъ. Тридцать лѣтъ назадъ торцовой мостовой на ней пе было, и каждый Ванька трещалъ по

ея громаднымъ булыжникамъ во-всю... Выбрался Караваевъ на Невскій — и ему показалось, что онъ никогда не привыкнеть къ этому страшному движенію и суматохъ. На первыхъ порахъ онъ ничего понять не могъ. Виделъ только, что все съ озабоченными лицами куда-то торопятся. Его толкали справа и слѣва и, не будь туть старушонки въ капоръ, онъ бы, навърное, уронилъ чемоданъ и въ безсиліи съль на него, какъ Марій на развалины Кареагена. Целый міръ кругомъ жилъ какою-то особенною, совсъмъ непонятною Митенькъ жизнью. Нельзя было ни на минуту очнуться. Его подхватывало, кружило и уносило кудато вихремъ, и сквозь это чуждое ему, странное и даже страшное-казалось въ безконечность бѣжитъ громадная блестящая улица, обставленная, какъ ему чудилось, дворцами съ огненнымъ подъ этимъ солнцемъ, опрокинутымъ вверхъ ногами восклицательнымъ знакомъ Адмиралтейства, гдъ-то тамъ въ недосягаемой дали. Вывъски однъ чего стоили! Отъ нихъ рябило въ глазахъ и мысли мѣшались, и въ то же самое время, сквозь смятеніе и робость, что-то новое прохладною бодрящею струйкой начало проникать въ его грудь. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ это настоящая жизнь — тотъ именно океанъ ея, о которомъ онъ не разъ мечталъ по наслышкъ. Не уъздное болото-тутъ шумныя волны ходять на просторъ, чуть не въ самое небо заплескивая п'вну. Знай, только держись и направляй челнъ среди зеленовато - сфрыхъ гребней по вътру, и въ концъ-концовъ море это прибьетъ тебя къ далекой пристани. Туть есть съ чемъ и какъ побороться. Лишь бы силы хватило, а ужъ въры въ себя ему, Митенькъ, не занимать стать. Съ такимъ багажомъ, какъ у него (и онъ еще сильнъе сжалъ отрепавшіяся

ушки чемодана), каждый корабль въ этомъ океанъ выдержить любую бурю! Стоить ему, Караваеву, появиться въ первую редакцію — съ руками оторвуть, и сегодня бъдный, никому неизвъстный, отрепанный завтра онъ-будетъ у всёхъ на устахъ. Эти господа будуть заглядываться на него, когда онъ будеть проходить по той же улиць, и толпа разступится, давая ему широкую дорогу! Честь и мъсто-въдь онъ слава родины, въдь его мыслью, его образами живутъ и чувствують милліоны людей. Всему неясному, смутному, неопредъленному онъ дастъ звукъ и силуэтъ, имя и краску, сдёлаеть ихъ понятными "толпё", именно толпъ; и затолканный и задержанный ею Митенька вдругъ почувствовалъ приливъ такой силы, что высоко подняль голову и часто-часто задышаль, будто всего этого воздуха не хватало для его груди. Да! Впоследствій не разъ онъ вспомнить этоть день, когда юношею, бъдный и никому неизвъстный, онъ скромно за рыжимъ капоромъ и доисторическимъ салопомъ пробирался къ... счастью, славъ и богатству! Чу... что это? И онъ невольно попятился. Надо было повернуть въ одну изъ улицъ налѣво, но оттуда прямо, какъ ему казалось, на него двинулось громадное сърое чудовище, поднявшее дыбомъ тысячу ярко блиставшихъ на солнцъ штыковъ. Впереди шли барабанщики и трещали оглушительные извозчичьихъ колесь по булыжникамъ, глухо билъ турецкій барабанъ и пронзительно орали во вст свои мъдныя глотки горнисты. Мфрный топоть солдать разъ-разъ-разъ такъ и садился въ ухо, а передъ ними, тяжело покачиваясь на бълой лошади, ъхалъ толстый полковникъ... У Митеньки забольло темя и застучало въ вискахъ. Онъ чувствоваль, что голова у него кружится до тошноты...

- Что, скоро? спросилъ онъ у рыжаго капора. Острый носъ съ ссохшимися губами повернулся къ нему.
- Сейчасъ-сейчасъ, молодой человѣкъ... Вотъ еще улочку...
 - У меня руки оттянуло.
 - Пожалуйте мнв.

Но онъ опять еще энергичнъе сжалъ уши своего чемодана. Ни за что! Вдругь она, пользуясь знаніемъ этого страшнаго лабиринта, убъжить съ его драгоцвиной ношей. Когда Митенька напишеть опять эти дивные стихи? Еще бы не дивные? Развъ всъ его товарищи по гимназіи не приходили отъ караваевскихъ ямбовъ и хореевъ въ восторгъ? А его октавы? На что Саша Дорошенко, самъ писатель (хоть его еще никто не печаталь!), а все-таки и онъ училь ихъ наизусть... А поэмы. А "Легенды царствъ и народовъ!" (дешевле Митенька не соглашался). Въдь, собираясь къ нему по субботамъ, его такіе же безусые друзья чуть не до утра зачитывались ими и, расходясь, постановляли единогласно: "Митенька, ты-геній..." Учитель словесности—старый Юсь и тоть возлагаль ему на "главу" не на голову, а именно на "главу" — жирныя ладони, которыми только что сбрасываль поть съ лысины, и возглашалъ: "Трудитесь, Караваевъ. Вы самимъ Провидъніемъ отмічены. Вамъ грішно будеть зарыть талантъ въ землю"... А кузина Софка! Та наизусть его знала, и всякій разъ, какъ декламировала его стихи, кончикъ ея круглаго наивнаго носика краснълъ и въ еще болье наивныхъ и круглыхъ глазкахъ выступали слезы. Отепъ — тотъ скептически относился къ сыну и, когда юношу съ позоромъ погнали изъ гимназіи (латынь и математика - чорть бы ихъ драль!), онъ

послѣ перваго урагана родительскаго негодованія потребоваль: "ступай писцомъ въ полицейское управленіе или юнкеромъ въ полкъ"... Ему, Шекспиру или Виктору Гюго, и вдругъ, вмѣсто Олимпа или Парнаса, въ полицейское управленіе съ городничимъ Павсикахіевымъ, у котораго весь бортъ неприличнаго архалука засыпанъ табакомъ, и еще слава Богу, потому что безъ этого налета онъ бы представлялъ собою непремѣнно подробнѣйшее меню всего съѣденнаго за послѣднія двѣ-три недѣли!.. А юнкеромъ въ полкъ?.. Пожалуй, вѣдь и Лермонтовъ былъ юнкеромъ... Но ему, автору поэмы "Нинъ и Семирамида", тянуть лямку!.. Нѣтъ, это просто глупо... Кузина Софка и та набросилась на папу (ей онъ приходился дядей).

- Что вы!.. Вѣдь Митенька— это наша гордость. Онъ прославить фамилію Караваевыхъ.
- Нужно видъть дальше своего носа!—гудълъ Саша Дорошенко.

И отставной полковникъ, поневолѣ смолкая, отъ негодованія только размахиваль чубукомъ...

- Чорть его знаеть, говориль онь наединь "мамь". Можеть-быть, нашь оболтусь и вь самомь дъль таланть. А? Я его стихи показываль капитану Шерстобитову. Онъ у насъ быль по письменной части—всъхь этихъ писаришекъ въ струнъ держаль.
 - Ну, и что жъ?
- Одобрилъ. Запятыя, говоритъ, всѣ на мѣстѣ, ну и рифма, гдѣ ей слѣдуетъ, разставлена по правилу.
 Вообще эстетика торжествуетъ.
 - Это что такое эстетика?
- -- Ну ужъ, матушка, я не обязанъ знать всякую ихнюю чепуху. Спроси сама у Шерстобитова.

На другой же день Митенька быль позвань на семейный судъ.

- Всѣ говорять, что ты—таланть, я тебя стѣснять не намѣренъ. Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ. Чѣмъ бѣсъ не шутитъ! Но если талантъ, такъ ты самъ пробъешь дорогу. У меня, кромѣ пенсіона, ничего нѣтъ, а еще надо подымать твоихъ братьевъ и сестру. Значитъ, разсчитывать тебѣ на меня нечего. Я тебѣ дамъ сто рублей и устраивайся, какъ хочешь. До Петербурга доберешься, а тамъ, ты самъ говоришь тебѣ за строчку по четвертаку...
- Фетъ получаетъ по полтиннику и Мей тоже, а Некрасовъ по рублю!
- Ну, вотъ видишь, значить, и намъ поможешь. У тебя сколько написано стиховъ?
 - Нѣсколько тысячъ есть.
- Вотъ въ эти двѣ недѣли напиши еще, да побольше.
- Митенька, слащаво заговорила "мама", ты бы по ночамъ вмѣсто того, чтобы книги-то читать, писалъ стихи.
 - Я, маменька, пишу.
- Ну, вотъ. Значитъ, дъло въ шляпъ. Чего еще? "Малый-то не дуракъ! соображалъ полковникъ. По четвертаку строчка!"
 - А ты сколько строкъ въ день можешь написать?
 - Это зависить отъ вдохновенія...
 - Ну, однако... Среднимъ числомъ?
 - Сто, двъсти...
- Положимъ, сто... Двадцать пять рублей въ день. Скажите на милость. Ахъ, ты, поросенокъ! Да я въ чинъ подполковника послъ тридцатипятилътней лямки на Кавказъ получалъ всего сто двадцать пять въ мъ-

сяцъ. Такъ я государю своему офицеръ былъ! Этакъ никто въ кадетскій корпусъ не пойдетъ. Всѣ станутъ стихи писать. Кому охота лямку тянуть, да въ походы ходить!

"Нѣтъ, пожалуй, изъ него толкъ будетъ!" мысленно одобрялъ онъ сына.

Послѣднія впечатлѣнія, которыя онъ увозиль изъ дому, были теплыя и нѣжныя объятія мамы и покраснѣвшій носъ кузины Софки. Софка неистово хмыкала имъ и плакала. Мать тоже смотрѣла на него полными слезъ глазами. Дорошенко тоть нагналь его на бѣговыхъ дрожкахъ и крикнуль:

- Смотри, Митя, держи свое знамя твердо...
- Спасибо, Саша.
- Пришли, какъ напечатаютъ. Я здѣсь напишу критическую статью. Они въ Петербургѣ не умѣютъ. Понялъ? Избѣгай "кровь-любовь" и "очи-ночи!" На "зеркало" и на "память" трудно. Ну, прощай. Да хранятъ тебя музы!

III.

— Какъ звать васъ?

Юноша хотъль было отвътить "Митенька", да вспомниль, что Митенька умерь уже дома. Какъ же онъ, кандидать въ "гордость отечества", и вдругъ — Митенька!

- Димитрій Николаевичъ Караваевъ.
- Чайку прикажете?
- Да, пожалуйста.

Онъ оглядълся. Комната была крохотная. Коридоръ упирался въ окно. Отмърили четыре аршина, забрали досками; покрыли ихъ обоями, проръзали дверь. Три стьны замазаны известкой, четвертая-прямо передъ окномъ — вся въ разланистыхъ цвѣтахъ, зеленое съ краснымъ. Подъ потолкомъ ихъ не хватило, тамъ оранжевые охотники стръляють въ голубыхъ птицъ. Въ углахъ, наверху — точно рыбаки свои съти сушиться — пауки вывъсили сърыя темныя полотнища паутины. Подоконникъ-карта невъдомаго государства: тамъ, гдв отлупилась краска, --моря и озера, гдв треснуло-рѣки и каналы, набрызганы чѣмъ-то чернымъ города, поперекъ — большою дорогою щель, и по ней ползеть клопъ-путешественникъ. Окно тусклое, видимо, вторую раму вынуть вынули, а стекла во второй не помыли. Свъть по нимъ дълаетъ какіе-то радужные узоры, будто по перламутру. Нальво-жельзная кровать. Тюфякъ блиномъ, тикъ расползся-и въ дырья откровенничаеть демократическая мочалка. Красная подушка навсегда сохранила нерукотворный оттискъ чьей-то жирной головы.

— Мы вамъ сейчасъ постельку приготовимъ... За бълье десять копеекъ особо.

У другой ствны—столъ. На столь —чернильница: первыя весеннія мухи сообразили, что это для нихъ, и устроили въ ней свое пристанище. Даже слышно, какъ жужжатъ тамъ.

- Мы вамъ можемъ кресло поставить.
- Пожалуйста. Я въдь писатель.
 - Чего-съ?
 - Писатель... Стихи пишу.

Капоръ поморгалъ, поморгалъ... Такъ на утиномъ лицъ и выразилось: "Вотъ тебъ и на! Убила бобра".

- __ Для газетовъ?
- Да!-снисходительно улыбнулся Митенька.

- Ахъ, Боже мой!.. Что жъ, мы и писателей допускаемъ. Но вы меня извините, молодой человѣкъ... Мы не препятствуемъ... Но ежели стихи, то пожалуйте хоть за недѣлю деньги впередъ.
 - Почему жъ впередъ... Я сначала въ редакціи.
- Нѣтъ, это ужъ... Я женщина бѣдная... Меня обманывать довольно стыдно.
 - Да развѣ я...
 - Пожалуйте за недвлю.

И такъ сжала губы, что скорѣе стѣны поколебались бы на своихъ основаніяхъ или оранжевые охотники разстрѣляли всѣхъ голубыхъ птицъ подъ потолкомъ, чѣмъ она измѣнила рѣшеніе. Димитрій Николаевичъ отвернулся къ окну, вынулъ изъ кармана красный гарусный кошелекъ, связанный ему кузиной Софкой.

- Три съ полтиной... Да!.. Три съ полтиной. А стихи писать пишите. Только за недълю впередъ... Я—вдова... У меня мужъ въ управъ благочинія служиль, долбилъ капоръ, точно дятелъ въ стъну.
 - Вотъ извольте. Мит все равно.
- Такъ будеть върнъе. Тутъ тоже у меня одинъ писатель былъ—Пятницынъ... Я къ нему за деньгами— мъсяца два жилъ онъ безплатно—говорю: "Пожалъйте вдову, мнъ тоже ъсть надо"... А онъ сгребъ меня за хвость и рычитъ: "Хочешь воздухоплаваніе слона, одобренное всъми монархами въ Евройахъ, чрезъ окно?.." Что же это? Нашъ-то этажъ пятый!

Димитрій Николаевичь сосчиталь, у него оставалось девять рублей съ конейками. Пока утиный нось стлаль ему постель, онь совсѣмъ разинуль свой чемодань и вынуль оттуда три рубашки, сюртукъ, еще кое-что изъ бѣлья и цѣлый ворохъ бумаги. Бумаги онъ разложилъ на столъ. На самую середину — поэму "Нинъ и Семирамида", по угламъ— "Элегіи" и "Слезы печали".

- Вы, молодой человъкъ, тоже пьете?
- _ Чай.
- Нътъ... а водочку?
- Не пробовалъ.
- Съ чего же вы стихи пишете? Пятницынъ пиль для фантазіи. А фантазія у него была такая, чтобы непремѣнно чертей на носу ловить. Даже на моемъ... И до того онъ доловился, что въ Обуховской больницѣ потомъ померъ. А вѣдь какой господинъ былъ сначала!

Постлала, принесла ему самоваръ.

- На подоконникъ будете чай пить?
- Да.
- Отсюда видъ хорошъ. Все-таки воздухъ.

Видъ заключался въ красной желѣзной крышѣ трехъэтажнаго дома и въ цѣломъ рядѣ трубъ. По краю,
притворяясь, что онъ гуляетъ для собственнаго удовольствія, шелъ ко ъ, поднявши хвостъ въ знакъ своихъ кавалерственныхъ достоинствъ; за трубой, также
дѣлая видъ, что ей до него нѣтъ никакого дѣла, умывалась пѣгая кошка. На слѣдующей трубѣ геральдическимъ единорогомъ щетинился другой претендентъ
на испанскій престолъ и, расправляя когти, старался
всѣми силами напугать вселенную... Еще дальше сидѣла черная ворона, весьма почтенная дама, видимо,
не одобрявшая этихъ занятій, въ знакъ чего нѣтънѣтъ да и постукивала твердымъ, какъ сталь, носомъ
въ желѣзо.

Караваевъ напился чаю и только теперь почувствоваль, насколько онъ утомленъ. Въ самомъ дълъ, всю

ночь баба съ ребенкомъ съ одной и покаянный купецъ съ другой стороны не давали ему сомкнуть глазъ. Баба убаюкивала младенца подъ громыханье поъзда, а круглая морда съ львой стороны любовно ложилась ему на плечо и сопъла въ самую щеку молодому человъку. Димитрій Николаевичь живо раздълся и легь въ холодное бълье. Кажется, его голова еще подушки не коснулась, а онъ ужъ видълъ сонъ. Взглянуль сюда утиный нось, чихнуль въ дверяхъ. Ворона съ крыши перелетъла къ окну и застучала въ жельзо... За дверьми хрипло и злобно пролаяль хозяйскій мопсъ... А Димитрію Николаевичу снилось, что съ развъшанныхъ сътей пыльной паутины спускается толстый, на тонкихъ и длинныхъ ногахъ, учитель математики и, выпучивъ по-рачьи круглые, красные глаза, хрипить и лаеть: "Ну-съ, гавъ-гавъ, чему равняется квадрать гипотенузы, гавъ-гавъ... Не знаете!" и скалить по-собачьи зубы, воть-воть вцепится ему въ икру. А въ окно стучитъ твердымъ, какъ сталь, носомъ латинистъ: "Азинусъ, азинусъ, азинусъ... а вотъ я ноль-азинусу... Еще стихи пишеть азинусь, а pluscum-perfectum не знаеть". Потомъ все силылось—латинисть распустиль черныя крылья и улетьль къ котамъ учить ихъ писать подъ диктовку, паукъ-математикъ на длинныхъ ногахъ спрятался въ свои съти, хозяйка обратилась въ мопса, и господинъ Пятницынъ, схвативъ ее за хвостъ, швырнулъ въ окно. Все затянуль сладкій тумань, и въ этомъ тумань утонула последняя смутная мысль Митеньки. Онъ заснулъ крепко, какъ спять только въ шестнадцать лътъ.

Проснулся онъ какъ-то вдругъ, точно его кто-то толкнулъ въ бокъ. Проснулся и самъ себя увидъль сидящимъ на кровати, опустивъ голыя ноги на полъ.

По телу бежаль колодокъ, а по подушке -- толстый напившійся клопъ; очевидно, онъ только что пообъдалъ Караваевымъ, что мигомъ и этому напомнило: пора всть. За кроватью изъ прежняго коридора была, очевидно, дверь. Ее задёлали, но такъ, что оттуда слышался каждый звукъ. Молоденькій голосокъ пълъ: "Въ одной знакомой улицъ я помню старый домъ". Напротивъ, за столомъ съ драгоцѣннъйшими рукописями Димитрія Николаевича, другая такая же дверь и тоже задъланная, за нею заливалась канарейка. Солнце будто изъ-за угла смотрѣло сюда въ окно, и Караваевъ вдругъ понялъ, что ему, "гордости отечества", страшно весело во-первыхъ, жизнь самая великольпная штука, какую только можно было выдумать — во-вторыхъ, а въ-третьихъ, ужасно глупо сидъть у себя, глядя на собственныя волосатыя ноги, когда на улицъ теперь отлично, и онъ Димитрій Николаевичь, обладая девятью рублями, можеть делать все, что ему угодно: быка слопать или на Ванькъ пробхаться, а то взять и напиться лимонаду или меду, что ли, что послаще... Короче, онъ по меньшей мъръ Валтасаръ, и ужъ ни въ какомъ случав ему пе въ чемъ завидовать вавилонскому царю.

Увздный портной соорудиль ему сюртукъ съ таліей на затылкъ. Портной звался Нахимъ, былъ исправный еврей и держалъ этотъ сюртукъ, какъ истинное чудо искусства, благоговъйно двумя перстами. Когда Караваевъ его примъривалъ, Нахимъ чмокалъ и закрывалъ глаза.

— Думала ли ваша бабушка, что вы будете такой счастливый, чтобы носить настоящій цимисъ! Я думаю, она бы изъ могилы поднялась, чтобы посмотръть, какой вы красавецъ. Меня только здъсь понимать не

могутъ... А если бы я жилъ увъ Варшавѣ, то былъ бы не портной, а изъ мармара статуевъ бы дѣлалъ. И всѣ бы мнѣ снимали шляпы, и жилъ бы я увъ своемъ дому и ѣлъ бы постоянно индуковъ съ вареными цыбульками.

Димитрій Николаевичь одблея.

He усп'єль онъ выйти, какъ въ зад'єланную за кроватью дверь постучали.

- Кто тамъ?—невольно вздрогнулъ опъ отъ неожиданиости.
 - R!
 - А кто вы?
 - Лиза!

И молодой д'ввичій голосъ даже п'вніе канарейки справа покрыль звонкимъ см'яхомъ.

Караваевъ потоптался. "Чего ей надо отъ него?"

- Вы новый жилецъ... Вы, сказываеть хозяйка, стихами занимаетесь. Напишите мнѣ, да повесельй. Я люблю веселое.
 - А вы кто. Что вы дълаете?
- Шью. Если вамъ понадобится починить, несите ко мнѣ по-сосъдски. Я на магазины и на частныхъ давальцевъ рубашки... Разное тонкое бълье... Вы что сейчасъ дълаете?
 - Ухожу въ городъ.
 - Въ какой?
 - Въ Петербургъ.
- Да въдь онъ вотъ туть... Кругомъ.. Ну, прощайте.
 - Прощайте.
- Принесите миѣ мармаладу полфунта, по двадцати копеекъ... Хорошо?
 - Хорошо.

— A я васъ вечеромъ малиновымъ вареньемъ, которое изъ съмечекъ, угощу за чаемъ.

Домь выходиль въ тихую и сейчасъ пустынную улицу, зато эта впадала въ другую большую и шумную. Димитрій Николаевичь наткнулся на ней прямо въ большое окно кондитерской. Только сейчасъ онъ почувствоваль, до чего ему всть хочется. Кажется, головой бы въ стекло и—хапъ пастью вонъ этотъ торть! Онъ ръшительно отворилъ двери. Не обращая никакого вниманія на толстую блондинку за прилавкомъ съ вздернутымъ носомъ и сонными глазами, Караваевъ окинулъ блюда съ пирожнымъ взглядомъ завоевателя и, намътивъ на краю слойку съ яблоками, ръшительно направился туда.

- Можно?
- Что? удивилась блондинка, поднявъ бълесыя брови къ такой же чолкъ.
- Это.
 - Три копейки штука.

Димитрій Николаевичь мгновенно обратился въ Митеньку. Онъ жадно набросился на пирожки и такъ зачавкаль, что вздернутый носъ отвернулся... Дѣвушку разбираль смѣхъ. Слойка показалась юношѣ удивительно вкусной. У себя въ уѣздномъ городѣ онъ не пробовалъ такой. Яблоки были посыпаны корицей... Пирожки разсыпались, сладкое желе вязло въ зубахъ. Не прошло и двухъ минутъ, какъ блюдо было пусто... Онъ нацѣлился было на меренги, но тутъ его прервалъ хохотъ блондинки.

- Вы, должно-быть, очень голодны.
- Я? А что?
- Такъ. Вы пятнадцать штукъ скушали.
- Я!..

- Да!
- А развѣ это много?
- Ой, не могу... Танте, танте Амальхенъ. Господинъ скушалъ пятнадцать слоеныхъ пирожковъ и спрашиваеть: развѣ это много?

Танте Амальхенъ вынесла свое брюхо. Поморгала, поморгала на растерявшагося Митеньку.

— Mein Gott... Aber, если у господина такой аппетитъ. Сорокъ пять копеекъ, — перешла она въ дѣловой тонъ.

Только сейчасъ Караваевъ замѣтилъ, что щеки у нея висятъ какъ собачьи уши, а шея вся въ жирныхъ складкахъ.

- A гдъ бы туть пообъдать?
- Какъ, ви хатить еще кушайть.
- Да... Я не объдалъ.

Это такъ поразило "собачьи уши", что она нъсколько секундъ удерживала въ рукахъ сдачу съ рубля, пуча водянистые безъ ръсницъ глаза на юношу.

Потомъ вышла изъ-за прилавка, проводила Караваева въ двери и показала ему.

— Вотъ тамъ... Греческая кухмистерская... Тридпать конеекъ три блюда.

Митенька опустился въ какую-то паровую бездну, наполненную всевозможными запахами. Дымились щи, носились клубы пригорълаго масла, но все побъждалъ поджаренный лукъ. За столиками, накрытыми грязными скатертями, сидъли бъдно одътые люди и жадно ъли, мимоходомъ пробъгая газеты и журналы "Весельчакъ", "Гудокъ", "Искру", "Занозу"... Кто-то спалъ, уткнувшись въ "Съверную Пчелу"... Рядомъ чиновникъ съ Станиславомъ въ петлицъ настойчиво

требоваль у лакея, заткнувшаго одну фрачную фалду въ карманъ, чтобы онъ понюхалъ телятину.

- Что же ее нюхать? Телятина, извъстно!
- А отчего она селедкой пахнеть?
- Около стояла.
- А воть я тебя въ газеть обличу.
- Мив что. Нешто я хозяинъ.

Караваевъ усълся, взялъ свободный журналъ и сейчасъ же уткнулся въ стихи.

"Я пишу лучше!" самодовольно подумаль онъ.

Объдъ юноша проглотилъ, что называется, смаху и вышелъ знакомиться съ городомъ.

Тъни ложились косо.

На ствнахъ домовъ горѣлъ золотистый свѣтъ... Небо было чисто. Огнемъ горѣлъ куполъ ближайшей церкви.

— Великольно! — радовался Димитрій Николаевичь. Чему? И самому было это не ясно, онъ не могъ бы опредалить, что именно "великолапно", и въ одну минуту ему представилось, что если бы теперь пришлось вернуться назадъ въ маленькій сонный городокъ? О, ни подъ какимъ видомъ. Тамъ теперь всв спятъ еще послъ ранняго объда. Неподвижное царство сытаго молчанія! Ніть, что бы ни случилось, а ему дороги назадъ нътъ. И онъ радостне всматривался въ лица попадавшихся ему навстръчу людей, и всь они казались ему такими прекрасными, добрыми, великодушными. Точно родные кругомъ. Что же туть страшнаго? Вспомнилъ онъ, какъ его пугали дома. Ничего нътъ. Нътъ, право, великольпно! Улицы за улицами, площади, обстроенныя дворцами, каналы, по которымъ медленно ползуть то барки, то лодки. Тусклая стальная холодная глубина и опять длинный строй домовъ одинъ другого лучше, цѣлый хаосъ вывѣсокъ, калейдоскопъ постоянно мѣняющихся лицъ и, главное, молодость, молодость, молодость, избытокъ силы, здоровья, довѣрчивости. Столько силы, что дышать ему нечѣмъ, воздуха много, а по его груди мало!..

— Ахъ, какъ хорошо, какъ хорошо!

IV.

Да, было хорошо именно потому, что молодо! Молодость—единственное счастье на землѣ. Его не замѣчають, какъ не замѣчають ничего до тѣхъ поръ, пока судьба или годы не лишатъ насъ благополучія жизни. Ходящій по улицѣ не пойметъ, что за радость въ его устали, а узникъ изъ-за рѣшетки тюрьмы завидуетъ ему отъ всей души. Безногій паралитикъ, кажется, всю оставшуюся ему жизнь отдалъ бы за одинъ день здоровья... Только одинъ день.

Какъ далеко отошло это время и какъ смутно представляется оно! Точно стараешься припомнить подробности давняго сна и никакъ онѣ не даются: Между нимъ и сегодняшнимъ днемъ стало такъ много встрѣчъ и впечатлѣній, тысячи другихъ лицъ заслонили когда-то милыхъ, близкихъ и дорогихъ людей. Еще порою случается мелькомъ вспомнить ихъ голоса, улыбку, но такіе проблески быстро-быстро гаснутъ и опять прошлое заволакивается однообразною сплошною мглою. Отъ другихъ хоть могилы остаются. Гдѣ-нибудь въ забытыхъ уголкахъ стараго кладбища покосившійся крестъ, полуразмытый дождями надгробный холмъ. Изрѣдка старики приходятъ туда бесѣдовать съ признаками прежнихъ друзей, полуистлѣвшихъ въ своихъ

черныхъ ямахъ. А отъ моихъ давнихъ товарищей, съ которыми во время оно я такъ бъдствоваль, мучился, радовался, смёялся и плакаль, нёть и такого слёда! Въ самомъ дѣль, ну, гдѣ я найду затерявшагося на этомъ громадномъ свътъ Митю Караваева, который чуть ли не на другой день послѣ своего пріѣзда въ Петербургъ познакомился со мною, такимъ же, какъ и онъ, бездомнымъ бъднякомъ, пробивавшимъ себъ дорогу, локоть къ локтю съ нимъ. Сколько разъ мы вмъсть оставались зимою безъ крова на улицъ и, голодая, какъ брошенные исы, до тошноты жадно поводили носомъ, проходя мимо подвальныхъ кухонь большихъ барскихъ домовъ. Именно голодая! Потому что мы знали настоящій голодъ, -- голодъ до муки, до головокруженія, до мечты, какъ о величайшемъ счастьъ, о трехкопеечной сайкъ! И весь нашъ кружокъ?.. Гдъ онъ теперь? Нынъшній писатель-будь у него хоть искра таланта-начинаетъ прямо тріумфаторомъ. Ему не грозить нищета, одиночество, издательская каторга, истощеніе... Онъ высоко несеть голову, потому что еще и настоящаго услъха нътъ, а ужъ его, новичка, ищуть и зовуть. А мы съ Караваевымъ? Да и мало ли такихъ. Хоть здёсь слёдуеть вспомнить талантливыхъ юношей, когда-то такъ много объщавшихъ и такъ рано почившихъ жертвами безвременья. Они какъ ранніе цвъты въ поляхъ. Еще и снъгъ не совсъмъ сбъжалъ мутными водами въ овраги, а желтенькіе и розовенькіе лепестки ужъ распустились. Только что улыбнулось солнце-какъ вдругъ на съверъ небо нахмурилось. Потянуло съ полюса вътромъ, нагнало тучи, заслонившія землю отъ солнца, и какъ ударило морозомъ, такъ отъ скороспълой былинки и стебля не осталось! Гдъ лежатъ жалкіе останки такихъ

бледныхъ незаметныхъ существованій, какъ, напримъръ, Волгина, котораго мы называли "Чижикомъ", или Крутикова, родоначальника нынъшнихъ репортеровъ, укутавшагося зимою въ женскую кацавейку и считавшаго десять рублей сказочнымъ предъломъ земного честолюбія. Въдь это была какая пора! Теперь человъкъ среднихъ способностей уже легко зарабатываеть сто и двъсти рублей въ мъсяцъ и это считаетъ нишенствомъ. Газетные рядовые объдають не только каждый день, но и въ дорогихъ ресторанахъ, обзаводятся семьями, воспитывають детей, летомъ ездять на Волгу или знакомятся съ Кавказомъ, заглядывають въ Европу, — а оставаясь здъсь, катаются на острова во всевозможные шато-кабаки и вообще имъють видъ сытый и благополучный. Иного и не отличишь отъ хорошаго гладкаго кота у мъховщика. Жмурится и мурлыкаетъ себъ на свътъ Божій, а намъ съ Караваевымъ въ то время жилось иначе. Газетное дъло только начиналось и за редкими исключеніями было въ очень скверныхъ рукахъ. Нынъшніе гонорары показались бы арабскою сказкой. Даже пять копеекъ, о которыхъ сегодня и начинающіе говорять презрительно, представлялись брильянтомъ, что ли, за строку. Я помню, какъ знаменитый И. А.... зачитываль за повъсти по полукопейкъ строчку, при чемъ и эта полукопейка значилась больше по книгамъ редакціи, а въ руки автору попадала рѣдко.

И тому же Крутикову рекомендовалъ.

[—] И зачѣмъ вамъ деньги? — искренно удивлялся онъ.

[—] Какъ зачьмъ?

[—] Такъ! У васъ гордости ибть. Вы просто не умбете жить!

- Да вы что—даромъ носите званіе сотрудника "Столичнаго Курьера", что ли? Какъ вамъ не стыдно...
 - А если я тсть хочу?
- Идите въ любой ресторанъ и съ достоинствомъ требуйте: я изъ "Столичнаго Курьера". Васъ напоятъ и накормятъ. Они, подлецы, должны повсечасно трепетать васъ. Чуть что, вѣдь и обличите! А потомъ къ портному, сапожнику—и та же политика! Возьмите, напримѣръ, меня. Развѣ я дохожу до такой низости, чтобы платить за свои платья? Вы, мой другъ, не понимаете значенія литературы!

И бѣдный, посинѣвшій оть холода, робкій, застѣнчивый Крутиковъ, бывало, ежится, потираетъ красныя руки и шопотомъ спрашиваетъ или у меня, или у Митеньки, или у Волгина:—нѣтъ ли пятиалтыннаго? И при семъ поясняетъ: "Богъ счастье послалъ: вчера два пожара, а сегодия убійство, а отъ Ильюшки рубля допроситься не могу. Чортъ его знаетъ, куда онъ прячетъ деньги!"

Илья А... въ патетическія минуты даже раскрываль свой бумажникъ.

- Вы видите—ничего?
- Ничего.
- Ну, а я сегодня буду ѣсть устрицы и пить шампанское! Учитесь!

Но научиться нашь Крутиковь не могь, и какъ онь жиль, одинь Аллахь вёдаль, да и тоть никому не сказаль. А вёдь этоть человёкь для такого бездомнаго и голоднаго существованія бросиль обезпеченное служебное положеніе, чиновничью карьеру, об'єщавшую ему чуть ли не вице-губернаторство въ близкомъ будущемъ! Быль онъ чиновникомъ особыхъ порученій при какомъ-то сатрап'є и самъ разсказываль:

на балахъ блисталъ и благотворительные спектакли съ превосходительными дамами устраиваль, и не безъ нъкотораго священнаго ужаса пояснялъ: декольте по самый экваторъ видълъ! Какіе балыки ълъ!.. Бывало, къ нему подходишь, а онъ уже слезу пускаеть, а во рту сливками таетъ! Икра зернистая-что твоя гречневая каша-такъ сама и разсыпается. Перчатки покупаль дюжинами. Въ Петербургъ онъ прівхаль съ цълымъ ворохомъ орденовъ и чемоданомъ очерковъ и разсказовъ. Ордена-точно птицы, живо разлетелись по закладчикамъ, да такъ, что впослъдствіи самое существованіе этихъ регалій Крутикову казалось соннымъ виденіемъ, и онъ разсказывалъ о нихъ: да, полно-де, было ли это или такъ, попритчилось? Очерки его и наброски были отмъчены истиннымъ дарованіемъ. Онъ рисовалъ мелкій мірокъ заброшепныхъ и униженныхъ людей, хранившихъ назло голодовкъ и обидъ великую искру Божію въ своихъ измученныхъ, озлобленныхъ и обиженныхъ душахъ. Какъ я теперь припоминаю-разсказы его выдёлялись необычайнымъ добродушіемъ, кротостью, незлобивымъ примиреніемъ съ ужасами нищеты, всепрощеньемъ, тишиною. Отъ нихъ вѣяло старой, глухой улицей, гдъ все безмолвствуетъ и таитъ про себя свое маленькое и, тъмъ не менъе, больное горе. Хотя бы ктонибудь собраль эти очерки въ одну книжку, все бы остался следокъ отъ этой скромной и трогательной жизни пеудавшагося писателя. Мнв до сихъ поръ представляется словно въявь круглое обвътренное лицо, красное, съ маленькимъ круглымъ краснымъ носомъ и наивными круглыми глазами, покраснѣвшими отъ въчнаго скитальчества по улицамъ въ поискахъ пожаровъ и убійствъ. Крохотная фигурка и тоже кругленькая, дробные шажки и тихій, будто извиняющійся въ никому не вѣдомомъ грѣхѣ голосъ. Иногда, впрочемь, послѣ неэжиданнаго угощенія, сытый, согрѣтый и разнѣженный Крутиковъ любилъ вспоминать о прошломъ величіи, когда онъ въ Костромѣ или гдѣ-то въ другомъ губернскомъ городкѣ былъ персоной и тоже вліялъ на судьбы міра. Но и эти разсказы вѣяли тѣмъ же добродушіемъ. Бывало живописуетъ нѣчто, по его мнѣнію, ужасное и думаетъ, что вселенная содрогается, а за столомъ вдругъ общій смѣхъ, и Крутиковъ недоумѣло моргаетъ на насъ заплывшими глазами.

Какъ-то встръчаю его огорченнаго.

- Что съ вами?
- Помилуйте, сколько "происшествій" пропустиль. Подлинно изо рту у меня кусокъ хлѣба отняли!
 - Больны были?
- Нътъ... Знаете. Туго подошло-штаны проълъ! Хозяйка свою кадавейку дала, спасибо ей. Да въдь дамская! Въ кацавейкъ на мостовую не выскочинь. Все, знаете, совъстно. Тоже, скажуть, сотрудникъ. Ну, и кутался въ нее дома. Повъсть написалъ-не съ къмъ было послать, такъ я ужъ вечеромъ, какъ стемнъло, къ Ильюшкъ ее снесъ и прямо на него напоролся. Увидель онъ меня, головой качаеть. Я запахнуться стараюсь, ужъ очень вся моя географія изъ-подъ нея видна, а онъ подлецъ: "Вы бы, говоритъ, у Тедески одъвались, какъ я, или у Сарра! Жить не умвете. Собственнаго достоинства нътъ у васъ. А то подите къ Альшвангу и прямо требуйте: пару платья сотруднику!" Ну, и я тоже не дуракъ. Замътилъ, что онъ въ хорошемъ настроеніи-даже въ красномъ жилеть-и сейчась у него три рубля выпросиль!

И при этомъ у самого такой видъ, точно не редакторъ его, а онъ редактора анаоемски обманулъ! И сконфуженный и торжествующій.

Души этотъ маленькій человѣкъ былъ изумительной. Что съ нимъ ни продѣлывали—оставался невозмутимъ, но несправедливость, оказанная другому, доводила его до неистовства. Не его вина, что это бѣшенство выражалось комически. Мы его въ такія минуты называли разъяренной устрицей, каплей, вышедшей изъ береговъ. Бывало, заболѣетъ кто—Крутиковъ уже около и сердоболитъ и изводится. Смѣялся онъ надъ самимъ собою—надъ другими часто плакалъ. Получилъ какъ-то Митенька съ нимъ небывалый гонораръ. Митенькъ пришлось рублей сорокъ, а ему около двадцати. Встрѣчаю его въ тотъ же вечеръ—бочкомъ пробирается.

- Дайте двугривенный. Ъсть хочется.
- Куда вы дъвали?.. Въдь сколько вамъ утромъ пришлось? Двадцать рублей, въдь это англійскій банкъ цълый!

Смутился, дробно затоптался. Старается въ шутку обратить, даже декламируеть: "Не говори съ тоской—ихъ нътъ, но съ благодарностію—были".

- Не дамъ, пока не скажете, куда дѣвали.
- Потерялъ!

Никто не повърилъ этому. И, дъйствительно, нашъ Крутиковъ, на сей разъ совралъ, но давай Богь человъчеству врать такъ почаще. Впослъдствіи уже обнаружилось куда Крутиковъ дъвалъ свои милліарды. Заполучивъ деньги, пошелъ онъ на рынокъ съ твердою, опредъленною и, какъ онъ самъ выразился, благородною цълью купить себъ за три рубля панталоны.

— Если, знаете, подержанные, но еще вполив приличные и даже эффектные.

Зажалъ деньги въ ладонь и уже съ презръніемъ смотрълъ на собственные экипажи, омары въ окнахъ Милютина ряда, брильянты на выставкахъ у ювелировъ. Наплевать ему на нихъ. Самъ онъ себя такимъ же чувствовалъ, если не больше.

— Иду, знаете, и думаю: богаче меня Утинъ съ Кокоревымъ или бъднъе.

И вдругъ прямо на него дѣвица.

Растерзанная и плачетъ.

Крутиковъ былъ до смъшного цъломудренъ. Мы за нимъ не знали похожденій такого рода. Едва ли они у него оказывались.

- Вижу, плачеть, а подойти боюсь.
- Почему?
- Ну, какъ же. Все-таки женскій поль. Я за ней—
 до моста дошель. Она опустила голову на перила и
 уже навзрыдь совсьмь. Я и справа и сльва. И жалко
 и страшно. А потомъ осмълился и спрашиваю: позвольте узнать мнѣ, въ какомъ вы это смыслѣ. Ну,
 она сначала обыкновенно: ахъ, ахъ, уйдите, уйдите,
 а потомъ вдругъ (сама послѣ объяснила: "увидѣла я,
 что вы такой смѣшной, ну, и болться перестала"):
 мать умираеть, а денегъ ни на лѣкарство ни на
 дрова. И еще хуже опять: ахъ, ахъ—и головой о перила! Ну, я сейчасъ... извѣстно...
 - -- Что?
 - Ну, понятно.
 - Что понятно?
 - Говорю: воть-и сунуль.
 - --- Всѣ?

— А то какъ же. Когда же разбирать... Въ ладони были зажаты. Для краткости всѣ. Народъ вѣдь набъгать сталъ. Тоже стыдно.

Да такъ и остался не только безъ эффектныхъ штановъ, но и безъ хлъба.

Какъ кончилъ потомъ Крутиковъ-не знаю.

Обстоятельства выхватили меня изъ столичнаго водоворота, и я долго жилъ въ сторонъ отъ всъхъ прежнихъ друзей, знакомыхъ и товарищей. Должно-быть, бъдный, маленькій труженикъ до конца оставался въренъ себъ. Ему не зачъмъ было мъняться—для Бога онъ и такъ былъ великолъпенъ. И когда теперь я вижу величественныхъ репортеровъ, разъёзжающихъ на отличныхъ лошадяхъ, получающихъ министерскіе оклады (справа или слева), играющихъ на бирже, умъющихъ отличать тонкія вина и поощрять опереточныхъ "дівицъ" фуроръ и шансонетныхъ звіздъ въ ихъ краткомъ странствіи по небесамъ загородныхъ кабаковъ-невольно вздыхаю о такихъ идеалистахъ, каковъ былъ Крутиковъ. Ему не передъ къмъ и не за что было красивть. Слово его бледное, заствичивое, но честное, совъстливое, теперь бы, пожалуй, не нашло себъ пъпителей. Хлесткость и наглость еще не становились у руля, и разные коммерческіе и антрепренерскіе синдикаты не приходили на помощь алчному, почуявшему свою силу кончику.

Но если Крутиковъ хорошо сдълалъ, что умеръне то совсѣмъ можно сказать о Волгинъ. Александръ Николаевичъ, "Чижикъ" тожъ, какъ онъ самъ именовалъ себя и въ жизни и въ подписяхъ подъ стихами и очерками. Изъ Крутикова никогда бы не выработаться крупному писателю, онъ всегда робко прятался бы въ задніе ряды, предоставляя переднія мъста болье счастливымъ или нахальнымъ товарищамъ. Да и дарование его не объщало развернуться шире. Въ немъ не было красочности, яркости, силы. Онъ писалъ точно ощупью. Но не то было бы съ "Чижикомъ". Я не зналъ въ тѣ времена юноши, который такъ поражалъ бы именно талантомъ. Онъ остался невъдомымъ потому, что предпочелъ быть первымъ въ деревнъ, чъмъ вторымъ въ городъ. Онъ не бъгалъ изъ тогдашнихъ маленькихъ изданій. Тамъ охотно печатали все то, что выходило изъ-подъ его пера. Онъ задавалъ тонъ остальнымъ и это его очень тышило. Митенька Караваевь быль влюблень въ него и считалъ "Чижика" чуть не геніемъ, хоть геніемъ тоть быль, разумбется, только въ своей клеткв. Въдь въ муравейникъ и пчела-орелъ! Волгинъ вполнъ удовлетворялся этимъ, умѣлъ работать много и колоритно. Живой, бойкій, иногда до заносчивости остроумный, никогда не позволявшій наступить себ'в на ногу, добродушный и уступчивый съ равными и наскакивающій пітушкомъ на тіхь, кто мниль себя выше его, веселый, порою, какъ настоящій чижикъ, и, случалось, задорный, какъ та же птица-Александръ Николаевичь оставиль по себъ чрезвычайно милое воспоминаніе. Онъ даже и издательскую жулябію, самъ иногда умирая съ голода, умълъ держать въ надлежащемъ решпектъ. Это былъ импровизаторъ по преимуществу. Сколько онъ написалъ и разбросалъ стиховъ и остротъ, юмористическихъ сценокъ, набросковъ! Онъ, какъ мотъ, швырялъ ихъ полною горстью, нисколько не заботясь о томъ, растрачиваеть ли онъ свой капиталъ, или нътъ. Я не помню его произведеній въ подробностяхъ, но общее воспоминаніе о нихъ-чего-то яркаго, юношески смѣлаго, свѣжаго,

веселаго-до сихъ поръ живо во миъ. Совствъ мальчикъ, онъ владълъ стихомъ удивительно и не толькостихомъ звучнымъ, но изящнымъ, полнымъ неожиданныхъ оборотовъ, чуждымъ "готовыхъ рифмъ и словъ", завязшихъ въ зубахъ образовъ, прівншихся до тошноты сравненій, на которыхъ выважали другіе! А этимъ другимъ несправедливая въ этомъ отношеніи судьба отвела гораздо болъе крупную роль. Онъ всюду умъль находить свое, и даже банальные сюжеты, попавъ въ его творческую лабораторію, перерабатывались въ немъ, утрачивая свою пошлость, надобдливость, скуку. Нъкоторое время мы вдвоемъ нанимали комнату у жены извъстнаго тогдашнимъ читателямъ Власа Точечкина (Богданова, кажется-морского доктора). Писаніе стиховъ у насъ обоихъ обратилось въ полное программное занятіе. Въ определенные часы мы садились за столъ (обыкновенно прямо съ постелей въ костюмахъ болъе чъмъ откровеннаго направленія!) и брались за перья. Между нами было установлено въ такіе священные часы другь съ другомъ отнюдь не разговаривать, и оба мы въ то время не только върили въ вдохновеніе, но думали, что музы къ своимъ избранникамъ могутъ слетать во всякую минуту, какъ только вы пожелаете бесъдовать съ сими парнасскими дамами. Мы писали и писали, изумляясь потомъ безвкусію редакцій, выбиравшихъ изъ всего нашего хлама только немногія строки. Волгину еще везло. Его творчество ръдко браковалось. Ужъ очень онъ подкупалъ и формой и юморомъ. Даже впадая въ сентиментальность, онъ обладалъ способностью не быть скучнымъ и слащавымъ. Мнъ приходилось тяжелъе. Но и при такихъ условіяхъ "Чижикъ" былъ бъденъ, какъ... настоящій чижикъ. Подобно извъстному Диккенсовскому герою онъ всю свою краткую жизнь мечталь о новой паръ платья, такъ чтобы она вся — плюсъ ботинки и шляна — была съ иголочки. Но-увы!-случалось обыкновенно иначе. Когда его сюртукъ поражаль своей элегантностьюсоединенные штаты у него украшались бахромой и блестьли на кольняхь, а заводились новые-на локтяхъ показывались лысины, и "жакетъ" просился въ отставку. А то вдругъ шляпа явилась такимъ несуразнымъ диссонансомъ, что "Чижикъ" самъ оглядывался по улицъ на прохожихъ, не очень ли они уже поражены этимъ вороньимъ гназдомъ. Съ бальемътоже возня. На него нужна изобрътательность, и побольше, чемъ на стихи. Рукавчики то и дело обивались, и Волгину приходится прибъгать къ разнымъ операціямъ. Образываетъ ихъ, а потомъ, смотришь, и образывать нечего. Рубашка съ отложнымъ воротникомъ сначала носилась налицо, а потомъ переворачивалась наизнанку — такъ что воротникъ несъ двойную службу. Начнешь, бывало, надъ нимъ смъяться, а Александръ Николаевичь съ азартомъ увъряеть, что въ Англіи нынче такая мода — не показывать бълья. "И для портрета лучше!"

- Какъ для портрета?
- Да такъ. Посмотрите—всѣ художники на портретахъ безъ бѣлья.
 - Вотъ тебѣ и на!
- Этотъ былый ошейникъ и рукава страшпо портять общій видь.
 - Да въдь сейчасъ вы не для портрета?
- Все равно... Мы, писатели, вѣчно должны быть какъ на выставкѣ. На насъ обращены глаза.
 - Въ родъ въковъ съ египетскихъ пирамидъ?

— Въ родъ.

Это съ грошемъ въ карманъ и съ объдомъ изъ полуфунта колбасы на двухъ!

Милый, сердечный и добрый товарищь, умъвшій такъ нажно и ласково встрачать начинающихъ и отстаивать ихъ передъ издательской каморрой, уже высоко его цънившей, онъ могъ выработаться въ крупную величину, будь тогда для этого болже подходящія условія. Увы! печать только рождалась и денегь у нея не было. А какъ тогда туго приходилось даже выдававшимся между нами "малыми"! Какъ-то зимою я и Караваевъ остались безъ пристанища. Денегъ не было ни копейки. Хозяйка держать не могла. Сначала она, какъ въ нынъшней цензуръ, дала первое предостережение-приказала не отпускать самоваровъ. За симъ последовало второе: выюшки были вынуты, и по третьемъ-нашу комнату сдали, и мы, вернувшись, нашли свои чемоданчики въ коридоръ, а у себя какую-то вольнонаемную девицу легкаго чтенія. Пріютиться было некуда. Еще съ заутрени-слава Богу! Но до заутрени плохо. Закроють въ два часа знакомый трактиръ, ну и болтайся до перваго звона и до появленія широкорукавныхъ батюшекъ на морозъ. Это въдь не лъто, когда подъ каждымъ кустомъ (особенно въ Александровскомъ паркѣ) оказывался и "столъ и домъ". Чижика передъ тъмъ я потерялъ изъ виду. Мы съ мъсяцъ не встръчались и на старой квартиръ. Блуждая, кажется, по Адмиралтейскому бульвару, я отогръвался мечтами о будущемъ великольній, при чемъ на маломъ не мирился. Я думаю, каждый бездомный бродяга мечтаеть и мечтаеть съ голода непремънно о милліонахъ. Дешевле не стоитъ, да дешевле въдь и не уравновъсить желаемаго съ дъйствительностью, -- не

такъ ли? Грезишь не иначе какъ о могуществъ, славъ, неотразимомъ успѣхѣ у самыхъ великолфиныхъ женщинъ. Командуешь арміями и непремѣнно на-голову побиваень врага. Завоевываень народы и ужасомъ проходишь по вселенной, но ужасомъ благод тельнымъ. Я убъжденъ, что въ каждомъ ночлежномъ домъ непремънно мысленно выгоняють англичань изъ Трансвааля въ безсонныя минуты, да еще какъ! Отхватываютъ у нихъ кстати и Капъ съ Дурбаномъ и основываютъ соединенные штаты южной Африки, - и основывають именно тъ, у кого собственные соединенные штаты и на коленяхъ, и въ шагу, и назади, и впереди для легкаго воздуха сплошь въ окнахъ. Если это писатель-то онъ пишетъ книги, которыя переводятся на всъ языки. Имъ изумляется вселенная, и имя бездомнаго странника благоговъйно повторяють даже въ Патагоніи. Голодные въ мечтахъ царствують, преобразовывають человъчество по самоновъйшимъ формуламъ, и все удается. Если онъ воображаеть себя првиомъ — ему аплодирують и Парижъ, и Римъ, и Петербургъ, и Европа, и Азія, и Америка. Онъ получаеть по десяти тысячь за выходъ, и дамы чуть не на коленяхъ встречають его у выхода. Это съ мерзлыми руками, краснымъ отъ стужи носомъ и пустымъ желудкомъ! Не будь этого самообмана, изъ Невы вытаскивали бы каждый день по сотнъ утопленниковъ, а зимою по улицамъ должны были бы устраивать спасательныя станціи у каждой проруби.

Такъ воть въ эту достопамятную ночь я кидалъ не помню уже который изъ моихъ будущихъ милліоновъ на переустройство человъчества и на благодъяніе всъмъ, кто теперь мнъ былъ близокъ. Караваеву милліонъ, Крутикову тоже, "Чижику" два и т. д. Они принимаютъ

и плачуть отъ радости, а я скромно ухожу въ сторону. При этомъ ѣсть мнѣ хотѣлось адски, и такъ было холодно, что я то и дѣло принимался бѣгать. И вотъ съ разгону вдругъ передо мною собственною своею персоною вырастаетъ и кто же—Александръ Николаевичъ Волгинъ, "Чижикъ" тожъ.

Я даже попятился отъ неожиданности!

— Что вы туть дълаете?..

И "Чижикъ" (не похоже на него!) высоком врно протягиваетъ мнв руку.

— Спать бы шли... Въ эдакій поздній часъ. Разв'є можно шляться до утра. Вообще вы ведете не гигіеническій "образъ жизни", и это, несомн'єнно, впосл'єдствіи отразится на вашемъ здоровь .

И уже съ негодованіемъ:

- Молодые таланты должны беречь себя для будушаго.
- Какое туть будущее и къ чему еще вамъ "образъ" жизни, когда у меня полное ея "безобразіе"...
 - Hy?
- Мнъ дъваться некуда. Остался, какъ видите, на улицъ.
 - Развъ у насъ въ Россіи остаются на улицъ?
 - Я первый.
- Эдакъ, пожалуй, скажете, что въ благословенномъ отечествъ можно и съ голода умереть.
 - Скажу. Напримъръ, я...
- Это будеть прежде всего не патріотично! Чѣмъ же намъ послѣ этого останется гордиться, котя бы передъ Лондономъ. А все оттого, что вы бездѣльничаете. Надо трудиться! Когда же и работать, какъ не въ молодости... Слава святому труду!.. Помните.
 - Ну, а вы чего же гуляете такъ поздно?

- Я,—и Волгинъ принялъ опять величественный видъ,—я другое дёло.
 - Почему?
- Обдумываю большую поэму. Мит нужна тьма и безконечность. Стты компаты давили бы ее... И, сверхътого, я изучаю ночную жизнь Петербурга.
- Не лучше ли вамъ домой вернуться? Кстати и я бы съ вами!.. Помъстился бы у васъ на диванъ.

И меня всего такъ и обдало тепломъ, потянуло лечь и уснуть.

— На диванъ?

И Волгинъ замялся.

- На диванѣ?.. Да, на диванѣ хорошо бы!—мечтательно проговорилъ онъ.
 - Такъ пойдемте.
- Видите ли. Туть особое обстоятельство... Ко мити нельзя.
 - Обзавелись дамой?
- Нътъ не то. А знаете, тутъ совсъмъ... необыкновенное.

И вдругь онъ, улыбаясь:

- Я въдь тоже!
- Что тоже?
- Въ родъ васъ!
- Напримфръ?
- -- Безъ квартиры... Omnia mea mecum porto.

И расхохотался, да какъ!

Думаю такого искренняго и веселаго см'та отродясь не слыхивали мрачныя и голыя, тоже озябшія въ ту ночь, деревья Адмиралтейскаго бульвара, хотя мы оба чуть не падали отъ усталости.

Оказалось, "Чижику" издатель не заплатиль гонорара, и квартирная хозяйка (вст онт однимъ миромъ мазаны!) ничего лучшаго не нашла, какъ и моя, взяла да и сдала комнату другому жильцу.

— Вхожу, знаете, къ себѣ, а тамъ посрединѣ господинъ въ трико и передъ нимъ пудель. Ейнъ-цвей-дрей—пудель хлопъ черезъ голову, опять: ейнъ-цвей-дрей—пудель на заднія лапы и давай ходить вокругъ него...

"Чижикъ" такъ и остался на бобахъ — обдумывать на улицахъ по ночамъ содержание своихъ будущихъ поэмъ!

Никогда еще наши мечты не были такъ ярки и неукротимы, какъ въ эту ночь. Валтасары и Сарданапалы! Ну, скажите, пожалуйста, что вы такое въ сравнени съ нами тогда. Мразь—и только. Во всякомъ случав не мыбы вамъ позавидовали.

Поэмъ этихъ, однако, никогда не явилось.

Меня здѣсь ужъ не было, когда Караваевъ написалъ мнѣ о смерти молодого поэта. Она въ литературѣ прошла незамѣченной. Даже петитомъ ее никто не удостоилъ. Траурныхъ Шапиро и Здобнова тогда еще не было и выставить портреты Волгина оказывалось некому, да едва ли "Чижикъ" когда-нибудь и снимался. Начались новыя вѣянія, журналы, гдѣ Волгинъ игралъ первую скрипку, или благополучно умерли, или преобразились. Еще недавно я встрѣтилъ одного изъ нашихъ тогдашнихъ "палачей".

- Какой это Волгинъ?—спросиль онъ у меня.— Развъ быль такой?
- Посмотрите-ка у себя въ долговыхъ книгахъ. Я. думаю, за вами ему и до сихъ поръ числится!
- Не помню, не помню! Васъ помню... A Волгина. нътъ.

Еще бы эта ракалія помнила! Теперь этоть престар'влый "палачъ" торгуеть, какъ. Чичиковъ, мертвыми душами, т.-е. продаеть право на разрѣшенныя ему газеты.

Кажется, Волгинъ умеръ отъ чахотки—не помню и я. Думаю только, что въ его могилу вмѣстѣ съ нимъ легло необычайное дарованіе... Въ безвѣстную могилу! О немъ было некому плакать, его никто не жалѣлъ. Ни родныхъ ни близкихъ. Изумительно случайное существованіе. Въ безсонныя ночи мнѣ и до сихъ поръ слышится его молодой веселый смѣхъ и видится маленькая фигурка непризнаннаго поэта съ тонкими и правильными чертами лица, съ искренними, полными юмора, задорными глазами и пѣтушинымъ хохломъ на лбу, мечтающаго о славѣ, благѣ, счастіи, обо всемъ, чѣмъ его только дразнила жизнь, и чего ему никогданикогда не выпадало на долю.

Воображаю, живи онъ теперь!..

Да, какая это была голодная и холодная жизнь, но зато сколько по временамъ врывалось въ нее радости, молодой, веселой, заразительной. И какъ незамѣтно тогда гибли силы, которымъ теперь велся бы особый счетъ въ широко, хотя и не прочно установившемся печатномъ дѣлѣ. Мы вѣдь для него сквозь вѣковыя заросли трудно и нудно пробивали первую просѣку. До насъ жилъ писатель сибаритъ. Писатель, для котораго литература—приватное занятіе, она не давала еще хлѣба. Онъ былъ прежде всего или помѣщикъ, или чиновникъ и послѣ—писатель. Писатели и только писатели пошли съ насъ!

Я даже дебютироваль тогда стихами объ одномъ изътакихъ—маленькомъ литераторъ. И это былъ талантъ настоящій, но надъ нимъ издатели только глумились, а въ добрыя минуты посылали ему двугривенные.

. — Ну, что, кто видълъ Салькова?

- R.
- Не окольль еще?
- Нъть, на дыбахъ...
- Живучая шельма. Ему, какъ щукѣ, темя проломили, а онъ все шевелится... Голодуетъ недѣлю и въ одинъ день на гривенникъ такъ отъѣстся, что опять готовъ мѣсяцъ на пищѣ св. Антонія сидѣть!

Св. Антонія изображають со свиньей подъ мышкой. Сальковъ также холиль издателя въ тѣ далекія времена, толстѣвшаго на его работѣ.

Вотъ эти стихи:

Жалкій, бледный и больной, Весь оборванный и грязный, Сдавленъ темной нищетой, Гнетомъ жизни безобразной: Глупо, дико тратилъ въкъ, Робкій, пьяный, непригожій, Даровитый человѣкъ У издателя... въ прихожей! Былъ и онъ когда-то смёль, Жилъ любовью и враждою И срывать съ глупца умёлъ Маску твердою рукою. Грозныхъ битвъ и тайныхъ драмъ Много сердце выносило, Подлецамъ отъ эпиграммъ Ядовитыхъ жутко было... Но угаснуль человѣкъ, Измельчалъ и опустился И къ издателю навъкъ Какъ холопъ закабалился.

Долго будеть жизнь итти Этой грустной колеею. Но на радостномъ пути Злою мачехой судьбою Будетъ брошенъ, наконецъ, И ему изъ сожалънья

Неожиданный вёнець
Безразсвётнаго паденья.
Глухо, темно кончить вёкь,
Жизнь свою покрывь позоромь,
Даровитый человёкь
Подъ издательскимь заборомь.

Сальковъ такъ и умеръ.
Кажется, на лъстницъ у издателя.
— Эдакая свинья, и тутъ напакостилъ!
Вотъ весь некрологъ надъ еще неостывшимъ трупомъ.

Да, теперь вамъ легко живется и удобно работается... Но иногда вспомните и вы тѣхъ, на чьемъ холодѣ и голодѣ, на чьемъ кровавомъ потѣ, слезахъ и страданіяхъ, бездомовничествѣ и одиночествѣ выросло ваше благополучіе. Вѣдь если вамъ хорошо, такъ именно потому, что въ свое время намъ было и дурно, и жутко, и тяжко!

V.

Изъ кухмистерской Митя Караваевъ вышелъ сытый и довольный.

Онъ еще пуще полюбилъ людей теперь послѣ разбавленныхъ водою щей и гнилой котлетки. Все кругомъ, казалось, принадлежало ему: и это небо, прекрасное и чистое сегодня, и эти громады каменныя, темничныя, гдѣ за безчисленными окнами, можетъ-быть, таилось неподозрѣваемое имъ страданіе... Молодость и сила требовали движенія, устали. Онъ самъ не зналъ, куда ходилъ по улицамъ и площадямъ, пока не попалъ въ лѣтній садъ. Старыя деревья еще не распускались. Только почки ихъ порозовѣли, точно налились кровью, но ни одна изъ нихъ еще не лопнула и не выпустила на свътъ Божій нѣжнаго зеленаго рубчика — перваго, мягкаго и дѣтскаго листка. Шелъ-шелъ Караваевъ по аллеямъ и ему представлялось: какой онъ въ самомъ дѣлѣ умный человѣкъ, что бросилъ "уѣздное болото" и выплылъ сюда на вольныя и глубокія воды. Ну, чего бы онъ добился тамъ—и ему даже сдѣлалось душно! Въ самомъ дѣлѣ! Весь свой вѣкъ провести никому неизвѣстнымъ, ничего не свершившимъ... Заплытъ жиромъ, уйти въ мелочи даже не жизни, — какая это жизнь — скорѣе прозябаніе! И мелочи-то невѣсомыя. Грошъ и тотъ вырастаетъ въ милліонъ, какъ станешь опѣнивать ихъ! А тутъ...

И въдь не ему одному будеть хорощо.

Ходилъ, ходилъ онъ и, почувствовавъ маленькую усталь, сълъ.

Мимо—сотни народа, и Митя пристально всматривается въ нихъ. Одинъ изъ этихъ сотенъ, такой же молодой, какъ и Дмитрій Николаевичъ, подошелъ и сълъ на туже скамью. Оба посмотръли другъ на друга. Второй насмъшливо улыбнулся.

- Вы, должно-быть, прівзжій?—заметиль онъ.
- А что?
- Такъ... видно... Талія у вась на затылкъ.

Караваевъ покрасивлъ, но, окинувъ сосвда критическимъ взглядомъ, засмвялся.

- А у васъ сюртукъ того... Куда старше васъ.
- Отчего...
- Да вонъ подъ мышками всть проситъ. Вы бы его покормили. Да и локти... Съ изъянцемъ... Хорошо бы этотъ глянецъ на сапоги перевести. А то ни на что не похоже. Сюртукъ вы, видимо, ваксой чистите—на сапоги ее и не хватаетъ.

И оба уже расхохотались.

- Давайте-ка будемъ знакомы. Вы кого въ Петербургъ имъете?
- То-есть какъ это?
- Есть у васъ друзья?
- Нътъ. Я только сегодня прітхалъ.
- А я здъсь уже три мъсяца!

Они подали другь другу руки. Второй номеръ былъ я.

- Вы зачёмъ же сюда?-спросиль Караваевъ.
- Экзаменъ держать въ университетъ.
- Ну, и что же?
- Провалился... Я, знаете, изъ кадетскаго корпуса,
 у насъ латыни не изучали.
 - А я ее понюхалъ, но меня стошнило.
- Тоже, значить, "убоялись глубины"... Теперь буду пока вольнымъ слушателемъ. А вы что думаете дълать?
 - Да ужъ не знаю. Стихи пишу.
- Hy!.. Вѣдь и я тоже. Вы, вѣрно, обо мнѣ слышали,—и я гордо назвалъ свой псевдонимъ.

Митенька сдълаль удивленные глаза.

- Неужели ни разу, нигдъ? Да вы читаете "Занозу"?
- Это что такое?
- Журналъ.
- Нътъ, у насъ въ городъ не получали.
- Ну, я вамъ скажу и отстали же вы!

Еще бы, что за невъжды не читають "Занозы" и не знають меня, ея усерднаго сотрудника. Можеть ли дикость и безграмотство итти дальше? Меня смъщило только то, что Караваевъ сконфузился.

Я непременно прочту

- То-то... Какъ же послѣ этого называться образованнымъ человѣкомъ?
 - Мы знаемъ "Искру".
- Ну, что "Искра"...—фыркнулъ я...—Тоже нашли. Мы въ "Занозъ" адски завидовали "Искръ". Въ ней сосредоточились лучшія силы тогдашней литературы, смотръвшія на насъ, какъ смотрълъ бы кто-нибудь съ высоты Александровской колонны на ползущаго по площади муравья, т.-е. не замъчая его. Въчною мечтою, и мечтою честолюбивой, у насъ было—попасть въ "Искру". Сказать правду мы и толкались туда, но неудачно. Меня, напримъръ, встрътило полнъйшее фіаско. Василій Степановичъ Курочкинъ повертълъ, повертълъ мою рукопись... Я, едва дыша, жду... Что-
 - Вы ужъ печатались гдф-нибудь?

Какъ же...—Я думаю, что у меня даже волосы покраснъли при этомъ.

— Гдѣ?

то онъ скажеть?

И онъ ужъ взглянулъ на меня повнимательнъе.

- Пожалуйста, присядьте. Гдв же вы печатались?
- Въ "Занозъ".
- Чего-съ?
- Въ "Занозв".

Курочкинъ насмъшливо улыбнулся.

- Ну, и пожалуйте съ вашими стихами туда же.
- Вы ихъ не читали? Я бы ихъ вамъ оставилъ.
- Нътъ ужъ, зачъмъ же... Намъ изъ "Занозы" не голится.

Такъ я и побрелъ обратно, опустивъ и хвостъ и голову, какъ побитая собака.

— Нѣть, знаете, "Искра" все-таки...— робко вставиль Караваевь.

- Тамъ иногда попадаются недурныя вещицы, великодушничаль я... Но какъ же сравнить... Помилуйте!
- А вы меня познакомите съ редакторомъ?
- Съ Розенгеймомъ?..
- Да... Завтра.
- Завтра... Ну тоже и вы придумали...
 - А что.
- Да я у него въ счеть взялъ... Знаете... А написать еще ничего не написалъ... Цълые пятнадцать рублей...
 - Такъ вы напишите.
- Вдохновенія не было, —покраснѣлъ я. Нельзя же такому новичку, какъ Караваевъ (я вѣдь все-таки былъ на три мѣсяца старше его въ литературѣ), сознаться, что Розенгеймъ вернулъ мнѣ весь послѣдній урожай моихъ стиховъ да еще ругнулъ при этомъ: Ну, батюшко, чѣмъ это васъ прослабило! Чортъ знаетъ, чего вы тутъ не наваляли. Вѣдь у меня не помойная яма, нельзя же все, что вамъ взбредетъ въ голову, бросать мнѣ!"
 - А мив онъ впередъ дасть?
- Ну, на это они туги... Вы знаете, недавно "Чижикъ"...
 - Это еще что?
 - Геній!
 - Какъ?
- Настоящій геній. "Чижикъ"—его псевдонимъ. Понимаете—онъ Волгинъ, но подписывается "Чижикомъ". Ну такъ онъ только и могъ сорвать авансъ "на построеніе носа!"
 - Что?

- На построеніе носа. Ув'єриль редактора, что забол'єль, и нось у него въ опасности. А что, у вась, в'єрно, денегь н'єть?
- Напротивъ, есть!—И Караваевъ даже принялъ гордый видъ.
 - И много?
 - Послъ сегодняшняго объда восемь рублей.
 - Только-то!
 - У меня комната за недълю впередъ оплачена.
 - Ну, на это не разойдешься здёсь...
- Я съ собой привезъ много стиховъ. Если по четвертаку за строчку...

Я только засвисталь.

За мною уже быль опыть, и я хорошо понималь, что значать въ Петербургъ восемь рублей.

— Чай и сахаръ у меня есть. Пока стихи прочтуть, я пробыюсь. Хотите ко мн'ь — хозяйка поставить самоваръ.

Мы пошли.

Я думаю, на насъ всё оглядывались. Болёе веселой и беззаботной пары давно не видёль Лётній садъ. Можно было подумать, что намъ принадлежать всё сокровища Голконды, и завтрашній день можеть заботить кого угодно, только ужъ никакъ не меня съ Караваевымъ. Мы задёвали проходившихъ мимо непрошенными замёчаніями. Я со-слёпу наткнулся на какуюто сугубую персону съ животомъ на выносъ и такими бровями—издали было видно, что ихъ мановенія трепещутъ сотни подначальнаго люда. Особа пошатнулась, побагровёла и вдругь, окинувъ меня негодующимъ взглядомъ, изрекла:

- Поросенокъ!
- Папаша!-кинулся я къ нему на шею

Юпитеръ остолбенъть, пошевелилъ перстами, еще больше налился кровью, вотъ-вотъ лопнетъ... Но мы уже со смъхомъ уходили прочь...

- Вы знаете, —дъловымъ тономъ обернулся ко мнъ Митя, —у меня есть сосъдка.
 - Ну?-нахмурился я.

Мы относились къ женщинамъ, какъ къ святынъ. Жизнь первыя школьныя очарованія наши не забросала своею грязью. Даже по вечерамъ на Невскомъ мы заговаривали съ "дѣвицами", краснѣя и чувствуя, что въ груди сладко и нѣжно замираетъ что-то, а отъ "дешевой" ласки хотѣлось плакать, и сердце билось и голова горѣла. Мнѣ казалось, что Караваевъ немного легкомысленно отнесся къ женщинѣ, такъ "сразу" заговоривъ о ней.

- Ну... И что же. Вы ее видъли?
- Нѣтъ, —покраснѣлъ онъ, —только разговаривалъ. Она меня хотѣла сегодня напоить чаемъ. А вмѣсто того мы ее угостимъ. Взяла съ меня объщаніе мармеладу ей принести. Десять копеекъ полфунта, есть такой.
 - Вы это что жъ, съ какой цѣлью?
 - Мармеладъ? Ъсть будемъ.
- Не мармеладъ... А ее?.. Къ женщинъ слъдуеть относиться съ уваженіемъ.
- Да что вамъ въ голову пришло! Возможное ли это дъло.
 - То-то!

Въ тъ времена мы могли бы смъло выступить на состязание Монтіоновской преміи за добродътель.

Благоговъя передъ геніемъ "Чижика", мы презирали его за то, что онъ уже зналъ женщину, у него даже была какая-то любовь, слишкомъ легкая, по нашему миънію.

Но... въ глубинъ души адски ему завидовали! "Циникъ", а какъ бы намъ хотълось быть на мъстъ этого пиника!

- Вы мармеладу. А я колбасы и ветчины.
- Зачвиъ?
- Бсть... Съ чаемъ вкусно... И бубликовъ.

Къ Димитрію Николаевичу мы поднялись нагруженные тюричками. Финансы наши были въ одинаковомъ положеніи, и потому первый нашъ пиръ мы поровну устроили на общій счеть. Не успѣли мы войти въ комнату, какъ въ "стѣну" налѣво застучали.

- Это вы?
- Я. съ.
- Это она, тихо проговорилъ Караваевъ.
- Мармеладу купили?
- И варенья.
- Видите ли, какой вы умница. А у меня сейчасъ самоваръ будетъ.
 - Только я къ вамъ не могу.
 - Это еще что за моды!
 - -- У меня пріятель... Я не одинъ.
 - А онъ такой же, какъ вы?
 - То-есть?
 - Хорошій?
 - А почему вы знаете, что я хорошій?
 - Ужъ такъ... Чувствую.
 - По голосу, что ли?

Она расхохоталась.

— Я у васъ была. Всѣ бумаги переворотила и стихи ваши читала. Мнѣ они нравятся. Ну, идите ко мнѣ съ вашимъ пріятелемъ.

Я помню, что лица у насъ обоихъ сдълались необыкновенно торжественными. Митя взъеронилъ во-

лосы, я, напротивъ, ихъ пригладилъ. Опять навьючивъ себя тюричками, мы пошли туда... Въ полумракъ коридора двери сосъдки были отворены, и тамъ вся на свъту стояла она.

— Покажитесь-ка, покажитесь.

Мы оба шаркали ногой, но не могли подать руки. Руки были заняты.

- Господи, да какіе вы молодые!
- Ну вотъ! обидълся Митенька.
- Сколько вамъ?
- Двадцать, -совралъ онъ.
- А вамъ?
- А мив двадцать два! "Ужъ врать, такъ врать".
- И вотъ, неправда... Я вижу. Вамъ по шестнадцати, много-много по семнадцати! Я люблю молодыхъ. Мнѣ самой восемнадцать. У молодыхъ гадостей на умѣ нѣтъ. А старички—смотрятъ: отъ одного ихъ взгляда тошно. Свиньи старички, вотъ что. А молоденькіе прелесть, съ молоденькими ай какъ весело,—такъ весело, такъ весело!

Сыплетъ словами и сама какъ волчокъ возится, то съ одной стороны стола устанавливаетъ что - то на тарелочкахъ, то съ другой, мгновене — и она ужъ топчется въ коридорѣ, бѣжитъ на кухню и все это, ярко поблескивая глазками и смѣясь во-всю.

- Васъ Митенькой звать?—обернулась она къ Караваеву.
- . Димитріемъ Николаевичемъ.
- Ну, какой вы Димитрій Николаевичь. Походите еще и въ Митенькахъ, что у васъ на губъ-то... Пушокъ еще... и губы какія... мягкія, вкусныя, должнобыть.

Митенька сгоръль подъ откровенный хохоть Лизы.

- Что это вы говорите?
- Неужели еще ни съ къмъ не цъловались? Такъ я и повърю!

Моего новаго пріятеля въ потъ ударило.

- Зачъмъ цъловаться! Съ Софкой, правда, цъловался, только она мнъ двоюродная...
 - Кума? Двоюродная кума?
 - Нѣтъ, сестра.

Лиза внимательно взглянула на Митеньку.

- А відь я, пожалуй, и повірю вамъ, что вы ни съ кімъ не ціловались. Зачімъ же у васъ въ стихахъ? Какъ это: съ первыми розами чудной весны—мы полюбили другъ друга.
 - Такъ развѣ, если любятъ...
- Непремънно цълуются. Что жъ это за любовьтакая? Я бы не выдержала, сейчасъ бы воть такъ.

Она была очень мала ростомъ. Взяла Митеньку за плечи и приподняла къ нему свою веселую румяную мордашку. На цыпочкахъ вся такъ и потянулась къ нему.

— Чего же вы, глупый!

У Митеньки даже кожа на головъ заходила.

— Ну...

Схватила его за голову и насильно чмокнула юношу, и, точно лизнувшая сливки кошка, заоблизывалась.

- -- Вкусно!
- Развъ такъ можно!...
- А я страсть люблю. Только не съ къмъ.

И глаза у нея совсѣмъ разгорѣлись.

— А еще Димитрій Николаевичь. А самъ въ глаза миъ смотръть не можеть. Настоящій ребеночекъ, Митенька... Агу, Митя, агушеньки...

Лиза была вся круглая, съ яркимъ румянцемъ, веселыми и лучистыми карими глазами и крупными, точно принухлыми губами. Молодость такъ и била въ ней ключомъ. Она и прятаться не умъла. Вотъ ужъ именно, что на душъ, то и на языкъ...

- Я васъ какъ въ щелку сегодня увидала, такъ и ръшила: "мой будетъ".
 - Въ какую щелку?
 - А вотъ.

Очевидно, прежде изъ ел комнаты въ коридоръ, часть котораго обратилась въ Митенькину комнату, была дверь какъ разъ противъ постели моего новоявленнаго друга, дверь эту задълали даже не досками, а просто какимъ-то картономъ и старыми обоями. Какъ разъ противъ изголовья Караваева они отодрались и стоило только ихъ приподнять—въ трещину картона отлично была видна подушка.

- Вы сегодня какъ заснули, я и посмотръла. Думаю, ну и амурчикъ.
 - А кто туть прежде жиль?

И мнѣ въ голосѣ Митеньки послышалась ревнивая нотка.

- Чудотворъ.
- Какой?
- А какіе пьяные чудотворы бывають? Старый, грязный, скверный. И какъ только не въ себъ, сейчасъ изъ разныхъ комедій геройствуетъ. Его хозяйка прогнала.
 - За что?
- Вмѣсто денегъ стихами ее отчитывалъ. Встанетъ этакъ, руку вытянетъ и сейчасъ: "Доколь, презрѣнная, въ ничтожествъ своемъ—ты павшее величіе терзаешь". Я даже выучила. Ко мнъ было сунулся, я его скал-

кой... Онъ мив и говорить потомь: "Ты, дура (это—я!), такъ человъка, пожалуй, убъешь..." А по ночамъ какъ храпълъ и все по-разному... Вотъ что, если вы думаете, что я сама понесу самоваръ, очень ошибаетесь. Я и вниманія не возьму. Вы сильный,—обратилась она ко мив,—подите въ кухию и тащите.

Я немедленно отправился исполнять ея порученіе, и когда верпулся, таща пыхтівшую машинищу и отводя лицо оть клубовь пара, которыми она точно націливалась въ меня, Митенька и Лиза сиділи въ разныхъ концахъ комнаты, при чемъ мой пріятель былъ красенъ и взъерошенъ, а Лиза лукаво улыбалась и слегка постукивала носкомъ въ полъ.

— Ну, теперь я стану хозяйничать...

Хозяйничала она удивительно, и мы всё хохотали ея выходкамь, да такъ, что въ самый неожиданный моменть въ пріотворенную дверь показался утиный носъ хозяйки.

- Лиза... Потише.
- Чего еще?
- Такъ, потише. У меня мигрень.
- У васъ Екатерина Аванасьевна мигрень всегда, когда другимъ хорошо. Нешто я у себя не могу. Вѣдь не дебоширимъ. А такъ...

И, когда утиный носъ скрылся, она закончила:

— Тьфу, противная. Терпъть ее не люблю. Какъ разбогатью, сейчасъ съъду. Я въдь, Митенька, бъдная. Ужасно бъдная. Вы знаете, сколько я отъ давальцевъ зарабатываю,—случается, и ночь не спишь. Тутъ купчиха Жемчугова дочь выдавала замужъ за офицера. Не слышали—Лампасовъ? Онъ изъ жандаровъ. Гордый такой, точно полякъ. Ходитъ журавлемъ, подумаешь, страсть какой грозный. Ну, такъ я приданое бълье

шила. Двъ недъли по три часа спала въ день, да и то урывками. А все никакъ больше шести гривенъ въ сутки-то не нашьешь. Если кругомъ считать. Ну, да еще за папеньку пенціонъ получаю, семь рублей въ мъсяцъ. Папенька у меня былъ значительный. На шеъ у него крестъ былъ. Вы не думайте, я не изъ простыхъ. Мы—чиновники. Только не ученая—читать выучилась да писатъ, вотъ и все. Папенька умерли — мы съ маменькой и остались кругомъ вдовы.

- А ваша мама жива?
- Давно померла. Я у тетки жила, да сбъжала.
- Жестоко обращалась она съ вами?
- Ну, воть, какой жестоко! Коли бы жестоко отчего же строгости не выдержать. На нашу сестру строгость нужна. Мы безъ строгости сейчась себя потеряемъ. Нѣтъ, она все ласково такъ; точно въ канавкъ журчить: "Милая, прими, безъ меня купецъ придеть. Онъ богать... Ты съ нимъ попривѣтливѣй". А у купца глаза-то какъ выкатятся — мнѣ и страшно, точно къ разстрълу меня передъ ними посадили. А то вздумала меня въ садахъ показывать. Кто ни заговорить съ ней, она сейчась съ полной охотой: "У меня племянница кроткая, ей Господь за ея добродътель долженъ хорошаго человька послать, который съ деньгами". Сначала я дура была, ничего не понимала. А разъ завезла она меня въ казармы къ офицеру, пошепталась съ нимъ и говорить мнъ: "Ты, Лизанька, посиди. Я сейчасъ!.. И ушла. А офицеръ, знаете, храбрый такой, цапъ меня обоими лапами. "Ты, говоритъ, должна меня любить". Едва выскочила, вся оборванная, потому что онъ все снять хотель. Такой подлець. Ну, я это поняла и ушла. Теперь работаю. Нешто за деньги любять? Воть я Митеньку могу полюбить, онъ

бъдный, какъ и я. Намъ любиться - то и не гръшно. А что-бы молодость свою продавать? Такъ я не такая! У меня папенька въ вицмундиръ ходилъ, и вдругъ съ моей стороны — низость. Какъ же это? Второй годъ я ушла отъ тетки. Едва паспортъ свой получила.

- А вы ее встрѣчаете?
- Кақъ же...
- Ну, и что она?
- Я вамъ говорю, точно въ канавкъ журчить. Я тебъ (это мнъ-то!) добра желала. Офицеръ озолотилъ бы тебя. На своихъ лошадяхъ ты бы каталась, шелки да бархаты носила. Онъ, еще ничего не видя, по благородству своему, сотенную мнв подариль. А если ты бы себя оправдала, такъ онъ бы на ладошкъ тебя къ небу подняль, чего ты и не стоишь. Ты, говорить, думаешь, вашей сестры, молоденькихъ дурочекъ, мало? Сколько угодно, и всъ какъ стали бы меня благодарить. Къ Спасителю бы на Петербургскую сторону ъздила другая молебны за меня служить. Что вы думаете, офицеръ-то какой: онъ и туть меня не оставилъ. Все конфеты мнъ возилъ. Ну, да я ихъ въ окно, на дворъ. Вотъ-де твои подарки гдъ. Подъ окномъ у меня помойная яма. Отсталь. Встрътиль третьяго дня. "Здравствуйте, Лизанька", кричить. Ну, я точно не слышу, иду себъ. А онъ мнъ въ слъдъ трещить по тротуару саблей и шпорами. "Когда же вы, говорить, согласитесь раздёлить мое чувство? Я по васъ совсёмъ истерзался". А у самого морда поперекъ шире. Чего добраго лопнеть, какъ спълая ръпа. Разумъется, наша сестра въ свое время должна потерять себя. Такъ уже по любви, чтобы хоть немного счастья было. Самое маленькое, да мое; не купленное, не проданное. Вотъ-

я какъ разсуждаю. А тетя говорить: ты это по своей глупости.

Мы, разумъется, возмутились.

Митя тотъ больше пыхтълъ, но я сейчасъ соловьемъ: о призваніи женщинъ, о святости любви, о жизни для подвига. Слушала, слушала меня Лиза и вдругъ:

- И все это вы не то... Тетка та по своей подлости, а вы по благородству. Только ни у нея ни у васъ не выходитъ по-настоящему.
 - Какъ такъ?
- Разумбется. Точно мы куклы какія, завели насъ, мы и вертимся, а пружинка-то - фрръ-фрръ!.. Нътъ, это не такъ. Кому по мнъ больть? Родныхъ у меня нътъ, мать плакать не станетъ. А счастье, что оно есть, каждая понимаеть по-своему. Гдв мнв нравится, тамъ и счастье. Долга, вы думаете, наша молодость? Съ работы-то живо облетитъ. Наша сестра — три - четыре года и вся точно травка осенняя. И глаза потухнутъ и щеки ввалятся. А чтобы кровью - то лицо играло, подите поищите. Такъ ужъ, коли хочешь отограться, люби, пока можешь. Я вадь до сихъ поръ не любила. А только часами шьешь и все думаешь, все думаешь. Руки иголкой, а голова Богъ въсть гдъ. Все облетаешь, обо всемъ помечтаешь. И вотъ что я скажу. Какъ полюблю, ни у кого не спрошусь. И не только не спрошусь, а такъ что минуты ждать не стану, бери меня всю, какая я есть. Солнышко недолго свътить. То штору спустишь - работать мъщаеть, въ глаза прямо, а черезъ полчаса—гдѣ оно? За крышей! И темно и пальцы не такъ быстро строчку нижутъ. Значить, надо хватать ее, минуту-то, пока она свътлая да веселая. У меня подруга была. Мы вмъстъ съ нею шить учились. Померла вна — слабенькая росла

да худенькая и все кашляла. Я къ ней въ больнипу пришла, она мив и говорить: "Ночи не сплю, нътъ сна, да и только. Открою глаза и смотрю въ уголъ, а въ углу точно шевелится что-то. И все я о томъ безпокоюсь, какъ я жила до сихъ поръ. Если бы Богъ здоровья далъ, сейчасъ же я бы всю эту глупость бросила, чтобы себя беречь. Потому что бережемъ мы себя, бережемъ и никакой радости не знаемъ, а для чего. -- для могилы въдь. Ни себъ ни собакамъ! Нашла бы человъка по сердцу и такъ бы его стала любить! Не вернешь, что потеряла, а жизнь вся съ куриный носъ, и радостей въ ней, какъ коть наплакалъ!" Такъ она точно просвътила меня - все я поняла. Дня черезъ два умерла, я и вспомнила, какъ она говорила мив это. Слова-то - словами, а въ глазахъ такая тоска. Нътъ, это богатымъ хорошо выбирать да ждать. А намъ, бѣднымъ, которая не хочетъ продавать себя, одно следуеть-найти человека по сердцу и радоваться вмъсть съ нимъ. Такъ и работа будеть слаще. И горе легче. Вы что думаете: воть вы оба умные, образованные и такое говорите, что я не все понять могу, особенно, если слова не настоящія у васъ, не такія, которыя каждый день слышишь. А все-таки жизнь, какая она есть, всамделишняя, -я ее больше понимаю. Почему что у меня ея мало, да за моей работой я о ней думаю много, а вамъ некогда. Вы отъ книжки къ книжкъ, отъ стиха къ стиху, что ли... А тамъ погулять надо, пріятеля встрътите, сейчасъ съ нимъ о томъ и о семъ. Наединъ - то вамъ и не приходится самимъ съ собою. А въдь безъ этого, безъ того, чтобы одной-ничего толкомъ не обсудишь, все будеть чужое, не свое...

VI.

Когда я уходиль, Митя съ нашею новою знакомой пошли меня провожать.

Лиза хохотала всю дорогу.

 Воть какая я франтиха. Вы что думали, я шляпку себъ сама сдълала.

Шляпка на ней была прехорошенькая.

- Купила каркасъ... Обръзковъ у меня много было я и отдълала. И дешево и сердито... Вы видъли толстый какъ на меня оглянулся.
 - Такъ это не на шляпку.
 - А на что же?
 - На то, что подъ шляпкой.
- Батюшки! Митенька, вы умъете говорить комплименты...

И Лиза всплеснула руками.

— А воть на перчатки сбиться трудно. Хоть и стыдно, ишь, у меня руки какія. Исколотыя, грубыя. Красныя. Точно говядина.

Назадъ зато оба смолкли. Точно при мнѣ имъ говорилось свободнѣе. Самъ Караваевъ потомъ разсказывалъ, — тутъ бы ему развернуться во всю, а онъ точно воды въ ротъ набралъ. И Лиза тоже хвостъ поджала и губы ей точно свело. Начала-то бойко:

- Вы, Митенька, подъруку умвете?—предложила она.
- Наука не трудная! конфузился юноша.
- Ну-ка, сдълайте крендель... Вотъ такъ, ай, да мы! Говорятъ медвъдя и то плясать обучають.

Она продвинула руку и пошла съ нимъ, все больше и больше теряясь. Только передъ самымъ домомъ уже робко заговорила:

- Скажите, вамъ со мною не стыдно?
- Съ чего вы это взяли?
- Такъ; я вѣдь совсѣмъ простая. А вы привыкли, поди, съ настоящими барышнями.
 - Всъ эти барышни вмъстъ одной васъ не стоять.
 - Ну? Побожитесь! Не врете?
 - Ей Богу. Вы посмотрите на себя и на нихъ.

Она шаловливо прижалась къ нему:

- Вотъ я васъ дъйствительно не стою.
- Это почему? Скажите, пожалуйста, что еще выдумали.
 - Разумъется, вы красавчикъ!
- Я-то. Только что собаки на меня не брешутъ, да носъ на мѣстѣ.
 - Я, ей Богу, такихъ не видъла.
 - Ну, ужъ тоже нашли-важное кушанье!
- Видите, какой вы хорошій. Какъ же васъ да не полюбить? А вы?
 - Что?
- Вы меня полюбить можете? А?.. Ну, да что вы молчите? И голову отворачиваете. Туть ничего стыднаго нътъ. Я никому отвътомъ не обязана. Что хочу, то и дълаю. И вы тоже. Нешто вамъ надо кого спрашиваться... Да говорите.

И она толкнула его въ бокъ.

- Невѣжливо такъ, неглежа. Дѣвица спрашиваетъ, а вы не отвѣчаете.
 - Что именно?
 - Вы меня полюбите?

Митя чуть не задохнулся. Что-то горячей волной прилило ему къ горлу, туманомъ вокругъ головы поднялось и все заслонило.

- Я, можетъ-быть, и теперь ужъ.

- Что? Что теперь? Да ну!
- Люблю васъ...
- Ну!.. А какъ вы любите?
- Я не умъю говорить... Не пробовалъ еще никогда съ такими.
 - Съ какими такими?
- Какъ вы. Вы для меня точно Богъ. Я бы на васъ молиться сталъ.
 - Ну, еще-еще.
- Вы знаете, сегодня... мнѣ даже плакать захотьлось.
 - Когла это?
- А вы про себя разсказывали. И потомъ я подумалъ — можетъ такъ случиться, что я васъ больше не увижу.
- Воть тебѣ и на. Зачѣмъ же? Развѣ вы уѣзжать хотите?
 - Нътъ... Но вы...
- Я никуда не уйду, вся тутъ. Пройдемтесь еще, домой не хочется.

Они миновали свои ворота. Улица была пустынна... Обоимъ такъ хорошо молчалось, что ни она ни онъ не говорили ни слова. Митя чувствовалъ теплоту ея молодого тъла. Лиза на ходу прижималась къ нему. Ему все больше и больше кружило голову.

- -- Ахъ, какъ хорошо!
- Что хорошо?
- Съ вами. Я точно давно васъ знаю, и цѣлый вѣкъ мы идемъ вдвоемъ. Такъ бы и не разставаться.
 - Устанете... Или я надовмъ.
 - Вы?!

· И столько удивленія сказалось въ его восклицаніи, что Лиза вспыхнула и засмѣялась.

- Выдумаете! Вѣдь я не интересная. Развѣ я могу по книжкамъ разговаривать или по-вашему стихи читать. Мнѣ и некогда.
- И не надо. Я бы все смотрѣлъ на васъ, не сводя глазъ.

Онъ наклонилъ голову и поцеловалъ ея руку.

- Развѣ можно? Что вы!
- Я и забыль, что мы на улицъ.
- Да нѣтъ. А такимъ, какъ я, рукъ не пѣлуютъ. У меня и руки не такія.
- Я уже вамъ сказалъ, что вы лучше всѣхъ. А можетъ-быть, и есть лучше, только я не видѣлъ. У насъ дома барышни такія всѣ скучныя, не простыя. Съ ними и не знаешь какъ даже. Подожмутъ губки и критикуютъ.
 - Что?
- Критикуютъ. Насквозь тебя высмѣютъ. Мнѣ Софка разсказывала, какъ онѣ про меня за глаза-то. Нѣтъ, съ ними не хорошо.

Ходили, ходили. Лиза устала.

- Ну, теперь домой...
- . Уже!
 - Да. Пора. У меня завтра рано работа начнется.
 - Не хочется прощаться съ вами.
 - Надо!

На лъстницу къ себъ они входили медленно-медленно. Митя осмълился до того, что самъ поцъловалъ ее, а поцъловавъ, почувствовалъ, что вся она къ нему такъ и тянется. Нарочно пріостанавливается на ступеняхъ, ожидая, что опять онъ ее поцълуетъ. У самой двери, только что онъ хотълъ позвонить, она схватила его за руку.

— Что вы?..

Погодите. Посидимъ еще вдвоемъ на подоконникъ.

Было тихо. Мимо кралась кошка и, увидавъ Лизу, замурлыкала.

— Маруська! Ты куда?

Маруська на бархатныхъ лапкахъ подошла и давай толкаться носомъ въ ея ногу — погладь-де, а потомъ собралась комочкомъ и прыгъ ей на колъни. Стали ее гладить Лиза и Димитрій Николаевичъ, и руки ихъ встрътились и не хотъли больше отрываться одна отъ другой. Кровь ходуномъ ходила въ немъ. Лицо его горъло, и онъ чувствовалъ, что и дъвушкъ не по себъ. Прислонилась къ нему плечомъ въ плечо, дрожитъ вся. И отъ ея щекъ такъ и пышетъ огнемъ. Помурлыкала-помурлыкала Маруська, видитъ—до нея никакого дъла этимъ счастливцамъ, спрыгнула и побъжала прочь... Со двора донеслась пъсня. Должно-быть, у мастеровыхъ напротивъ... И опять тихо, только обоимъ слышно, какъ сердца у нихъ быотся. Лиза положила къ нему голову на плечо...

— Митя... милый... мой Митя... Точно для меня прівхаль сюда. Знала я будто, для кого мнв себя беречь... Мой! Да? Мой?

Онъ кръпко прижалъ ее къ себъ.

— Крыпче, крыпче... Отымуть!—смылась она тихотихо, потомъ обвила его шею руками и припала къ его губамъ, точно всю его жизнь хотыла выпить...

Внизу послышались шаги.

Кто-то подымался сюда. Оба соскочили и преувеличенно громко заговорили въ одно и то же время о чемъто постороннемъ. Зазвонили.

Дверь отворила хозяйка.

— До свиданія!..

— Прощайте.

Церемонно пожали руки другь другу и пошли: она къ себъ, а онъ рядомъ въ свой непривътный уголокъ... Госноди! Какъ все слышно. Точно она у него. Вонъ снимаетъ шляпку, кофточку сбрасываетъ. Напъваетъ что-то. Подошла къ раздъляющей ихъ стънъ. Остановилась. Молчитъ и онъ, смотритъ туда... Обои шевелятся, въ нихъ просовывается пальчикъ... Онъ его схватываетъ, пълуетъ. Палецъ прячется.

- Митя?
- Что вамъ?
- Я "вамъ" не хочу.
- А какъ же?
- Скажите: Лиза, "ты".
- А сами вы говорите: "скажите".
- Ну, хорошо: скажи "Лиза, ты".
- Лиза, ты...

И голосъ у самого дрогнулъ.

- Лиза, ты—дрянная, дрянная дівочка.
- Лиза, ты-чудная, милая девочка.
- Повторяйте, что я говорю: дрянная... Я такъ хочу.
- Ну, "дрянная".
- Нѣтъ, именно: "дрянная, зачѣмъ все оставляешь меня одного и не зовешь къ себѣ, вѣдь ты отлично знаешь, что самъ я ни за что не приду".
 - А вотъ возьму и приду.
- Повторяй... Пожалуйста, не смъй ничего отъ себя. Хоть немного дай мнъ повеличаться. Ну...

Онъ исполнилъ ея желаніе.

— Димитрій Николаевичь, сдълайте ваше одолженіе. Окажите такую любезность, придите ко мнъ на чашку чаю...

И она разсмѣялась.

Волны.

Почему-то на цыпочкахъ, точно его могутъ разслышать, онъ пошелъ къ ней. И когда взялся за ручку ея двери, та точно обожгла его. Вошелъ—темно. Лиза спустила сърую штору, а огня не зажгла.

— Ау... Гдв я...

Онъ пошель на голосъ — вдругъ "ау" послышалось позади. Онъ туда, и, когда она хотъла шмыгнуть мимо, поймаль ее за руку, притянуль къ себъ. Около было старое оборванное кресло — широкое. Лиза потянула его. Онъ поневолъ усълся, она мигомъ примостилась къ нему на колъни.

- Я тоже, какъ Маруська... Слышишь—ты долженъ теперь всегда говорить мнѣ "ты". А какъ звать ты меня будешь?
 - Лизой!
 - Ну вотъ, ты придумай что-нибудь.
 - Киской.
- Не хочу... Вотъ что, я тебя буду Мими, а ты меня Лилькой. Хочешь... Мими!...

Прижалась къ его щекъ своей...

Тихо, тихо. Целая вечность плыветь сквозь нихъ, а они остаются недвижно на месте. Все погибло и пропало. Ни свету ни міра. Ни этого города кругомъ ни стенъ. Только во вселенной и остаются эти два сердца...

- Ты меня всегда будешь любить?
- Всегда.
- Хочешь, чтобы я тебя любила? Да?
- Я умру иначе...

Она вдругъ хотъла что-то сказать, да всхлипнула и заплакала.

- Что ты, милая, дорогая?

— Нѣтъ, это я такъ, къ хорошему плачу. Мнѣ отлично съ тобою, я не одна теперь. Я страсть какая быстрая. Ни ждать ни притворяться не могу. Да и зачѣмъ? Не у кого намъ спрашиваться; правда, не у кого?...

VII.

Жилъ я тогда на Садовой.

Я думаю, теперь ужъ нать въ Петербурга такихъ меблированныхъ комнать, какъ та, въ которой мнъ такъ хорошо и ярко мечталось и върилось. Говорять, что вся безумная фантазія востока создана однообразными песками пустынь. Въ самомъ дѣлѣ-что въ дѣйствительности можеть отвлечь воображение араба отъ ослепительной сказки? Я думаю, потому мне на чемъ было остановиться у себя — я весь уходиль въ будущее. Въ моемъ неприглядномъ уголкъ можно было только стоять, лежать и сидеть. Лежать на постели, сидьть на ней же у вплотную придвинутаго стола. Быда еще табуретка, но она помъщалась подъ столомъ. Чтобы не отвлекать меня отъ занятій, окна не полагалось. Вмѣсто него была какая-то форточка въ кухню. Когда тамъ жарили лукъ или масло проливалось на плиту, мнъ грозила опасность задохнуться. Ежедневно хозяйка вступала въ бой съ кухаркой — и отъ меня не ускользало ни одно слово изъ ихъ далеко не академическихъ "преній". Барыня уходила-кухарка начинала ругаться, швырять сковороды, кастрюли, котлы, посуду. Особенно громогласны были противни, на нихъ она изображала нѣчто въ родѣ театральнаго грома. Китайцы отъ этой музыки пришли бы въ восторгъ; у меня все же было европейское ухо-и съ

тъхъ поръ я терпъть не могу Вагнера. Не смълъ я пожаловаться и на однообразіе. Что касается запаховъ, то не все же было услаждать меня поджаренному луку и подгоръвшему маслу. Очень часто стиралось дътское бълье и пеленки, и тогда изъ этого обворожительнаго дуэта дёлалось еще более очаровательное тріо. Даже и съ китайской музыкой. По вечерамъ, когда хозяйки не было, являлся "кумъ - пожарный", геніально постигшій психологію кухарокъ. Сначала плакала она, жалуясь на судьбу, онъ слушалъ внимательно, и въ мою форточку сизыми облаками вился дымъ отъ махорки. Смолкала кухарка-я не долго утомлялся тишиною. Спокойно, точно это такъ и следовало, по разъ навсегда высочайше утвержденному церемоніалу, начиналь ее бить кумъ-пожарный, рыча что-то имъвшее самое отдаленное сходство съ членораздёльными звуками. Кухарка опять подымала визгъ, переносившій меня къ далекому отрадному дътству, въ тъ счастливые дни его, когда у насъ ръзали поросять. Когда мнъ это надобдало, я стучаль въ стѣну. Кумъ-пожарный пріостанавливался на минуту, и въ мое "окно" опять ползла туча табачнаго дыма. Я не могь у себя пожаловаться и на одиночество. Любознательные тараканы бъгали по моимъ рукописямъ и, встрътивъ въ нихъ нъчто, чего они не одобряли, укоризненно шевелили усиками; кошка, почему-то очень полюбившая мою комнату, таскала подъ постель ко мнѣ котятъ и, когда я гналъ ее оттуда, она шипъла, фыркала, плевалась, и я уже, бывало, отойду, признавъ все безсиліе побороть ея дамскую слабость, а она все ругается и ругается. Какъ видите, ничто не было забыто для моего развлеченія... И все-таки какъ дивно жилось и грезилось въ этомъ отвратительномъ углу! Какъ хороша молодость именно тѣмъ, что на все она бросаетъ розовый отсвѣтъ своихъ утреннихъ зорь. Бывало, лежишь и думаешь и въ несравненномъ обаяніи эмалевыхъ красокъ надъ моимъ изголовьемъ несутся картины одна изумительнѣе другой... Красота, любовь, свобода — эти созвѣздія далекаго неба спускались во мракъ жалкой каморки, и я чувствовалъ ихъ родство съ свѣтилами, никогда не угасавшими въ моей душѣ.

Какъ-то я сижу Гарунъ-аль-Рашидомъ въ моемъ заколдованномъ дворцѣ. Было еще тихо. Барыня уже ушла—кумъ-пожарный еще не явился. Кухарка, отдыхавшая отъ боевой схватки съ первой и готовившаяся обнаружить твердость въ бѣдствіяхъ со вторымъ, храпѣла. Тараканъ внимательно читалъ новое мое стихотвореніе, какъ теперь помню начинавшееся такъ:

Вокругъ меня—садовъ волшебныхъ юга Прекрасные цвёты... Подъ лунный блескъ ко миѣ, моя подруга, Придешь ли ты?..

И т. д. Для подруги на томъ же съромъ листкъ созидался дворецъ изъ бирюзы и жемчуговъ, въ легкія его аркады плыли волны ароматнаго вътра, будя въ золотыхъ струнахъ эоловыхъ арфъ страстныя пъсни любви... Тараканъ бъгалъ по строчкамъ и вдругъ недоумъло останавливался... Поворачивался вправо, влъво... Оглядывался назадъ, гдъ жъ, чортъ возьми, всъ эти цвъты, дворцы и эоловы арфы? Я обдумывалъ заключительный аккордъ этого стихотворенія, тщетно борясь съ рибмою на "поцълуя". Ничего, кромъ "кукуя, малюя, аллилуія", не выходило, хотъ тресни. Въ эту затруднительную минуту кто-то произнесъ въ кухнъ мою фамилію.

- Я здѣсь!—отозвался Гарунъ-аль-Рашилъ...—Кто тамъ?
 - Караваевъ.
 - Юноша! Ступайте ко мнѣ. Дарья, самоваръ!
 - Ладно, обождите.
 - Какъ это обожду?
- A такъ, что сама пьетъ... Вотъ лопнетъ—тогда и вамъ подогръю.

Лопнуть должна была хозяйка, и аргументь этотъ показался мнѣ настолько убѣдительнымъ, что я вполнѣ успокоился.

Димитрій Николаевичъ быль мраченъ и зловѣщъ... Смотрѣлъ по меньшей мѣрѣ "убивцемъ" и, видимо, самъ ожидалъ, что при его приближеніи кости усопшихъ должны содрогаться въ могилахъ.

- Поздравьте меня!
- Съ чъмъ это?
- -- Я -- подлецъ!

Я молча пожаль ему руку.

Митенька взъерошилъ волосы съ столь отчаяннымъ видомъ, что я только и могъ спросить его:

- Когда вы его заръзали?
- Кого?
- Я почемъ знаю... На вашихъ рукахъ крофъ (черезъ "ф"—для выразительности), а "въ очахъ твоихъ гнъздо себъ свилъ ужасъ". Себъ свилъ—не хорошо. Это я потомъ поправлю.

Караваевъ, не отв'вчая, бухнулся на кровать рядомъ со мною.

- Знаете... Я—негодяй.
- Не смъю спорить, разъ вы сами...
- Я долженъ жениться!..
- -- Что?

- Иначе вы первый плюнете на меня.
- Слушайте, Митенька, вы сегодня вполн'в неудобопонятны.
 - Я отвратительно поступиль съ Лизой.
 - Oro!
- Да... бѣдная дѣвушка... Что она должна думать обо мнѣ?
- Выкинули ее изъ окна... заживо сжарили и съъли. Разръзали на части и, какъ фонъ-Зона, отправили въ чемоданъ въ Америку...
- Вы все глупости, а я...
 - Да что вы?
- Поймите... Я долженъ, какъ можно скорѣе, жениться на ней.
- A нельзя подождать до завтра? Сегодня, я думаю, поздно. Ни одного попа не найдете.

Онъ схватился за голову и закачался, какъ маятникъ, поставленный вверхъ ногами.

Вижу, что пріятелю въ самомъ дѣлѣ плохо.

Взяль его за руку.

- Ну, говорите, въ чемъ дѣло?
- Между нами все кончено!
- Она васъ выгнала?
- Напротивъ... Я переселился въ ея комнату... Она сама этого захотъла. И мы теперь живемъ вмъстъ. Понимаете, я... я ее обезчестилъ.
- Благородный гидальго! Над'вюсь, не она вамъ это сказала?
- Разумъется, не она. Она смъется и радуется. Я нъсколько разъ принимался съ ней говорить, а она вмъсто того, чтобы слушать, садится ко мнъ на кольни и цълуется.
 - Такъ!

- Я къ вамъ съ просьбой.
- Какой?
- Пойдемъ къ ней. Я васъ подожду на улицъ, а вы объясните Лизъ, что я негодяй.
 - А дальше?
- А дальше, что она должна выйти за меня замужъ.
- За негодяя!.. Напротивъ, я буду ее отговаривать отъ столь неосторожнаго шага.
- Вы все смѣетесь. А я... Я... Головой въ стѣну... Вотъ такъ. Такъ тебѣ подлецу!

И онъ въ самомъ дёлё заколотился затылкомъ.

— Ну, ну, будеть. Давайте разговаривать. Вы нисколько не виноваты. Такъ это и должно было окончиться. А что вы хотите жениться на ней—это благородно. Иначе вы не можете поступить, и мое уваженіе къ вамъ только растеть отъ этого. Да именно—помните, какъ это хорошо:

И въ домъ мой смѣло и свободно Хозяйкой полною войди.

- То-есть, шла не она ко мнѣ, а я къ ней.
- Это все равно:
- Воть я вамъ принесъ, прочтите.
- -- Что это?
- Письмо!
- Къ кому?
- Къ родителямъ. Я прошу у нихъ благословенія. Кажется, такъ надо? Въ такихъ случаяхъ родители всегда благословляютъ.
 - И даютъ приданое.
 - Зачвиъ?

- Чтобы вамъ устроиться. Надо взять квартиру, едълать объдъ... Кажется, при этомъ что-то пьютъ. Шампанское?
- Квартиру? Нътъ мы останемся въ одной комнатъ...
 - А экипажа не заведете съ вытаднымъ лакеемъ?
- Глупости. Прочтите скорѣе... я его завтра страховымъ.

Листъ почтовой бумаги быль исписанъ мелко. Прежде всего, разумъется, Митенька сообщаль о себъ, что онъ не только благополучно прибылъ въ "Съверную Пальмиру", но судьба на первыхъ же порахъ показала ему всю свою благосклонность, давъ случай познакомиться съ нашимъ знаменитымъ поэтомъ... Слъдовало мое имя.

- Послушайте...-остановился я.
 - Hy?
- Хороша ли эта "знаменитость", вѣдь я еще ни разу не подписывался?
- Разумфется, "знаменитость", а то еще какъ же, въдь васъ печатають.
 - Еще бы!
 - Ну, значить, знаменитый. Въдь васъ читають?
- А вотъ этого я ей Богу не знаю... печатать печатають, что касается до чтенія...
 - Ахъ, вы все шута строите.

Я миновалъ блистательное описаніе моей персоны. Въ далекомъ увздномъ городѣ по этимъ строкамъ меня могли признать, ну не знаю за кого... Великаго Могола, далай - ламу, персидскаго шаха, только никакъ не за скромнѣйшаго сотрудника "Занозы".

"Василій Ивановичь находить, что и я-таланть, и объщаеть мнъ блистательную будущность, а мое сти-

хотвореніе о птичкѣ, свившей гнѣздо въ тростникѣ, онъ даже выучиль наизусть и говоритъ: "Хоть бы Фету такое". Вслѣдъ за тѣмъ Митя уже безъ всякаго перехода сразу оглушалъ "милыхъ папашу и мамашу" цѣлой батареей картечныхъ восклицательныхъ знаковъ.

"Поздравьте меня, дорогіе, и порадуйтесь! Я нашелъ свое счастье!!! Небо послало мит дивную, очаровательную дъвушку,—такого обаянія, красоты, простодушія и доброты, что я даже не могу понять, какъ она обратила на меня вниманіе!!! Я тону въ блаженствъ, описать которое не въ силахъ!!! Думаю, что и самъ Айвазовскій (почему Айвазовскій?) не нашелъ бы для ея изображенія красокъ на своей палитръ. О, какъ она меня любить! Рай открылся мит со всъми серафимами!!! Съ какой гордостью передъ цълымъ свътомъ я ее, прекрасную и молодую, назову своей женой. Торопитесь послать мит свое благословеніе... Я жду, "какъ лътомъ нива у неба просить первыхъ грозъ".

И т. д. и т. д.—въ томъ же восторженно-глупомъ родъ.

- Hy?
- Недостаточно сильно.
- Что же еще?
- Я бы прибавиль, что она ничьмь и никому не обязана. Живеть своей работой. Что вообще... Вы понимаете, въ наше время, когда прогрессъ установиль другіе взгляды на женщинь, мы должны такихъ, какъ она, воздвигать на пьедесталы общественнаго уваженія и благодарности...
 - Отлично, отлично. Скажите-ка еще эту фразу.
- Прибавьте, что она б'єдна, по зато душа ея и сердце богаче Ротшильдовъ. Что вм'єсть съ ней...

Нъть, лучше воть что: "Я въ ней нашель ту точку опоры, которую искалъ Архимедъ, чтобы перевернуть землю".

- Архимеда они не поймутъ.
- Сдълайте примъчание внизу и объясните.
- Развъ что!..
- А вотъ за конецъ я не одобряю.
- Почему?

"Я относительно Лизы быль подлець и обязань загладить"... Не посл'ядовательно...

- Какъ?
- Разумъется, давно ли я у вась же читаль, помните: любовь свободна и вольна... Какъ птица вешняя она, куда захочеть и летить, о чемъ задумала, поеть, она отъ горя не бъжить и отъ неволи не уйдетъ... Ей нътъ закона, нътъ препонъ, она сама себъ законъ...
 - Да, но все-таки... я сделалъ свинство.

VIII.

Не скажу, чтобы съ особенно легкимъ сердцемъ я шелъ въ редакцію. Во-первыхъ, я еще не отработалъ аванса, а во-вторыхъ, со мной былъ Димитрій Николаевичъ Караваевъ. Разумѣется, я зналъ, что насъ не прогонятъ, но какъ я, такъ и юноша были безъ гроша. Съ юношей прівхали въ Петербургъ часы—подарокъ его мамаши. Они такъ великолѣпно ходили, что черезъ недѣлю послѣ того, какъ Митя и Лиза начали разыгрывать симфонію свободной любви, они взяли да и ушли къ знаменитому въ тѣ времена закладчику Карповичу. Вмѣсто пихъ "Мими" принесъ домой цѣлыхъ двадцатъ рублей и наставленіе о пагубъ столичной жизни. Кар-

повичь въ добрыя минуты любиль поучать молодежь бережливости и воздержанію, при чемъ говориль обыкновенно:

- Я не съ улицы, я самъ образованный офицеръ. Точно для кассы ссудъ нуженъ былъ университетскій дипломъ!
- Я могу понимать и еще удивлю міръ... Я только и богатью до милліона. А тогда вы увидите. О Карповичь еще заговорять.

И онъ дълался необыкновенно таинственнымъ. Пламенная молодежь того времени даже върила этой піявкъ. "Вотъ посмотрите, Карповичъ еще покажетъ!" И съ загадочнымъ видомъ заканчивали: "Безъ денегъ ничего сдълать нельзя. Будетъ у Карповича милліонъ... И..."

Что "и" никто не продолжалъ, но мы и безъ этого сообразили: изъ лавчонки образованнаго офицера произойдетъ небывалый катаклизмъ. Тропикъ Рака перемѣстится, что ли, на полюсъ, а Козерогъ очутится на лунѣ... Евреевъ тогда еще не было — зато не одинъ изъ нихъ, съ которыми впослѣдствіи мнѣ пришлось познакомиться довольно обстоятельно, не доходилъ до виртуозности отечественнаго фрукта, — Карповичъ вѣдъ былъ, кажется, москвичъ.

- Вы знаете... У меня сердце бъется.
- А что?
- Страшно.

Я не противорѣчилъ. Вѣдь Митенька шелъ за своими прапорщичьими эполетами. Какъ мы тогда были непохожи на самоувѣренныхъ новичковъ сегодняшняго подроста! О нынѣшней "naglesse vopiante" не было и рѣчи. Мы, бывало, у редакторскаго звонка настоимся; а войдемъ — краснѣемъ, блѣднѣемъ и ждемъ отвѣта

какъ приговора: жить намъ или погибать постыдно. Теперь на васъ набъгаеть "малый не промахъ" и чортъ ему не братъ, и первый у него вопросъ: "Сколько мнъ заплатятъ? Я дешево не возьму, я себъ цѣну знаю!" А мы тогда точно върующій къ причастію приступали къ секретарю, хранившему у себя возвращенныя рукописи... "Принята или нѣтъ?" Талантъ я или ничто? Пресмыкаться ли мнъ въ неизвъстности или вознестись превыше звъздъ, до трехъ копеекъ за строку! Я ужъ не говорю о крупныхъ редакціяхъ — для насъ и малая была чѣмъ-то особеннымъ, святынею, куда надлежало войти смиренно, съ трепетнымъ сердцемъ. Когда я позвонилъ, Митенька схватилъ меня за руку, и его рука была холодна, точно ледъ.

— Слушайте, я лучше уйду.

Но дверь отворилась, и, несмотря на рѣшеніе бѣжать, Караваевъ остался пригвожденнымъ на мѣстѣ.

- Принимаютъ? у меня голосъ сорвался, а Митенька совсѣмъ ни живъ ни мертвъ. Вотъ-вотъ хлопнется о землю хладнымъ трупомъ.
 - Пожалуйте.
 - Волгинъ здъсь?
 - Только что ушли.
 - Ну, какъ Матвъй Матвъевичъ?.. Веселый?
 - Сегодня они добры...

Мы ожили.

- Волгину авансъ дали! конфиденціально сообщиль лакей, хорошо знавшій наши семейныя дёла.
 - Много?
 - Пятьдесять.
- · Oro!
- Они въ такихъ духахъ, что если бы Александръ Николаевичъ сто попросилъ—въ тую же минуту!

Матвъй Матвъевичъ 1), самъ въ то время знаменитый (какъ намъ казалось) обличительный поэтъ, громившій откупщиковъ, казнокрадовъ и прочую неожиданно обмелъвшую братію, встрътилъ насъ еще издали...

- Ага. Вотъ онъ, голубчикъ... Подите-ка, подите сюда... Ну-ка, къ отвъту. Гдъ шлялись? что дълали?
 - Ей Богу, стихи писалъ.
 - -- Отчего же мнѣ ихъ не принесли?
 - Я принесъ...
 - Ну, то-то. А это кто съ вами?
 - Молодой поэтъ. Отлично пишетъ.

Матвъй Матвъевичъ насупился. Овъ считалъ себя высшимъ судьей поэзіи.

- Какъ васъ? подалъ онъ ему руку.
- **—** Ми... Ми... Ка... Ка... ра...
- Димитрій Николаевичь Караваевъ, отвѣтиль я за него.
 - Сколько вамъ лѣтъ?
 - Сем... восем...
 - Семнадцать!--опять поясниль я.
- Видите въ какое время мы живемъ. Меня въ шестнадцать лѣтъ еще въ корпусѣ пороли. А вы, вонъ, писательствуете. Впрочемъ, не смущайтесь. "Въ наше время, когда Россія двинулась впередъ неудержимо всякая рука на счету"... Ну же, давайте, давайте... Или лучше читайте сами.
 - Матвъй Матвъевичъ!
 - 4_{TO}?
 - Прочтите лучше вы.
 - Почему?

¹⁾ Имя измѣнено.

- Да разв'в не видите, у него "языкъ прильпе къ гортани".
- Признакъ таланта, юноша; первый признакъ таланта!.. Вотъ я наудачу.

И, отбивая точно на барабан'в рифмы, Матвъй Матвъевичь зачиталь. Мы боялись дышать и не отводили глаза отъ хозяина, который, какъ трехбунчужный наша, сидъль на громадномъ диван'в, поджавъ подъ себя ноги. На немъ была красная канаусовая рубаха, въ открытый воротъ которой видн'влась высокая волосатая грудь. Широкія бархатныя шаровары и туфли на босу ногу дополняли его костюмъ.

— Отлично, ей Богу отлично! Митеньк'в кровь бросилась въ голову. — Я... я...—и онъ запиулся опять. Глаза у юноши чуть не выкатились.

— Чего лучше... Вы слушайте: Какая ночь была! Мечтательно и иёжно

Луна свётила намъ въ открытое окно, И тополь бёлая стояла безмятежно... Какая ночь была... Та ночь была давно!...

- Какъ давно... Вамъ всего семнадцать...
- Э... это изъ... фантазіи.
- Ахъ, изъ фантазіи... Ну, это дъло другое. Поэта стъснять нельзя.

Давно!.. Былъ полонъ садъ волшебными тѣнями, И шорохъ слышался... Въ лазури гасла даль. А за черемухой блаженствомъ и слезами Звучала чья-то пѣснь и... плакала рояль!

- Зачёмъ три точки?..
- Для выразительности...
- Гмъ! фантазія и выразительность. Прекрасно!

Какая ночь была! Волнуясь и рыдая, Ловили звуки мы до утренней зари, Свободъ и любви слагали, замирая И мыслью и мечтой, святые алтари.

— Это хорошо, что вы о свободъ. Въ наше время когда... ну, сами понимаете, поэтъ долженъ быть гражданиномъ. А такихъ у насъ только два. Я... и, пожалуй, еще Некрасовъ!—снисходительно прибавилъ онъ.

Какая ночь была! Какъ страстно сердце рвалось Впередъ! Въ безбрежный блескъ грядущаго—вдали...

— Разв'в грядущее можетъ быть позади? Но, впрочемъ, ничего...

Гдѣ только счастье намъ, безумцамъ, улыбалось, Гдѣ только призраки любимые росли. Какая ночь была! Какъ марево лаская, Сквозъ сумракъ свѣтитъ мнѣ таинственно она... И снова до зари мучительно рыдая, Стою я и теперь, какъ прежде, у окна.

— Отлично. Въ Петербургѣ только не совѣтую. Съ непривычки насморкъ схватите!

И все мнѣ помнится! Безумецъ изступленный! Тревожно я зову друзей моихъ былыхъ, И что-то чудится и слышенъ отдаленный Какой-то тихій звукъ—то отзывъ милый ихъ. Въ могилахъ спятъ они! Я плачу, изнывая...

— Что же это Иродъ ихъ, что ли?.. Судя по вашимъ годамъ — "былые годы"... эти израильскіе младенцы выходять!..

> И тѣсно такъ душѣ... И хочется любить! Какая ночь была! О, если бъ умирая, Еще такую ночь до утра пережить.

— Ну, Караваевъ, — такъ въдь? Благословляю васъ. Вы — настоящій поэть! Митенька опять поперхнулся.

— Великольпно, понимаете. Четвертакъ за строчку. Я вамъ предсказываю, вы будете гремъть, когда никого изъ насъ уже не станетъ.

Вторая часть пророчества исполнилась. Матвѣя Матвѣевича давно нѣтъ на свѣтѣ, а Караваевъ такъ и не прогремѣлъ!

Юность, юность! Гдѣ наши надежды?.. Гдѣ твои очарованія? Какъ многихъ обманула ты!.. Скрипять перьями старые чиновники или сидять себѣ и грѣются у печекъ, благословляя уставъ о пенсіонахъ за безпорочную службу, и сами они забыли, какъ когда-то мѣтили мало-мало въ Байроны!

- Вотъ что юноша. Вы, върно, гладны и хладны?
- То-есть?
- Яко нагъ, яко благъ, яко нътъ ничего?
- Онъ еще къ тому же и женился.
- Что?
- Я, дъйствительно... у меня... Лиза...
- A у васъ батюшка есть?
- Есть...
- И у него чубукъ?
- Зачѣмъ?
- Слъдовало бы васъ обработать... Съ чего вы это выдумали?

Митенька опустиль голову.

- Это, —вступился я, —не онъ, а она выдумала!
- Такъ, такъ. Ну вотъ что, я вамъ пока за двѣсти строчекъ—пятьдесятъ рублей.

Митенька быль совству раздавлень благодтяніемъ.

 И въ субботу помѣщу два - три изъ вашихъ стиховъ.

- Я пишу черезъ "о", вдругъ обръль онъ даръ слова.
 - Что?
- Не Караваевъ, а Кораваевъ. А то у насъ въгимназіи есть Караваевъ, онъ тоже стихи...
- Хорошо, хорошо. Ну, а вы? обратился ко мнѣ трехбунчужный паша.
 - Я нъсколько лирическихъ...
- Наплевать мнѣ на лирическія... Теперь всѣ пишуть—такія. А обличительныя есть?
 - Есть... поэма.
 - Какъ называется?
 - Передовой (біографія одного изъ многихъ).
 - Ну-ка.

Я нарочно привожу это стихотвореніе, такъ и не появившееся тогда по независящимъ отъ молодого автора и стараго редактора обстоятельствамъ. Только впослъдствіи отрывки изъ него напечаталъ какой-то журналъ. Оно бы такъ и осталось въ старомъ моемъ портфелъ—да ужъ очень мнъ показалось характернымъ. Въ немъ выразились все-таки вкусъ и въянія шестидесятыхъ годовъ.

— Ну-ка!—И опъ еще глубже усълся въ диванъ.— Только читайте медленно... А то вы точно брантмейстеръ на пожаръ.

I.

Врагъ обыденнаго труда, Вертясь по свѣту мелкимъ бѣсомъ, Онъ сочетать умѣлъ всегда Прогрессъ съ житейскимъ интересомъ! Не унывалъ отъ неудачъ, И, мѣднымъ лбомъ пробивъ дорогу, Кой-гдв ползкомъ, порою вскачь Опъ въ люди вышелъ понемногу. Любостяжаньемъ одержимъ, Онъ осторожно брелъ за вѣкомъ, Умѣвъ прослыть передовымъ И безкорыстнымъ человѣкомъ!..

Тому назадъ—семнадцать лѣтъ Считаясь юношей приличнымъ, Очаровалъ чиновный свѣтъ Онъ поведеніемъ отличнымъ, Совсѣмъ не дѣлая долговъ.

 Неужели и авансовъ не бралъ изъ редакціи? -съязвилъ меня Матвъй Матвъевичъ.

> И даже въ карты не играя, На счетъ богатыхъ простаковъ Безпечно жилъ онъ, припѣвая. Старушекъ важныхъ идеалъ, Всегда прилизанный и гладкій, Онъ имъ апостоловъ читалъ, Кутя съ дѣвчонками украдкой.

Настало время непогодъ,
И, потрясенъ грозой военной,
Плелъ умирать родной народъ
Съ своей отвагой неизмѣнной.
И нашъ герой былъ увлеченъ:
Отважно снявъ мундиръ гражданскій,
Защитникомъ отчизны онъ
Пошелъ... по части провіантской!
Презрѣвъ военной славы громъ,
Но ближе къ цѣли, подъ рукою
Онъ бралъ въ дыму пороховомъ
Мѣшки съ казенною мукою...

Война окончилась; домой Онъ воротился, сердцемъ кротокъ, Плънять подвязанной рукой Не въ мъру глупыхъ патріотокъ. Порой отъ счастья одуръвъ, И одержимъ геройскимъ духомъ,

Онъ увлекалъ невинныхъ дёвъ И очень нравился старухамъ... Хоть иногда съ немалымъ рискомъ Онъ занимать умѣлъ собой На всѣхъ обѣдахъ по подпискамъ. Какъ много жертвъ онъ приносилъ! Какъ смѣло въ битвы онъ кидался! Онъ вралъ и щедро слезы лилъ! Онъ вралъ и духомъ умилялся!

Не пологъ былъ его покой. Прошла молва о кражахъ крупныхъ, Склонилось гордой головой Не мало Зевсовъ недоступныхъ. Врасплохъ засталъ нежданный часъ-Ихъ злая кара ожидала, Мундиръ, сіяющій не разъ, Шинель солдатская смѣняла. Но гдв теряется Зевесъ, Тамъ медкій плуть всегда смёлёе,-Онъ къ благодътелямъ полъзъ Искать мъстечка потеплъе. И говориль, что нищій онъ, Рыдалъ, канючилъ и молился, Хотя безъ мала милліонъ У неимущаго хранился. И наконецъ -желанный день! Пока опасность удалится На мъсто злачное-подъ тънь, Усиблъ онъ въ глушь переселиться.

II.

Въкъ незабвенный, золотой! Настало время обличенья. Въ печать проникнулъ становой, Предметъ всемірнаго гоненья. Россійской доблести столпы, Гражданской чести идеалы По захолустьямъ... Плодиться стали ювеналы.

Впервые откупъ задрожалъ, Воспълъ Громеса упоенный Конфузъ—извъстный генералъ Явился въ Глуповъ изумленный.

Пріятель нашь въ своей глуши. Почуявь въ воздухѣ движенье, Сталь на квартальныхъ отъ души Метать перуны обличенья. Плениль начальство резкій слогь, Герой не даромъ потрудился, И безъ особенныхъ тревогъ Въ столицъ снова поселился. По клубамъ рѣчи говоря, Въ слезахъ, раскрывъ свои объятья, Ревѣлъ, какъ быкъ: "Взошла заря! Уходить тьма! Восплачемъ, братья!" Но, увлекаясь, своему Остался въренъ онъ девизу. Встръчая свъть, гоняя тьму, Служить онъ началъ по акцизу.

О русской женщинѣ вопросъ, Пока печать его терзала, Онъ прямо въ дѣло перенесъ И въ немъ дошелъ до идеала. Плѣнялъ когда-то свѣтскій левъ Дѣвицъ изящно сшитымъ фракомъ, А нашъ пріятель тѣхъ же дѣвъ Сталъ соблазнять гражданскимъ бракомъ.

Немного крайній поворотъ
Не удивиль героя духомъ,
Съ либерализмомъ кончивъ счеть,
Вернулся снова онъ къ старухамъ.
Прогнавъ своихъ гражданскихъ женъ
На вольный воздухъ (было лѣтомъ),
Въ былыхъ друзей бросая грязь,
Мечталъ не разъ о жизни тихой
И, наконецъ, остепенясь,
Вступилъ въ законный бракъ съ купчихой.
Врагъ обыденнаго труда,

Вертясь по свёту мелкимъ бёсомъ, 4 Онъ сочетать умёль всегда Прогрессъ съ житейскимъ интересомъ. Любостяжаніемъ томимъ Онъ осторожно брелъ за вёкомъ, Прослывъ вездё передовымъ И—безкорыстнымъ человёкомъ.

— Воть это такъ... Воть это такъ! Это по-нашему, потиралъ себъ руки "паша".

Мы ушли изъ редакціи—по меньшей мъръ Штигли--

У Митеньки было пятьдесять, у меня тоже.

Подъ юношей земля горъла.

- Послушайте... Неужели это правда? А?.. Въ субботу выйдеть номеръ "Занозы" съ моими стихами.
- Ужъ если Матвъй Матвъевичъ сказалъ—значитъ върно.
- Господи, да я... Знаете, пойдемъ ко мнъ. Обрадуемъ Лизу.
- Пойдемъ. "Впередъ, безъ страха и сомнънья—на подвигъ доблестный, друзья".
 - Купимъ конфетъ и закусокъ.
 - Великолъпно, только это я.
 - Почему?
- Вы человъкъ женатый, вамъ нужны деньги, а я вольная птица. Миъ наплевать на нихъ.
 - Ахъ, какъ все это хорошо, какъ хорошо!

Мы даже купили церковнаго сладкаго вина. Размѣняли наши милліоны на рублевки, чтобы казалось больше.

- Кутить, такъ кутить! Возьмемъ пирожнаго, по три копейки за штуку.
 - Валяй...

Нагруженные, какъ ослы, тюричками, свертками, коробками, фунтиками, мы такими Крезами Лидійскими явились передъ Лизой, что она глаза разинула и въ уголъ забилась, глядя, какъ мы развертываемъ великолѣпныя снѣди и раскладываемъ ихъ на столъ передъ ней. Потомъ Митъ пришла въ голову дикая мысль. Онъ взялъ да и раскидалъ по комнатъ рублевки. Я не медля послѣдовалъ его примъру. Зрѣлище было столь величественно, что мы опустились на стулья и благоговъйно, ужъ не двигаясь, задерживая дыханіе, оглядывали всѣ распростертыя передъ нами и подъ нами сокровища. Восторгъ и изумленіе такъ и лучились, такъ и струились изъ глазъ Караваева,—черезъ "а". Я (все - таки старожилъ и "уже" писатель) снисходительно улыбался.

Первая Лиза обрѣла даръ слова.

- Откуда это, Митенька?
- Цссъ!--погрозился я.

Лиза побледневла.

- Что это значить? шопотомъ спросила она.
- Мы сейчасъ купца заръзали.
- Что?—и Лиза слълалась блъднъе стъны.
- Да и англійскій банкъ ограбили...
- За нами гнались...
- Констебли и сбиры... Но мы вскочили на океанскій пароходъ въ самую послѣднюю минуту и отчалили, а полиція вмѣстѣ съ колесницами фараоновъ утонула въ Чермномъ или Красномъ морѣ. Нашъ воздушный шаръ при этомъ...

И вдругъ оба, схвативъ остолбенъвшую Лизу, закружились съ нею вокругъ стола, по рублевкамъ, презрительно откидывая ихъ ногами, точно это булыжники или соръ.

- Сумасшедшіе, погодите... Ахъ ты, Господи! Василій Ивановичь, оставьте меня, если вы честный человічь...
- Лиза, голубушка, ты понимаешь... это все за стихи!
 - Которые строчками?
 - Воть именно.
 - Да туть въдь денегь до пропасти.
- И еще больше будеть. Подавимся рублевками. Я теперь съ утра до ночи буду писать, писать и писать.

На шумъ отворилась дверь, и въ нее просунулся утиный носъ.

— Батюшки!

- И, увидъвъ валявшіяся повсюду деньги, хозяйка мгновенно обратилась въ соляной столбъ. Мы и вокругъ нея немедленно устроили танецъ дикихъ. Запыхавшаяся Лиза прибирала бумажки, лазила за ними подъкровать, подъ столъ и, собравъ цълую груду, начала считать.
- Господи, да туть девяносто два рубля. Я вѣдь тоже иголкой строчки, да гдѣ мнѣ настолько!
- И, точно святыню, она понесла ихъ на подо-конникъ.
- Вотъ видите, сколько за стихи платятъ! оралъ Митенька прямо въ растерянное и ополоумъвшее лицо хозяйки. А вы меня принять не хотъли... Ахъ вы, "чернь непросвященна"!
 - Воть что, Лиза, пойдемъ торговать домъ.
 - Какой?
- На углу туть четырехъэтажный съ балконами продается.

— Молчи, глупый...—ласково улыбалась она.—Ахъ, Василій Ивановичь, вы в'єдь не знаете, какой онъ еще дуракъ. В'єдь я передъ нимъ старуха. Ничего-то онъ не понимаетъ. Ну, вотъ, настоящій младенецъ. Митенька-дурачокъ. Дурачокъ-Митенька!

Мы устроили настоящій пиръ Балтазара.

Выпили втроемъ цѣлую бутылку церковнаго краснаго вина "Бени-Карль" и, какъ щеглы, наклевавшіеся земляники, опьянѣли. Митенька, стоя на колѣняхъ передъ Лизой, декламировалъ ей какую то невѣроятную чепуху; я объясиялся въ любви утиному носу, и утиный носъ, сначала обижавшійся и называвшій меня охальникомъ, потомъ вдругъ сталъ принимать это въ серьезъ и озабоченно предупреждалъ:

- Въдь я въ маменьки вамъ гожусь.
- О, Дульцинея!
- Послѣ покойнаго мужа я себя страсть какъ соблюдала. Рѣшила, чтобъ безъ низости. Если по закону—завсегда согласна, а такъ—ноль вниманія...

Ей подносили стаканчикъ.

Она смѣшивала слезы съ виномъ, глотала то и другое, и, вдругъ впадая въ mania grandiosa, уже наклоняясь къ самому моему уху, съ священнымъ ужасомъ повѣствовала:

— При покойномъ - то мужѣ они, чиновники, страсть сколько въ управѣ благочинія подарковъ получали. Я даже каждый день,—чтобы вы думали?— салфеточную икру ѣла и донскимъ запивала. Вотъ какъ мы жили! Потому что онъ, мой мужъ, хоть кого могъ погубить. Напишетъ на бумагѣ — и пропалъ человѣкъ. Отъ него откупались и мнѣ всякое уваженіе—сахаръ-то головами. Этой низости, чтобы муку фунтами—я пе знала. Пудами и все даромъ. Я, бывало,

въ магазинахъ беру, а купцы за честь считаютъ и ну стоятъ — кланяются. "Мадамъ, берите больше. Намъ для васъ ничего не жалко, потому что мы вашего супруга вотъ какъ почитаемъ"...

IX.

Я думаю, трудно быть счастливье, чыть мы были вы тоть вечерь. Лиза надыла свою "лучшую" (немудрено: она была единственная) шляпку, Митенька — сюртукь съ таліей на затылкы и фуражку, выдававшую ем стародубское или новозыбковское происхожденіе. На мны была крылатка, дылавшая меня похожимы на летучую мышь. Мы взяли извозчика — Лиза у насы на колыняхы и все время хохотала. Противы Лытняго сада сыли на пароходы. Противы насы помыстился какой-то старикы, все время не сводившій глазь сы нашей пріятельницы. Сначала это Лизу смышило, потомы она стала красныть и, наконець, рышительно проговорила:

- Я ему сейчасъ языкъ покажу!
- Погодите, вотъ я его приведу къ одному знаменателю.

Лиза сегодня была очепь хорошенькая, и мив хотьлось совершить что-нибудь геройское и непремвино на ея глазахъ.

- Оставьте, еще скандаль выйдеть.
- Ничего! Ихъ надо учить!

Я фертомъ подошелъ къ дряхлому сатиру, какъ я мысленно называлъ его.

- Чего вы смотрите?
- Куда, молодой человъкъ?
- На нашу даму. Это неприлично...

Старикъ добродушно усмъхнулся. Вынулъ изъ портсигара папиросу, закурилъ.

— Эхъ, юноша, юноша! Мнѣ въ шестьдесятъ пять только и осталось, что смотрѣть, а вы и это хотите отнять у меня.

Я растерялся, и вдругъ позади послышался ласковый голосъ Лизы:

- Василій Ивановичъ! Пусть они смотрять. Меня не убудеть оть этого.
- Видите, какая она добрая! Женщина всегда больше пойметь!

Старикъ пересълъ къ намъ. Справился, сколько лътъ Митенькъ и мнъ. Вздохнулъ.

- Въдь и я когда то былъ такимъ же.
- Ну, что! Вы еще и теперь молодець,— утѣшала его Лиза.—Вы еще жениться можете. Хотите я вамъ найду невъсту?
- Нътъ. Богъ съ ней. Я ей посовътую размънять меня на четырехъ такихъ, какъ они,—кивнулъ онъ на насъ.—Года выйдутъ тъ же, а удовольствія гораздо больше.
- Вотъ миленькій старичокъ! восклицала Лиза. Сегодня, впрочемъ, она все бы нашла миленькимъ.
- Вы чёмъ же занимаетесь?— обратился онъ къ Митенькъ.
- Мы...—и онъ заикнулся. "Въ самомъ дълъ, чъмъ же мы занимаемся?"
 - Что-нибуль дѣлаете?
- Мы, видите ли, поэты!
- Что? Экое званіе себѣ придумали! Въ молодости всѣ стихи пишуть.
 - А мы ихъ и печатаемъ...

Старикъ снялъ шапку и низко поклонился.

Мы это приняли за чистую монету.

- Гдѣ же вы печатаетесь?
- -- Въ "Занозъ"...
- Это что же такое?
- Юмористическій журналь. А еще въ "Гудкъ", въ "Весельчакъ"... въ "Сверчкъ".
- Имена же ихъ ты въси, Господи!.. Это что жъ, на стихи вы смотрите, какъ на профессію?
 - Еще бы.
 - А въ университеть не думаете?
 - Какъ же, къ осени. Вольными слушателями.

Старикъ очень нами заинтересовался. Очевидно, мы для него являлись любопытными звърками.

- Ну, а ваша спутница?...
- Моя жена, тордо поправиль его Митенька.
- Развѣ?.. Ваша супруга тоже стихи пишеть?
- Съ чего еще!—расхохоталась Лиза.—Я работаю...
- Что именно?
- Догадайтесь!—А глаза у самой такъ и сверкаютъ: въ эти годы все вѣдь весело. А тутъ еще солнце свѣтитъ, тепло и въ карманѣ милліонъ.
 - Покажите руки. Ну, такъ и есть... Бѣлошвейка.
 - Почему вы знаете?
- У швеи также пальчики исколоты, только они темнъе. Она имъетъ дъло съ цвътными матеріями. Ну, а вы, видать, съ полотномъ, шертингомъ и мадеполамомъ. Въдь правда?
 - Ей Богу, какой вы умный!
 - Прожилъ не мало. Было когда ума понабраться.
 - А вы одиноки, у васъ дътей нътъ?

Лицо старика вдругъ точно потемнъло. Онъ скользнулъ взглядомъ куда - то въ сторону. Помолчалъпомолчалъ. . — Дочь была. Вашихъ лътъ. Давно!.. Умерла. Я вдовъ. Одинокъ. Теперь вамъ ничего, и если бы я началъ разсказывать, все равно, вы бы меня не поняли! Ну, а доживете до моихъ лътъ, да если останетесь одни, семьи не будеть, тогда и безъ меня почувствуете, что значить одиночество на краю могилы. Холодное, тусклое. Сердце-то въдь не старъеть. Душъ привязанности нужны -какое ей дъло до метрическаго свидътельства! Иному — восемьдесять, а въ груди у него есть уголокъ, которому только двадцать! Опять говорю, для вась это неизвъстный языкъ. Юношъ и одиночество ничего. Вы знаете, о чемъ мечтаетъ старикъ? Вы о будущемъ — передъ вами въдь безконечность и все солнцемъ залито. Такъ бы на весь міръ грудь распахнулъ. Ну, а старикъ весь въ проціломъ. Онъ вновь переживаеть и поправляеть свою юность, молодость. Передълываеть ее во снъ и наяву, когда ужъ поздно, поздно. Минуту за минутою. И только теперь понимаеть, что по-настоящему пользоваться жизнью не умълъ. И любиль не такъ, какъ слъдуетъ. Эхъ, вернуть бы! Я вамъ такъ скажу: старый король непремънно завидуетъ молодому солдату... Да... А въ ушахъ: со святыми упокой!.. Хорошо, если бы одинъ и тотъ же человъкъ два раза жилъ. Разъ для ошибокъ, а другой для поправокъ...

Мы вышли вмѣстѣ на островахъ.

Въ городъ деревья стояли еще безлистыя, а тутъ легкій, весь сквозной, нѣжный-нѣжный налеть зелени. И по вѣтру тихо-тихо, ласково колышутся вѣтви и радостно смѣется первая трава внизу... Нога въ ней не шуршитъ, и шопотъ у этой травы мягкій, дѣтскій, застѣнчивый... Вдали было все ясно видио. Тамъ голубѣли спокойныя воды, по нимъ двигались во всѣ

стороны ялики съ гребцами въ красныхъ рубахахъ. Чистый, весенній, переполненный творческимъ дыханіемъ еще не высохшей земли воздухъ, опьянялъ. Мы даже забыли, что у насъ милліонъ въ карманѣ, и дѣлали тысячи глупостей. Лиза задирала прохожихъ, и тѣ смѣялисъ, только какая-то кислая дама съ ридикюлемъ обозвала насъ почему-то жуликами.

— Лиза, это мы-то... A?

Старикъ захохоталъ.

- Мадамъ! Я Ротшильдъ, а мой пріятель— Штиглицъ. И въ карманахъ у насъ англійскій банкъ! расшаркивался Митенька.
- A сколько у васъ въ самомъ дѣлѣ?—заинтересовался нашъ новый пріятель.
 - Я вамъ говорю-милліонъ.
 - Напримфръ?
- Больше девяноста рублей. Мы сегодня гонораръ получили.
 - А много вамъ платятъ?
 - Четвертакъ строчка!

Мы ожидали, что старикъ ахнетъ или воздънетъ руки къ небу, или остановится, "какъ вкопанный", или шляпу сброситъ—короче, чъмъ-нибудь да выразитъ изумленіе передъ такимъ величіемъ, но онъ даже и ухомъ не повелъ...

Передъ закатомъ все точно обдавало огнемъ. Горѣли края тучекъ, въ промежуткахъ между ними сквозила такая теплая и таинственная глубина—туда тянуло и казалось, что подъ тѣмъ именно небомъ и есть настоящій край сказки. Самая синь тамъ пожелтѣла. Такую именно любили старые итальянскіе художники. Въ ней всего легче было показываться ангеламъ. А ужъ для мадоннъ лучшаго фона и не придумать. Въ аллеяхъ

все больше вытягивались и густьли тьни. Тамъ стояла совсьмъ мистическая тишина, только на такихъ щегловъ, какъ мы, мало она дъйствовала. Казалось, и земля, и вода, и деревья молились и ждали чего - то громаднаго, чудеснаго, прекраснаго, и это прекрасное вдругъ появилось изъ - за насквозь горъвшей тучки. Золотымъ щитомъ невидимаго молодого бога почудилось солнце, и съ нимъ отвътнымъ пламенемъ восторга загорълись тихія воды, словно затлъла дътская зелень деревьевъ, и красные сучья облились румянцемъ... Щитъ все ниже и ниже. Передъ бълою загадочною съроглазою ночью поблъднъло все, и первыя погасли воды. Ихъ глубина вдругъ стала хладной, тусклой, стальной

- Ахъ, какая прелесть!-восхищалась Лиза.
- — Сами вы, дѣточка, настоящая прелесть, вотъ что я вамъ скажу. Женщина—лучшее твореніе Божіе. Выше Онъ не подымался. Вѣдь вы посмотрите,—обратился ко мнѣ нашъ старикъ. Сама она говоритъ, что никакого образованія не получила, а вѣдь она тоньше, изящиѣе, если хотите, аристократичнѣе всѣхъ насъ. Отними женщину, знаете во что обратится вся природа?
 - Не знаю.
- Я вамъ скажу. Что будетъ, когда солнце зайдетъ и день отгорить?
 - Ночь!
- Ну, воть и съ жизнью—стануть такія же потемки. Только въ природ'в еще есть для ночи луна и зв'взды. Ну, а безъ женщины жизнь была бы гадкой, дождливой, холодной ночью. Гд'в то тучи и ихъ не видно. Чудятся кошмары. Все бы одичало, все. Міръ бы сд'влался ужасенъ. Люди бы грызли другь друга и

умирали сами отъ злости, тоски, бъщенства и отчаянія... Благословенъ Богъ, создавшій васъ, Лиза... И васъ и вамъ подобныхъ. Живите и радуйтесь, дъти, потому что ваша радость—наше солнце. Она освъщаетъ наши потемки...

X.

Первая напечатанная строка!

Нътъ, это, дъйствительно, гораздо больше, чъмъ первыя эполеты. Эполетъ ждутъ, знаютъ навърное, что вотъ сдамъ-де послъдній экзаменъ, состоится Высочайшій указъ и явится портной снимать мърку для офицерскаго мундира. Даже раньше, до приказа, сошьетъ. Все равно—и полкъ и форма извъстны! Дебютъ въ литературъ другое дъло. Тутъ всегда сомнъніе: напечатаютъ ли, гожусь ли я куда-нибудь, а можетъ-быть, все мое торжество только въ томъ и будетъ, что я прочту въ почтовомъ ящикъ свой иниціалъ съ какой-нибудь неуклюжей шуткой редакціоннаго секретаря: "Совътуюде вамъ скоръе выучиться шить сапоги и строчить подошвы, а не стихи".

Въ субботу утромъ Димитрій Николаевичъ чуть свѣтъ уже былъ на улицѣ. Редакція, разумѣется, еще заперта. Въ контору, гдѣ шла разборка доставленныхъ изъ типографіи номеровъ "Занозы", не пускали. Караваевъ десять разъ выходилъ на лѣстницу и сбѣгалъ назадъ. А что если отложили? Или Матвѣй Матвѣевичъ раздумалъ. Прочелъ-де про себя и рѣшилъ: не стоитъ, развѣ это стихи! Взялъ да и швырнулъ секретарю: "верните!" Положимъ, онъ заплатилъ деньги, а всетаки... Контора была во дворѣ, и Караваевъ всматривался въ темныя окна. Точно они ему могли выдать

роковую тайну—напечатань онь или нѣть? Дворникъ иѣсколько разъ посматриваль на него. Чего-де этоть здѣсь?.. А потомъ рѣшительно подошель къ юношѣ.

- Вамъ кого надо?
- А вотъ журнала жду.
- Журнала... Ну, тогда ждите! благосклонно согласился онъ.

Потоптался и прочь пошель. Вышла какая-то горпичная съ двумя мопсами. Мопсы сейчасъ же забъгали,
нюхая землю, и хрипло залаяли на Митеньку. Взъерошенный, чумазый котенокъ вскочиль отъ нихъ на подоконникъ и ругался оттуда во-всю. Какая-то кухарка
пробъжала съ корзиной. Мопсы смънились болонкой...
Послъ болонки вылетълъ, точно стръла, отличный сетеръ... Ткнулся въ Митеньку и, подскочивъ въ знакъ
чувствъ, лизнулъ его въ подбородокъ. Митенька еще
разъ поднялся, прислушался у дверей... Тамъ голоса.
Счастливые! Они уже видятъ "Занозу"!.. Ахъ, скоръе бы
и ему!.. Правда, можно было бы сбъгать въ типографію. Типографія всегда открыта, но гдѣ она? Караваевъ не зналъ этого.

Солнце было уже высоко и обливало глубокій и тысный, какъ колодець, дворъ своими благодатными лучами. Только одна сторона была въ тыни...

А въдь въ самомъ дъль изъ конторы, пожалуй, смотрятъ на него и смъются. И вправду странно. Чего онъ не хуже сетера этого бъгаетъ по двору чужого дома? И вдругъ, когда онъ совсъмъ не ожидалъ этого, на черной лъстницъ показался мальчикъ съ свъжими номерами журнала. У Димитрія Николаевича все въ глазахъ закружилось. Онъ уже потомъ не помнилъ, какъ вскочилъ въ контору и, задыхаясь, будто отъ

этого зависѣла чья-нибудь драгоцѣнная жизнь, пробормоталъ:

- Позвольте мнъ...
- Номеръ? Одинъ?
- Нѣтъ... пять... Дайте пять. Пожалуйста, дайте пять.

Ему дали пачку еще сырыхъ тетрадокъ, отъ которыхъ пахло краской... Какая-то нелѣпая карикатура, пухлая морда на тонкихъ маленькихъ ножкахъ дразнила его съ первой страницы. Онъ, не обращая вниманія на конторщиковъ, нервно, лихорадочно рветъ тетрадку, и вдругъ въ глазахъ у него запрыгало. Вотъ... вотъ... вотъ... Именно его. Кончикъ стиховъ, начало на другой страницъ.

И подпись... Его подпись. Жирно набрано, всѣ видять. Димитрій Караваевъ черезъ "а". Никакихъ сомнѣній, что это онъ, онъ.

— Воть что: давайте еще пять.

Ему вручили новую пачку.

По л'єстниц'є онъ не б'єжаль, а летівль, отхватывая по пяти ступенекъ однимъ прыжкомъ. Какъ головы не сломалъ себ'є — удивительно. Совс'ємъ пьянъ быль отъ восторга. Наскочилъ на того же дворника, чуть не сбилъ его съ ногъ.

- Чего на людей-то! Чортъ тебя несеть!
- Мои стихи напечатаны, совсѣмъ ужъ громко крикнулъ ему прямо въ лицо, и пока тотъ еще соображаль, что это за метеоръ такой, Митенька былъ уже далеко.

Онъ бѣжалъ по улицѣ, самъ не зная куда и зачѣмъ. Потомъ вдругъ остановился, точно передъ нимъ сразу оборвалась дорога.

— Чортъ знаетъ что. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь... А вдругь стихи сократили?

Въдь онъ еще и не видалъ ихъ во всей ихъ неприкосновенности.

Развернулъ. Читаетъ. Все, все... Редакторъ ничего не перемънилъ... И опять эти буквы жирнымъ шрифтомъ: Димитрій Караваевъ черезъ "а". Ахъ, какъ хорошо. И въдь что странно—въ міръ все попрежнему. Его стихи напечатаны, его, такъ сказать, повънчали въ поэты, а солнце взошло во-время, дома не колеблются на своихъ основаніяхъ, и глупъйшія уличныя тумбы торчатъ тамъ же, гдъ онъ торчали вчера. Будочники (тогда еще городовыхъ не было) стоятъ, какъ будто ничего не случилось, да и на лицахъ у проходящихъ никакого умиленія. Такое событіе и всъ равнодушны, никому никакого дъла. "Мои стихи напечатаны! — хочется ему крикнуть на весь міръ.—Слышите ли вы, равнодушные и глупые люди! Сейчасъ новый поэтъ родился. Димитрій Караваевъ, черезъ "а"!.."

И никому никакого дела.

Домой бы, обрадовать Лизу. Но она поздно легла. Вчера долго работала. Да и притомъ ему надо воздуха, простора, толпы, чужихъ лицъ, множества лицъ... Онъ самъ не замѣчалъ, что-то и дѣло толкалъ встрѣчавшихся ему. Тѣ и не злились, ужъ слишкомъ много было счастья на его молодомъ лицѣ... У пассажа—кафе съ громадною надписью "стаканъ чаю—три копейки", открыто... У него вдругъ появилось желаніе узнать, освѣдомлены ли тамъ. Онъ вскочилъ въ подземелье. У столиковъ уже сидѣли раннія птицы столичнаго дня.

[—] Кофе! Да... вотъ что, принесите мнѣ новый номеръ "Занозы".

^{- &}quot;Занозу" у насъ не выписывають.

- Какъ не выписывають?
- Такъ что "Искра" есть, а "Запозы" нътъ.
- Какъ же можно не получать "Занозы"! "Занозу" всъ получають. Тамъ лучшіе русскіе писатели, поэты. Воть сегодня Димитрій Караваевъ, напримъръ, стихи.
- Мы въ эфтимъ непричинны, а кофе сейчасъ. Съ печеньемъ прикажете?

И это называется слава: въ кофейной пассажа "Занозу" не получають.

- Да вѣдь "Заноза" при васъ! изумился лакей увидя цѣлую тетрадку свѣжихъ номеровъ.
 - Это мои.

Онъ съ удивительною нѣжностью разглаживалъ смятые номера, и ему казалось, что отъ этой бумаги его всего охватываетъ какимъ-то особеннымъ ощущеніемъ. Вотъ они, эти стихи. Длинные. И какъ напечатаны красиво! Строчки короткія. Право, вышло какъ-то стройно. Тонкою колонкой. Онъ подсѣлъ къ свободному столу, около швырнулъ этотъ номеръ. Своими стихами на вскрышку. Подошелъ туда какой-то чинодралъ. Взялъ "Занозу". Митенька готовъ былъ обнять его въ эту минуту... Чинодралъ потребовалъ себъ кофе и сталъ перелистывать...

— Ахъ, негодяй, смотрить карикатуры. Идіотъ! Смѣется. А стихи миновалъ, точно переступилъ черезъ нихъ, даже разсѣяннымъ взглядомъ не остановился на Димитріи Караваевѣ. Вѣрно, не замѣтилъ...

Митенька весь покраснёль даже.

- Вамъ "Заноза" нравится?—вдругъ осмълълъ онъ.
- "Заноза"?.. А это "Заноза"?.. Да ничего. Журнальчикъ съ перцемъ.
 - Тамъ хорошіе стихи печатаются.

— Стихи? Я, знаете, стиховъ пе читаю... Глупое дъло. Вотъ разсказцы изъ жизни люблю... Особенно обличительные. А стихи что. Еще ода "Богъ" или "Полтавскій бой" я понимаю, а нынъшніе "треньбрень"— только мъсто занимаютъ. Это для пустыхъ людей...

Заплатилъ пятакъ и пошелъ на службу.

Митенька было увяль. Но сейчась же подошель какой-то писарь и весь углубился въ "Занозу". Только и успъль проговорить "стакань чаю съ молокомъ". Митенька уже заранъе полюбиль этого человъка. Еще бы! Прочель его стихи и опять ихъ читаеть.

— И какое у него благородное лицо...

Но судьба берегла Караваеву еще одну розу.

- Эй, человъкъ! позвалъ писарь.
- Чего прикажете?
- Дай мив карандашъ.

Димитрія Николаевича даже приподняло.

"Господи! Да въдь онъ мои стихи списываетъ. Такъ и есть... Право мои стихи. Вотъ чуткая, поэтическая душа. Жаль, что нельзя броситься и обнять его.

И опять не удержался отъ вопроса:

- Вамъ нравятся въ "Занозъ" эти стихи?
- Еще жъ бы. Очень чувствительно...
- Вы ихъ даже списываете?
- Для дъвицъ. Къ намъ, къ военнымъ, то и дъло дъвицы пристаютъ: скажите да скажите стишокъ. А тутъ про смерть—очень хорошо! Другую такъ ушибешь этимъ!
 - "Заноза" вообще отличный журналь.
 - Это намъ все равно...
 - Скажите, чье это стихотвореніе?

- Ковыряевъ какой-то! даже и не взглянулъ писарь.
- Нътъ. Кажется, Димитрій Караваевъ... Черезъ "а". Знаете есть Коровай! Черезъ "о"! А это черезъ "а". Молодой, очень талантливый поэтъ. Объ пемъ скоро заговорять всв. Я его первый разъ встръчаю въ печати.
- Намъ наплевать-съ. Ковыряевъ или Караваевъ. И талантъ его при емъ останется. Намъ стишокъ для дъвицъ нуженъ. Для разстрълу при случаъ. А черезъ "о" или черезъ "а"—какъ угодно...

И долго еще сидълъ тутъ Димитрій Николаевичъ, наблюдая за тѣмъ, какъ читаются его стихи, до тѣхъ поръ, пока какой-то обстоятельный господинъ въ вицмундирѣ не выпилъ свой кофе и, внимательно взглянувъ на отвернувшагося лакея, не сложилъ "Занозу" и съ благочестивою миною не всунулъ ее въ портфель... Потомъ, принявъ гордый видъ, вицмундиръ съ большимъ достоинствомъ вышелъ отсюда.

Я еще спаль—наканунь до пяти утра писаль. Какъ вдругъ что-то точно толкнуло меня.

Вскакиваю—у меня темно. Сквозь форточку въ кухню комната моя днемъ не могла особенно освъщаться. Бывало, на дворъ солнце, а у меня ночь ночью.

— Кто тамъ? — силюсь разсмотръть.

Кто-то чиркаетъ спичкой. Противный запахъ съры наполняетъ мой уголокъ. При внезапно вспыхнувшемъ желтомъ огонькъ первое, что я вижу,—разбъгающихся во всъ стороны таракановъ, потомъ — улыбающееся, умиленное, восторженно - глупое лицо Митеньки. Онъ протягиваетъ мнъ свъжій номеръ "Занозы".

⁻ Что такое?

— Мои... мои стихи!.. И подпись. Вы посмотрите на подпись. Какъ это вышло отлично. Видите—Димитрій Караваевъ.

XI

Отвъта изъ дому еще не было, но Димитрій Николаевичъ въ немъ не сомнѣвался. Молодежь вѣритъ въ то, чего ей хочется. Въ этомъ ея великое счастіе. Какъто утромъ и Караваевъ и Лиза зашли за мною.

- Пойдемъ въ Гостиный дворъ и на рынокъ.
- Зачѣмъ?
- Да въдь надо устраиваться. Передъ свадьбой-то! Я живо одълся и вышелъ. Мы переходили изъ лавки въ лавку, ко всему приценивались и ничего не покупали. Ръшили: Лиза будеть вънчаться въ бъломъ шерстяномъ платьъ. Шелкъ тогда быль дорогъ. Караваевъ великодушно оставался въ сюртукъ съ таліей на затылкъ. "Миъ все равно, - объявлялъ онъ. - Я и такъ для Лизы хорошъ". Квартиру думали взять въ три комнаты. Гостиную репсовую: диванъ, два кресла, четыре стула и круглый столь пока... Спально простенькую, столовую еще проще. Письменный столь Митеньки ставили въ гостиной. Тамъ же собиралась работать и Лиза. Часа четыре мы ходили такимъ образомъ, спорили съ приказчиками, записывали на образчикахъ цъны, сравнивали одни съ другими и по нъскольку разъ возвращались назадъ. Въ посудныхъ лавкахъ погружались неопытными пловцами въ бездонныя хляби хозяйства. Ссорились въ Гостиномъ дворъ изъ-за занавъсокъ на окна и изъ-за былья на постель, когда, наконенъ, раздосадо-

ванный постоянными противоръчіями слишкомъ широко считавшаго Митеньки, я спросилъ:

- Да сколько у васъ на все денегъ?
- Какихъ?
- Господи! Сколько у васъ и у Лизы рублей въ карманъ?
 - Сейчасъ?
 - Ла.
- -- Рублей патьдесять наберется. Моихъ двадцать да ея тридцать.

Я остолбеналь. Съ трудомъ пришелъ въ себя.

- Чего жъ вы хлопочете, торгуетесь?
- Да какъ же, передъ свадьбой это всегда. Правда, Лиза, всегда?
- Разумъется, Василій Ивановичь, всегда. Такъ полагается—ходять, смотрять, выбирають.
- Да на какія же деньги, чорть вась возьми? И я тоже дуракь, связался.
 - Какъ на какія деньги? На тысячу рублей.
 - Какую тысячу? Съ неба она свалится, что ли?
- И вовсе не съ неба. У меня всего написано четыре тысячи двъсти семь строкъ стиховъ.
- Hy?
- Матвѣй Матвѣичъ мнѣ заплатилъ по четвертаку строчка. При васъ вѣдь?
 - При мнъ, что жъ изъ этого?
- Я считаю четыре тысячи двъсти семь на дваднать пять и получаю тысячу пятьдесять одинъ рубль семьдесять пять копеекъ. Правильно?
- Умноженіе или деньги?
 - И то и другое.
 - Умноженіе върно, а деньги нътъ.
 - Да въдь я-то получаль ужь?

- Что же вы, идіоть этакій, воображаете: "Запоза" цълый годъ только ваши стихи будеть печатать?
- Зачъмъ "Заноза"? Я отнесу въ "Современникъ" къ Некрасову—разъ, въ "Отечественныя Записки" къ Краевскому—два, въ "Искру" къ Курочкину—три. По тысячъ стиховъ въ каждый журналъ, вотъ ужъ семьсотъ пятьдесятъ рублей, а мебели всего мы наторговали на четыреста. Слъдовательно, триста пятьдесятъ на хозяйство.

И столь непоколебимо смотрять на меня оба, что я и самь вдругь пов'вриль: разум'вется, такъ этому и быть! И не только пов'вриль, но потащиль ихъ на Апраксинь дворъ, и тамъ мы всю эту исторію начали снова...

Этимъ не кончилось.

На слѣдующій день началось то же, съ тѣмъ различіемъ, что въ подготовкъ "молодого гнѣзда" приняли участіе, во-первыхъ, "утконосъ", а во-вторыхъ, необычайно толстая, подлаго вида, сопливая баба въ аляповатомъ бурнусѣ съ желтыми разводами.

— Это моя... тетенька! — покрасића Лиза. Ужъ очень она хорошо описала намъ ее раньше. И потомъ, отведя меня въ сторопу, шопотомъ:— Что мић дълать? Какъ узнала, что я выхожу замужъ,—прибъжала и во все вмѣшивается.

Тетенька, впрочемъ, сама поторопилась объяснить.

— Молоденькіе (слезу изъ глаза), развѣ они чтонибудь понимаютъ безъ насъ. Мы обязаны помочь. Я ужъ и то рѣшилась, если они захотятъ, перейти къ нимъ заняться хозяйствомъ.

Лиза съ ужасомъ посмотръла на меня.

— Н'єть, это зачёмъ же! — вмёшался я. — Имъ и однимъ будеть отлично. Чужимъ не следуеть соваться.

- Какая же я чужая! Я ея тетя... Одна и осталась у нея изъ родни.
 - Нътъ мы сами, сами, оторопъла Лиза.
- Видите ли какіе они нып'єтніе, жаловалась "тетя" разслабленно и покорно "утконосу". Мы для нихъ себя, можно сказать, не жал'ємъ, а они скажите, пожалуйста...
- У покойнаго мужа тоже быль двоюродный брать. На хорошемь мѣстѣ,—вдругь вспомниль "утконосъ".— Ну, какъ мой Сергѣй Өомичъ померъ—я къ нему. Что же онъ-то? Какое выдумалъ. Ну, представьте себѣ, сдѣлайте одолженіе.
- Велѣлъ кофій подать. Въ такихъ случаяхъ всегда кофій.
- Какъ же, дождещься, -торжествовалъ "утконосъ". -Кофій! Позвалъ собаку — Балкашку, да и давай ее куси, куси. Это меня-то. Она прямо цапъ за подолъ и башкой во вст стороны. Я — въ дверь, а онъ и на лъстницу: Балкашка, изми ее, изми ее! Балкашка, куси-куси. Но тоже Богъ и его наказалъ потомъ. Сначала онъ женился на богатой съ лабазомъ. Но богатая, потому какъ онъ рябой былъ, съ офицеромъ бѣжала. У офицера лицо-то чистое, румяное, какъ пирожокъ! А послъ его родственника моего и вовсе со службы прогнали. Потомъ по улицамъ ходилъ "благородному человъку келькшозъ" выпрашивалъ. И я, бывало, какъ встрѣчусь съ нимъ, сейчасъ ему двѣ копейки: примите Христа-ради. А онъ меня ругательски ругаетъ. Такая ты, говоритъ, сякая! Такъ что даже его въ полицію водили. И не будь онъ изъ благородныхъ, непремѣнно наказаніе бы на тѣлѣ получилъ.
- Видите! A еще говорять Бога ивть!—радовалась тетушка.

- Нѣтъ ужъ тамъ какъ вы хотите, а этой подлости, чтобы оставить васъ однихъ, я не сдѣлаю. Я тоже Господа своего помню!—уже свиръпѣла она.
 - Я, кстати впрочемъ, вмѣшался.
 - Вотъ прівдеть его папаша!-пригрозиль я.
- Ну, что жъ. Пусть старичокъ съ нами поживетъ тоже да порадуется.
- Да, но онъ генералъ... И первымъ дѣломъ васъ въ кварталъ отправитъ. Ты что это, заоретъ, дрянь этакая, не въ свое дѣло поганый носъ суешь?

Тетушка такъ и осталась на полудорогѣ съ разинутымъ ртомъ.

Надо отдать справедливость моему пріятелю и Лиз'ь. Они оба оказались необыкновенно предусмотрительны. На другой день посл'є описанныхъ событій я ихъ засталь въ страшныхъ хлопотахъ. Они составляли реестръ всего, что надо было купить. На лист'є бумаги сверху было выведено крупно: "обзаведеніе", зат'ємъ сл'єдовало въ дв'є колонны перечисленіе всевозможныхъ предметовъ хозяйства и мебели. Противъ каждой графы стояла ц'єна и указаніе магазина. Не даромъ приц'єнялись! Но сумма повергла обоихъ въ горестное недоум'єніе.

- Представьте, не выходить! всплеснула исколотыми ручонками Лиза, когда я вошель.
 - Что не выходить?
 - Двухсоть рублей недостаеть.
- Глупости. Посижу недолго и напишу восемьсоть стиховъ. Вотъ и двѣсти рублей.
 - Да ты отнесъ стихи ужъ въ редакцію?
- Еще бы, давно. Въ четвергъ и въ "Современникъ" и въ "Отечественныхъ Запискахъ" объщали

отвътъ дать. Такъ что съ пятницы мы примемся за покупки.

И мнъ это казалось такъ просто и естественно.

Въ четвергъ сижу я у себя за работой, какъ вдругъ, слышу, меня спрашиваетъ Караваевъ.

— Митя, вы?..

Вошелъ мрачный... Лица на немъ не было. Ощущеніе и стыда, и чисто физической боли, и разочарованія—все вмъстъ. Точно его высъкли.

- Что съ вами... Лиза здорова?
- Утромъ была здорова... Теперь я еще не видѣлъ ее.
 - Были въ редакціяхъ?

Молчаніе.

- Не были?
- Разумъется, былъ. Въдь сегодня назначено...
- Ну и что же. Съ получкой?
- Да вы смъетесь надо мною, что ли?
- Разскажите въ чемъ дѣло. Придите въ себя—а то совсѣмъ молодой турокъ, котораго собираются на колъ сажать.
 - Сядешь! Вы знаете-все погибло.
 - Что все?
 - Ну, мебель... ложки... простыни, что ли, зеркала, кастрюли.
 - Ничего не понимаю.
 - Я сначала въ "Отечественныя Записки" сунулся на Бассейной. Самого Дудышкина видълъ.
 - Не прочелъ еще?
 - Какъ не прочелъ! все.
 - И что же?

Митя махнулъ рукой.

— Да говорите же, чортъ васъ возьми.

- Ну. что, если онъ... Понимаете, держить въ рукахъ мою тетрадку... Размахиваеть и смотритъ на меня, какъ на обезьяну въ Зоологическомъ саду... Смотрълъ-смотрълъ, а потомъ спрашиваетъ: это вы все написали? Я... Жаль, сколько хорошей бумаги испортили. Вёдь голландская? Да, голландская! Ну, воть видите... У васъ--такъ и рѣжеть--никакого таланта. Стихи гладкіе, такъ вѣдь у насъ всякая институтка гладко пишетъ, и потомъ все подражанія... Это воть Фетомъ пахнеть, а это Некрасовымъ. А этимъ вы совству у Майкова позаимствовались, только что своими словами разсказали. Воть вамъ мой совъть. Бросьте вы это дело и отправляйтесь домой къ папенькъ. Доучивайтесь. Ну, а ужъ если такая страсть у вась къ стихамъ: переводите. Какъ обухомъ онъ меня! Я, говорить, не одинь читаль, Лъскову показывалъ, Крестовскому, и тѣ то же самое. Выслушалъ я и ужъ совствить глупо спрашиваю: значить, напечатать нельзя? Засмѣялся Дудышкинъ. Знаете, сколько за этотъ годъ такихъ стиховъ намъ прислали... Три пуда двадцать семь фунтовъ. Недавно въ лавочку на обертку селедокъ продалъ у меня Гаврила. Единственная польза, которую принесли они.
 - Дудышкинъ былъ просто дурно настроенъ...
- Ну, нѣтъ... Я потомъ къ Некрасову сунулся. Они вѣдь въ одномъ и томъ же домѣ на Литейной, на углу Бассейной. Самъ тоже принялъ. Вышелъ лохматый, въ халатѣ, недовольный чѣмъ-то. Увидѣлъ меня, разозлился. Это вы, хрипитъ, столько наваляли? Я-съ! Стыдно. Вамъ учиться надо, а вы глупые стихи пишете. Ночи-очи, ручьи-соловьи, она-луна... Вы молодой человѣкъ, вамъ непростительно, вы должны готовиться къ жизни серьезно... Кому эта труха?.. А вы

прямо ко мнь несете... Отчего вы въ другіе журналы не сунетесь? Я ему тихо, "меня-де въ "Занозъ" печатають". Въ "Занозъ?" и убирайтесь въ "Занозу", тамъ вамъ настоящее мъсто... Потомъ вдругъ спокойнъе: я не говорю, что у васъ способности нътъ. Есть. Только вамъ еще много работать надъ собою и главное учиться, учиться. Вы воображаете это дается даромъ? Какъ же! Ларомъ, батюшка, наши мужики говорять, и чирей не вскочить. Вы, разумвется, быдны?.. Я молчу. Ну, ясное д'вло. Ищите занятій. А года черезъ два-три приходите. Можетъ-быть, и выработаетесь. Если у васъ настоящій таланть — онъ обнаружится... Потомъ запахнулся этакъ халатомъ, наступаетъ на меня и въ упоръ: денегъ нътъ? Нътъ, говорю. То-то и есть... Фыркнулъ. Сълъ къ столу, написалъ на клочкъ. Вотъ завтра сходите въ контору, вамъ выдадутъ...

— Покажите.

Митенька протянуль мнѣ листокъ.

"Уплатить г. Караваеву въ счеть гонорара семьдесять рублей".

- Въ счетъ гонорара—значитъ: что-нибудъ да напечатаетъ.
- Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ. Потомъ, говоритъ, когда вы что-нибудь порядочное напишете мы сочтемся. А пока не бойтесь, берите. Я самъ въ ваши годы нуждался, да еще какъ! Не стѣсняйтесь... Меня это не разоритъ, берите! И вдругъ у него голосъмягкій-мягкій сдѣлался. Даже не узналъ я его. Ну, что я теперь скажу Лизѣ? Вѣдь она ждетъ меня, какъ праздника.

XII.

Всего спокойнъе къ писательской пеудачъ Митеньки отнеслась та, которой это больше всего касалось. Лиза выслушала разсказъ Караваева вполнъ равнодушно и, только поднявъ на него ласковые и большіе глаза, проговорила:

- Значитъ, квартиру не надо. И здѣсь намъ отлично.
 - То-есть, какъ здѣсь?
- А вотъ у утконоса, какъ ее называетъ Василій Ивановичъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ намъ дурно? На что ты пожаловаться можешь? Мнѣ та квартира, которую мы смотрѣли, не ндравится (никакъ не могла выучиться произносить этотъ глаголъ какъ слѣдуетъ!) Холодно тамъ, уюту нѣтъ. А тутъ мы съ тобой во всѣхъ уголкахъ цѣловались. Возьмемъ, вонъ, еще комнатку,—указала она на прежній Митенькинъ уголь—ну и будетъ. Тутъ спальная, а тамъ остальное. Что ужъ, не къ лицу намъ по-барски жить.
 - А твое подвѣнечное платье?
- Еще чего. Чѣмъ я лучше горничныхъ. Тѣ въ чемъ есть, въ томъ и идутъ въ церковь. Г
 - Однако...
- Да мы для людей или для Бога? Богу-то этого совсёмъ даже не надо. Сходимъ въ церковь, а потомъ сюда чаю напиться, вотъ и все. Правда, въдь? Что жъ еще притворяться. Всё видятъ.
 - Я этого такъ не могу.
- А иначе я не хочу. Воть, у меня есть бѣлое батистовое платье. Совсѣмъ еще новое. Если его почистить, да выгладить, да подбавить бантиковъ, лен-

точки-то по семнадцати копеекъ аршинъ—и всего ихъ пойдетъ на два рубля. Ботинки у меня совсѣмъ цѣлыя. А шляпку я себѣ такъ перелицую.

- Шляпки не надо...
- Вѣнцы мы возьмемъ самые дешевые. Съ батюшкой ты поговоришь, онъ уступку сдѣлаетъ. Въ случаѣ чего,—я ему работой, то же вѣдь дочки есть понадобится выдавать ихъ. У поповъ-то приданое загодя по сундукамъ накопляютъ. Глупый ты, Митенька. Чего носъ повѣсилъ?
- Положимъ, и Пушкину сразу не везло. Тоже и онъ Байрону подражалъ.
- Ну, вотъ видишь. Если такіе господа тебѣ и Богъ велѣлъ.

Потомъ сама мнъ разсказывала, смъясь:

— И съ чего только мы купцовъ ворошили. Образчики смотръли. Я этихъ образчиковъ столько набрала, не знаю еще, что съ ними сдълаю, а въдь на чтонибудь путпое хватитъ. Особенно мебельщики—страсть, какъ старались. Сверху-то внизъ стулья да столы таскали. Хвастались. И тетушка! Только что было прицъпилась къ намъ, а мы попрежнему. Сюда-то въдь не переъдетъ.

Зато "утконосъ" остался очень доволенъ. У него комнаты не освобождались, нечего было опять приклеивать билетики къ окнамъ и воротамъ и затъмъ вести безчисленные дъловые переговоры съ искателями пристанища. Да еще, пойди-ка, поищи ихъ. Небойсь, не сейчасъ-то и найдешь.

Прихожу я къ нимъ, хохоть издалека слышенъ.

- Что тамъ у нихъ?—спрашиваю у "утконоса".
- Извъстно, молодые. Имъ все игра на умъ...
- Знаете, мы съ Лизой рѣшили здѣсь остаться.

- По одежкъ протягивай ножки.
- Выше ушей не прыгнешь!
- И туть отлично. Я, знаете, горшочекъ герани купила. Видите, какая она миленькая. Отворю окно,она сейчасъ же и зашепчетъ. Съ вътеркомъ разговариваетъ, — такъ ясно и хорошо у меня на душт съ нею. Работаю, а сама нътъ-нътъ да и посмотрю, какъ она вздрагиваеть. Живая-тоже къ солнышку тянется. А скоро по ней красные цвъточки пойдуть. Вы погодите-ка, я еще собыюсь на розу, на настоящую. Съ бутонами. Совстмъ у насъ здтсь свой садъ будеть и на дачу выважать не зачемъ. Правда? Что это у васъ воротничокъ оббился. Давайте мнв. Я вамъ его починю: у меня полоска полотна есть — отлично его обошью, будто нарочно будеть. Видите, вонь у Митеньки какъ. Ишь рукавчики тоже оббиты рубчикомъ. Я ему сама стираю рубашки. Легкое ли дъло по пятиалтынному платить!

Митенька примирился съ судьбой.

Онъ строчиль кое-что для "Занозы", хоть кряхтьль при этомъ.

- Теперь онъ у меня все за долгъ печатаетъ.
- А много еще осталось?
- Да нумеровъ на пять... Я на одно разсчитываю, отецъ къ свадьбѣ пришлетъ. На что, на что — а ужъ на это раскошелится, и тогда я сейчасъ засяду за романъ.
 - Вона!
 - Да. Я ужъ обдумалъ все. Первая часть въ океанъ.
 - Да вы море видъли?
- Гдѣ же мнѣ было? Ни въ Стародубѣ ни въ Новгородѣ Сѣверскомъ моря нѣтъ. Есть рѣка Десна. А вторая часть въ Южной Америкѣ. "Сынъ Отечества"

такіе романы ужасно любить. Я сейчась его къ Старчевскому. Онъ съ удовольствіемъ. Говорять, за романь, случается, по сту рублей платить. А въдь я каждый мъсяць могу по такому.

Въ сущности болъе однообразную жизнь трудно себъ представить, чъмъ та, которую вела молодая пара. Вставали они не рано-Лиза порывалась было къ работъ, но Митенька не пускалъ ее, и ей долго приходилось отбиваться, прежде чёмъ удавалось спустить босыя ножки въ шлепанцы и добраться до рукомойника. Умывшись, она начинала стыдить "мужа"; когда это не помогало, брызгала въ него водой, а онъ швырялся чёмъ попало: жилетомъ, штанами, бёльемъ. Когда ему это надобдало, онъ, нечесаный, въ одномъ быль присаживался къ столу и, нахмурясь, ждалъ вдохновенія. Было вдохновеніе-писаль стихи, нітьнабрасываль романь "Въ Америку". Въ это время "утконосъ" приносилъ самоваръ. Если чай и сахаръ въ наличности-пили чай, нъть-распаривали въ чайникъ кръпкія, какъ кирпичъ, баранки и питались. Не оказывалось баранокъ- Митя мрачно од вался и шель для затруднительныхъ, при ихъ пошатнувшемся государственномъ кредитъ, операцій внъшняго займа. Спускался въ мелочную лавку, разсказывалъ толсторылому и курносому ярославцу - приказчику на отчетв нвчто необыкновенное, напримъръ, объ ожидающихся въ Россіи труст и нашествіи иноплеменниковъ, о появленіи надъ Чебоксарами новой звізды въ видів меча, указующаго Англію.

— Англія точно. Она подлая, — немедленно соглашался ярославецъ.

Подготовивъ такимъ образомъ почву, Митенька небрежно говорилъ:

 Пожалуйста, отвъсьте на книжку чаю, сахару и ситника съ колбасою.

Если ярославецъ былъ очень потрясенъ сообщенными ему новостями, въ видимомъ обалдъніи отвъшивалъ, если же, напротивъ, въсти были не такого рода, чтобы сбить его съ толку, онъ въжливо растопыривалъ руки и, обнаруживая величайшее сожальніе, журчалъ:

- Въръте совъсти... Въ послъднюю субботу и то хозяинъ—"я, говоритъ, тебя подлеца сгоню съ отчета. Все-то ты въ долги роздалъ..." И сейчасъ въ знакъ чувствъ по скулъ.
- Да вѣдь я на дняхъ получу съ редакціи и отдамъ.
- Это точно-съ. Какъ вы люди образованные, а мы простые мужики... Но надо вникнуть и въ наше обхожденіе. Мы, какъ вамъ извъстно, обвязаны отчетомъ—кругомъ вода! Вотъ, напримъръ, пастила—она ломаная, а съ насъ, какъ за цълую, спрашиваютъ.
 - Ну, одного чаю и сахару.
 - Моя воля,—я бы всю лавку вамъ предоставилъ... И Митенька угрюмо возвращался домой.

Лиза внимательно вглядывалась въ него и немедленно пакидывала на плечи ковровый платокъ.

- Вы что жъ это мужу не отпустили ничего?..
- Лизавета Андреевна!..
- Мы васъ надували когда? Въ прошломъ мѣсяцѣ сполна уплатили?
- Потребуйте оть меня: Семенъ, вырви сердце, —сейчасъ для вашего удовольствія, чтобы ваши ножки по оному ходили и топтали.
- Ми'в не сердце ваше нужно. Вы все только хвастаетесь.

- Хвастовство—наше богатство, а Господь видить наши обстоятельства.
- Врите больше... Хозяинъ! Тоже нашли чучело. Такъ вы его и испугаетесь!
 - Лизавета Андреевна-факть, но върпо-съ!

Лиза обыкновенно была счастливъе и возвращалась съ тюричками и фунтиками. Но приказчикъ съ нея при этомъ бралъ объщаніе.

- Ужъ вы, пожалуйста, не забывайте доброты нашей.
 - Ладно, ладно.
- Въ субботу при хозяинъ пожалуйте и пепремънно про меня: услужливъй-де тебя, Семенъ, нигдъ нътъ. Я прежде напротивъ брала, а теперь все къ тебъ хожу. Ужъ очень ты для покупателя пріятенъ.
 - Хорошо... хорошо.

Посль чая со всьми онерами, Лиза, не разгибая спины, работала до шести часовъ. Митенька — тоже. Когда онъ уставалъ, уходилъ или ко мнѣ или къ Волгину, а то и такъ шатался по улицамъ, искалъ сюжетовъ. Гулялъ по Лѣтнему саду, заводилъ знакомство съ букинистами или бъгалъ въ кофейно подъ пассажемъ читатъ газеты. Черезъ день аккуратно онъ являлся на почту.

— Нътъ ли мнъ до востребованія?

Но письма, такъ нетерпѣливо ожидаемаго и имъ и Лизой, еще не было.

Къ шести онъ возвращался, и они шли въ кухмистерскую объдать, а послъ объда, если у Лизы была работа, она за нею засиживалась до поздней ночи, если нъть—они, подъ ручку, забирались часто Богъ знаеть куда и, мечтая о томъ времени, когда они ока-

жутся такъ богаты, что оть нихъ и всемъ кругомъ будетъ хорошо.

XIII.

Казалось, этой идилліи конца не будеть.

Даже было странно: Лиза и Митенька въ полномъ развалъ петербургской сутолоки завели себъ голубятню и знать ничего не хотять. Точно въ самомъ дълъ здъсь можно было невозбранно устроить столь несоотвътственную жизнь. Да не только устроить, но и въ загадочныя глаза судьбы смотръть такъ вызывающе, какъ это дълали они.

- Ой, братецъ, съвстъ тебя крокодилъ! предсказывали Митенькъ.
 - А, можеть-быть, я его.
 - Ты?
- Да, именно! Что за дряблость поддаваться всему!

Въ самомъ дѣлѣ какая-то Аркадія и гдѣ же— на Большой Подъяческой!

Но судьба надъ собою посмъться имъ не дала. Она скоро положила конець этому историко-географическому недоразумъню. Сидъли мы какъ-то въ этой Аркадіи и благодушествовали. Лиза возилась за самоваромъ. Митенька читалъ намъ новую свою поэму "Монтезума". Онъ все это время былъ въ героическомъ настроеніи и послъ Монтезума собирался писать Александра Македонскаго, находя, что у Смарагдова (тогда учились еще по этому красноръчивому исторіографу) для этого было достаточно матеріала. Какъ теперь помню—завели мы споръ, можно ли риомовать "Америка" съ "берега". Митенька, допустившій эту

вольность, утверждаль, что можно, я свиръпо накидывался на него, а Лиза, дълая круглые глаза, удивлялась, какіе мы умные люди и какъ она счастлива, попавъ въ такую компанію. Вдругъ двери къ намъ отворились, и въ нихъ показалось нѣчто въ родѣ моржа, поставленнаго на хвостъ и облаченнаго въ военное пальто безъ погонъ. Митенька привсталъ, поблъднълъ, покраснълъ и съ крикомъ "папенька!" кинулся лобызать моржовые усы. Потомъ усердно заприкладывался къ рукѣ новоприбывшаго и, обернувшись къ своей "женъ", какъ-то взвизгнулъ:

— Лиза, это-папаша! Папаша, это-Лиза.

Но моржъ, отдавшій, по его мивнію, достаточную дань отеческимъ чувствамъ, вдругъ нахмурился и, отстранивъ робко подвинувшуюся къ нему Лизу, хрипло спросилъ:

- Прежде всего покажи мнѣ свою комнату! .
- Вотъ она.
- Да, но тутъ... Эта... эта...— показалъ онъ бровями на Лизу,—эта особа.
 - У насъ одна комната-общая...

Моржъ покосился на кровать.

- Я тебъ, кажется, на развратъ благословенія не давалъ.
 - Папаша!
- Погоди... Мы тебя отпустили изъ Стародуба неиспорченнымъ мальчикомъ, въ надеждѣ, что вложенныя въ твое воспитаніе основы помогутъ тебѣ устоять въ борьбѣ со столичными соблазнами. Я вижу, что опибся...

Очевидно, рѣчь была приготовлена въ дорогѣ. Произнося ее, моржъ зажмурился и выдерживалъ паузы:

- Дурные примъры товарищей (взглядъ въ мою сторону), безнравственныя встръчи (тоже—на Лизу), легкомысліе и отсутствіе правильныхъ занятій сбили тебя съ намъченнаго пути. Ты забылъ, что цъломудріе есть высочайшая изъ добродътелей.
- Какъ лошадь благородивищее животное! вставиль я.
 - Чего-съ?-изумленно повернулся онъ ко миъ.
 - А золото драгоцівни війшій изъ металловъ...
- Милостивый государь!—побагровёль моржь.—Не имію чести вась знать.
- Честь не велика. Позвольте представиться: Суза-Муза-Лаперуза графъ Мендоза-де-Бутоза...

Какъ моржъ не задохнулся въ эту минуту! Очевидно, переживъ ее, онъ могъ ужъ не опасаться за свою дальнъйшую жизнь.

- Папаша,—заступился Митенька,— это нашъ извъстный поэтъ, писатель.
- Исторіографъ Негуса Абиссиніи и поэтъ лауреатъ королевы Сандвичевыхъ острововъ Камбалы CLIV-ой. Къ вашимъ услугамъ.

Я сділаль шагь впередь и отвісиль моржу самый церемонный поклонь.

Моржъ попятился кь дверямъ, видимо, нѣсколько сомнѣваясь, не очутился ли онъ ненарокомъ въ сумасшелшемъ домѣ.

- Димитрій, я хочу съ тобою переговорить безъ этой дъвки и не при твоемъ странномъ товарищъ.
- Такъ выражался старъйшій изъ попугаевъ въ самомъ большомъ Бразильскомъ лѣсу, закончилъ я тъмъ же тономъ.

Лиза стояла вся блёдная, съ расширившимися глазами; если бы передъ ней вдругъ провалился полъ и

въ зіяющей пропасти сверкнула геенна огненная, бъдная женщина была бы меньше поражена. У меня все клокотало въ душт отъ бъшенства. Я чувствовалъ, что дрожу самъ. Право, я былъ способенъ швырнуть моржа въ окно, сбить его на лъстницт, что ли. Разумъется, мнт было все равно, какъ онъ относится къ сыну, но передъ Лизой весь нашъ кружокъ благоговълъ; мы на нее молились Богу. Оно и понятно: мы до тъхъ поръ лучше женщинъ не видъли.

— Лизавета Степановна! — подошель я къ ней. — Сдѣлайте честь дать мнѣ вашу руку. Намъ, дѣйствительно, не мѣсто здѣсь, пока не уйдеть отсюда этоть господинъ, забывшій, что онъ у васъ и позволившій себѣ выходку, достойную вполнѣ той трущобы, изъ которой онъ вылѣзъ. А вы, — обратился я къ Митенькѣ, — современный Арманъ Дюваль, знаете, гдѣ меня найдете. Я буду у себя съ вашей женой. Когда вы освободитесь отъ далеко не почтеннаго родителя (съ которымъ я вовсе васъ не поздравляю), приходите скорѣй. Когда онъ уйдетъ, попросите хозяйку покурить здѣсь. Addio, благородные синьоры, да благословить васъ праведное небо!

Рука Лизы, опиравшаяся на мою, дрожала. Блѣдная - блѣдная, дѣвушка не понимала, что съ ней.

- Что это, что это? Неужто я заслужила, чѣмъ такимъ? Что я ему сдѣлала! Не покладая рукъ работала, берегла Митеньку, любила его...
- Дѣтка, плюньте на каку! Самое лучшее!—рекомендовалъ я ей.
 - За что же... И почему онъ молчалъ?
- Митенька? Растерялся. Думалъ, нивъсть какъ обрадовалъ папашу, а тотъ вдругъ первымъ дъломъ

его за хвостъ: ахъ ты, такой-сякой. Вдвоемъ они лучше объяснятся наединъ.

- Нътъ. Я вижу, знаю, конецъ моему счастью.
- Лиза! Не стыдно? Сейчасъ же голову опускать. Вотъ ужъ отъ васъ я этого не ожидалъ.
 - А онъ?
- Онъ... Любить онъ васъ вернется, нѣтъ поставьте на него крестъ и только.
- Это вы все по-книжному. Точно легко отъ сердца оторвать. Съ кровью вѣдь. Развѣ я не любила его, Митеньку?
- И любите. Мы этого моржа живо сплавимъ отсюда—не безпокойтесь. А жениться и безъ него Митенька можетъ. Я это устрою. Да еще какъ, у оберъсвященника армии и флота. Знай нашихъ. Мы недавно такую же обвънчали у него пару.
 - Ну, нътъ, Василій Ивановичъ, этого не будетъ.
 - -- Чего этого?

А воть того, что вы говорите. Я между отцомъ и сыномъ не стану. Такъ любить буду. Авось, Богъ проститъ мнѣ это, а безъ родительскаго благословенія замужъ не пойду. Такъ нельзя. Мало ли что — пусть онъ считаеть себя свободнымъ.

Я думаю, публика, бывшая на улицѣ, не мало изумилась, видя меня цѣлующимъ руку Лизы.

- Такъ бы и ему, моржу этому, слъдовало съ вами...
 - Ну, вотъ!
- Вы сами, Лиза, не понимаете, какое вы сокровище. Такія, какъ вы, вѣками родятся. Мнѣ плакать хочется, глядя на васъ. Не будь подобныхъ вамъ давно бы міръ постигла участь Содома и Гоморры. Да попадись мнѣ такая! О, дураки, дураки... Не дѣлайте

плаксиваго лица. Увъряю васъ, что ваше сокровище не уйдетъ; разъ вы не хотите сами выходить замужъ—такъ его отъ васъ палкой не отгонишь. Понимаете. Что онъ сумасшедшій, что ли,—ну, гдѣ онъ найдетъ такую?

- Жалко его мнв. Ввдь онъ теперь...
- Ничего, ничего. Пусть будеть мужчиною...
- Я вамъ даже такъ скажу: если бы случилось, что отецъ его самъ бы меня началъ просить выйти замужъ за Митеньку, теперь бы ужъ и я не пошла. Послъ всего что было. У меня тоже есть...
 - Самолюбіе?
- Нътъ, своя женская гордость. Вы думаете, я такая лупетка, что себъ цъны не знаю? Слава Богу, вижу другихъ, какія онъ. Сколько угодно буду жить такъ съ нимъ. Не дура я тоже.
 - Вотъ такъ-то лучше.

И право, ни одинъ принцъ не велъ королеву такъ, какъ я Лизу въ это утро. Ея присутствіе около нанолняло меня чёмъ-то такимъ, отъ чего я самъ чувствовалъ себя выше, чище и благородиће. Господи! Въдь мы всъ были влюблены въ нее тогда и адски завидовали нашему пріятелю. Если бы онъ, кажется, позволиль себт оскорбить или обидать ее, то у него на дорогѣ выросло бы столько мстителей, сколько было насъ. Волгинъ писалъ ей стихи. Крутиковъ наливалъ слезами пьяные глаза свои при встрѣчѣ съ нею. А я мечталъ именно о такой подругъ. Она бы миъ скрасила жизнь, прежде всего потому, что не испугалась бы ея-въ темной комнаткъ, впроголодь, безъ всякихъ опредѣленныхъ надеждъ на то, что тусклое туманное, завтра будетъ лучше и ярче, чъмъ совсъмъ ужъ невыносимое сегодня. Лиза именно была тъмъ солнцемъ,

которое на всю жизнь потомъ бросаеть свои теплые лучи.

XIII.

Лиза сидъла у меня — когда, точно спущенный съ цъпи, ко миъ въ крохотный и темный уголъ ворвался Митенька.

- Ну, въ чемъ дѣло?
 - Лиза, милая, прости, ради Бога...
- Ты меня спрячешь?—обратился онъ ко мнѣ, успокоясь.
 - Разумвется.
 - Видишь ли, отецъ...
 - Старый моржъ?
- Ахъ, оставь свои шутки... Отецъ хочетъ во что бы то ни стало увезти меня съ собой. Я не могу, пока онъ здъсь, вернуться къ Лизъ... Тамъ онъ меня накроетъ. Лиза, запри мои стихи и погоди, когда онъ уъдетъ. Что у насъ было, что было!
 - А зачъмъ у тебя глаза заплаканы?
- Заплачеть! Едва-едва отд'влался. Ты знаешь... В'ядь онъ... Сов'встно сказать даже.
 - Ну?
 - Заперъ меня.
 - Какъ заперъ?
- Господи! Какъ запираютъ—на ключъ, а самъ ушелъ. Гостинцы матери покупать.
 - И ты быль въ заточени!.. Какъже ты выбрался?
- А опъ не замътилъ кромъ двери, въ комнатъ окно въ корридоръ, задъланное занавъской. Я дождался, когда тамъ никого не было слышно, прислуга ушла, вышибъ стекло и вылъзъ.

- Какъ Казанова?
- Что?
- Изъ венеціанскихъ тюремъ, і ріоті! Ты теперь, подобно Сильвіо Пеллико, можешь написать "Мои темницы". Швейцаръ тебя не схватилъ, благородный другъ, за шиворотъ?
 - Нѣтъ, отецъ никому ничего не сказалъ.
- Лиза, уходи скоръй. Нужно, чтобы тебя видъли одну. Отецъ, навърно, первымъ дъломъ бросится кътебъ.
 - Ты оставайся у меня. А я съ Лизой къ тебъ.
 - Пожалуйста, не дай ее въ обиду.
 - Не безпокойся, гидальго.
- Бѣдный мой Митенька!—жалѣла его Лиза и, поцъловавъ, ръшительно вышла вонъ.

Взъерошенный, растерянный, испуганный Митенька остался у меня, какъ котъ, загнанный кухаркиной метлой подъ печку. Онъ самъ потомъ признавался — вздрагивалъ при всякомъ шорохѣ въ кухнѣ и чуть не умеръ отъ ужаса, когда "кумъ-пожарный", явившись, паконецъ, задалъ тамъ глупой бабѣ надлежащую потасовку.

— Я цѣлую ночь не спалъ!—разсказывалъ Караваевъ послъ.

Старый моржь недолго заставиль ожидать себя. Часу не прошло—какъ дверь къ Лизъраспахнулась, и въ ней показалась его лысая, усатая, круглая голова. Но теперь ему уже приходилось имъть дъло не съ Митенькой.

— Позвольте узнать, какое право вы им'вете безъ докладу л'взть въ чужія комнаты?

Онъ поморгалъ на меня выпученными глазами. Они у него были совсъмъ какъ у рака.

- Quousque tandem Catilina abutera patientie nostra.
- Я за сыномъ. Гдъ сынъ?
- Потрудитесь убираться. Эта комната съ другою рядомъ взяты и оплачиваются Лизаветой Степановной изъ ея скуднаго заработка.
 - Я васъ спрашиваю, гдв Митенька?
- Развѣ я сторожъ брату моему Авелю? Лизавета Степановна, не правда ли, какое у этого джентльмена прекрасное лицо для изображенія трагическихъ злодвевъ на Александринской сценѣ?

Лиза вышла въ другую комнату.

- Распутная! Дрянь!
- Послушайте, вы! Вы когда нибудь пробовали летать? Крылья у васъ есть? Мы здѣсь на четвертомъ этажѣ, и если я васъ швырну отсюда въ помойную яму, могу васъ увѣрить, едва ли вы совершите благо-получно это воздухоплаваніе. Старый дуракъ!
- Какъ ты смъешь, мальчишка. Да я тебя, мерзавца. Бар-р-раній рогь!

Тутъ ужъ, признаюсь, я потерялъ терпѣніе. Богъ меня силенкой не обидѣлъ. Помню только, что я стараго моржа, какъ котенка, поднялъ за шиворотъ, принесъ въ кухню и передалъ удивленной хозяйкъ.

- Твоему сыну въ Лизѣ Богъ счастье послаль. Тебѣ передъ ней на колѣняхъ стоять. Понимаешь? Хорошо, что ты старъ—иначе на этой лѣстницѣ тебѣ бы и костей не собрать.
- Погодите... Погодите. Я на васъ найду управу.
 Найду. Я къ самому царю пойду.
 - Ищи. А пока убирайся.
- Гдъ Митенька? Гдъ мой сыпъ? Куда его спрятали?
 - Знаю, да не скажу...

И я съ силой захлопиуль дверь передъ самымъ носомъ у него. Но не прошло и получаса, какъ опъ вернулся опять уже въ сопровожденіи полицейскаго офицера.

Ваша фамилія? — офиціально спросилъ тотъ у меня.

Я назвался.

- Ваши занятія?
- Сотрудничаю въ такихъ и такихъ-то изданіяхъ. Альгвазилъ мгновенно изм'внилъ тонъ. Въ тѣ времена печать была еще въ почетѣ.
 - Что это за исторія?
- А то, что этотъ господинъ—старый моржъ—какъ видите врывается къ моей двоюродной сестръ (Лиза сдълала громадные изумленные глаза) и позволяетъ себъ оскорблять ее.
- Да, но тутъ живетъ нѣкто Димитрій Караваевъ. Вы меня извините. Я поневолѣ долженъ касаться деликатныхъ отношеній.
- Это ея женихъ. Онъ нанимаетъ у пея ту вонъ комнату.
- Что же вамъ отъ меня угодно? обернулся къ Катилинъ квартальный.
 - -- Арестовать ихъ обоихъ.
- Я не могу хватать людей для вашего удовольствія. Госпожа живеть по законному виду. Он'є изв'єстны мн'є тоже.—И съ поклономъ въ мою сторону:—Я подписываюсь на "Занозу". Напрасно только тревожите. У меня и безъ васъ д'єла много.
 - Ну, хорошо, хорошо... хорошо!
 - И "моржъ" затоптался на мъстъ, багровъя.
 - Я на вась буду жаловаться.

— Сколько угодно... До свиданья mademoiselle. Извините. Очень радъ познакомиться!.. Вашъ усердный читатель. Матвъя Матвъевича я тоже знаю. Они прежде въ нашемъ кварталъ жили.

Лиза уже улыбалась.

- Вы меня простите, обернулась она къ старику. Я не хотѣла васъ обижать. Напротивъ, всѣмъ сердцемъ была. Загодя ужъ любила вашихъ... И на васъ я не обижаюсь. Что жъ, вы—отецъ. Меня не знаете. Только успокойте себя, я вотъ ужъ имъ говорила. Теперь хоть вы сами просите, а за Митеньку я замужъ не пойду. Такъ его буду потому онъ у меня навѣкъ. Не сума я переметная, какая. Я только думала, что вы по-добру будете. И Митенька меня увѣрилъ, что вы хорошій.
- Да какъ ты смѣешь! зашипѣлъ и заплевался онъ.
- Нътъ ужъ теперь довольно. Слушала я до сихъ поръ и молчала. А теперь будетъ. Сказала я вамъ, что женой сыну вашему я не буду, значить, чужая я вамъ. Совсъмъ чужая... И не смъете вы больше меня обижать...
 - Ахъ ты! Такихъ въ кварталѣ дерутъ. Розгами...
- Жалко мнъ васъ, Василій Ивановичъ, оставьте ихъ. Потомъ они опомнятся имъ самимъ стыдно будетъ, только не вернутъ. Даромъ оскорбить человъка какъ это самому больно, когда душа проснется! Пусть вамъ Богъ проститъ. А онъ мое сердце видитъ никакого я зла вамъ не желаю, а что я сына вашего полюбила ему отъ этого дурно не было. Напротивъ. Сберегла я его и сберегу. А теперь благодарю васъ за ласку!

И Лиза поклонилась старику.

Онъ, наконецъ, вышелъ.

- Вы мнѣ отвѣчаете за нихъ!—пугалъ онъ хозяйку.
- Ну, ужъ, пожалуйста. Мой покойникъ самъ въ управъ благочинія служилъ. Очень я хорошо порядки знаю.
 - Вы пристанодержательствуете.
- Что? Вотъ вы за эти слова отвътите. Слышите, что безстыдникъ говоритъ. Мнѣ, пожилой дамѣ, вдовѣ, которая пенсіонъ за мужа получаетъ. Ахъ вы, срамникъ, срамникъ. Старый, скверный срамникъ... У меня еще сначала за васъ душа болѣла. Думала, пожилой. А онъ вотъ куда... Идите, идите. А то вѣдь я и дворника крикпу.

XIV.

Съ такимъ благороднымъ отцомъ въ роли злодъя какъ Митенькинъ родитель, всякая трагедія обращалась въ концѣ-концовъ въ довольно-таки уморительный водевиль, хотя, разумѣется, на первыхъ порахъ дъйствовавшимъ лицамъ было въ достаточной мъръ жутко. Митенька поселился у меня въ веселомъ обществъ таракановъ и кухаркинова кота, а я перебрался къ Волгину. У него мы начали священнодъйствовать стихами, производя ихъ на свѣтъ Божій чуть не саженями. Я помню, намъ доставляло величайшее удовольствіе наръзывать бумагу длинными лентами и подклеивать одну къ другой. Такимъ образомъ получалась полоса въ нѣсколько аршинъ. Съ особеннымъ самоудовлетвореніемъ, бывало, спрашиваеть Волгинъ:

- На которомъ аршинъ остановилась ваша поэма?
- На седьмомъ.
- А у меня идеть двінадцатый.

И мы серьезно воображали, что дѣлаемъ дѣло и всѣ эти аршины когда-нибудь понадобятся потомству. Увы! Гдѣ они—эти плоды юношеской музы, глуповато-на-ивные, но все-таки хранившіе въ неудачныхъ стихахъ пѣчто свѣжее, искреннее, чистое? Пошли ли они на подтопку печей или въ нихъ завертывали селедки? Отъ нечего дѣлать въ минуты досуга мы вычисляли, сколько понадобится такихъ аршинъ, чтобы оклеить ими весь экваторъ и сколько строкъ стиховъ пойдетъ на все разстояніе отъ земли до луны. Молодежь, такая же, какъ и мы, твердо вѣровала въ то, что все это далеко не пустяки, и только Крутиковъ съ священнымъ ужасомъ, подъ которымъ скрывалась тонкая иронія, повѣдывалъ:

- Вы знаете у Волгина новая поэма какая?
- Ну?
- Пятьдесять два аршина четырнадцать вершковь. Теперь бы это называлось "побить рекордъ" и Волгинъ въ нашемъ кружкѣ получилъ бы титулъ чемпіона. Тогда, бывало, зайдеть Ивановъ-классикъ, выпучить глаза на насъ и начинаетъ ругаться. Сидимъ мы разътакимъ образомъ съ Волгинымъ, вдругъ къ намъ бутырь. Наивный, несообразный бутырь тъхъ патріархальныхъ временъ, съ носомъ въ видѣ свеклы и необыкновенно, въ виду двугривеннаго, сладкими и
 - Кто здѣсь...—онъ назвалъ меня.
 - .- Я.
- Пожалуйте по секрету!—и изъ-подъ полы протянуль мнъ конверть, по которому, очевидно, въ дурную погоду прошлось десятка два калошъ.
 - -- Отъ кого?..

угодливыми глазами.

— Господинъ у насъ... въ Спасской части.

- Батюшки... Чижикъ, да это отъ Митеньки развѣ онъ не у меня?
 - -- Сегодня утромъ доставили ихъ...

Читаю; письмо написано въ довольно игривомътонъ. Что за чепуха!

- Вслухъ! потребовалъ Волгинъ.
- "О, дъва розы, я въ оковахъ, но не стыжусь своихъ оковъ. Меня-таки, какъ выражаются польки, "злапили". Сегодня утромъ, по указанію папаши, нагрянули венеціанскіе сбиры и безчеловъчно растревожили любимыхъ таракановъ Василія Ивановича. Заставили меня подняться и увели въ узилище. Отецъ до своего отъёзда отказался меня принять и мнё предстоить пробыть здёсь дня два. Если что можете сдёлать-торопитесь. Успокойте, главное, Лизу. Скажите ей, что я ни въ какомъ случав не останусь дома и вернусь въ Петербургъ къ ней немедленно. Я въ отличномъ обществъ-слъва у меня знаменитый карманникъ Живка, который, узнавъ, за что я приведенъ, назвалъ меня человъкомъ неосновательнымъ. Справа сидить дама, заръзавшая своего мужа. Эта очень счастлива: "За всв пять леть, какъ мы жили вместе, я только тамъ отдыхаю". — Дъйствительно, краше въ гробъ кладутъ. Пришлите чаю и денегъ и заплатите бутырю полтинникъ".
- Про полтинникъ то упомянуто! утвшилась "свекла".

Мы вручили ему требуемое и немедленно отправились къ Матвъю Матвъевичу.

Нашъ редакторъ былъ въ добромъ настроеніи.

. — Ну, великіе подвижники земли русской! Что съ вами новаго?

Мы наперерывъ начали ему разсказывать злоключенія Митенькины.

- Вы говорите на моржа похожъ? спросилъ онъ о старикъ Караваевъ.
- Да. И усы такіе же, Только что клыки у него выпали отъ старости.
- Что же я могу сдълать? Развѣ вотъ что—напишу я Анпенкову... Онъ меня знаеть, а тоть—оберъ-полицмейстеру.

Кажется, родственникъ издателя Пушкина и библіографа Анненкова былъ тогда оберъ-полицмейстеромъ. Я ужъ смутно помню это. Зато, какъ сейчасъ, передо мпою торжественная картина: мы явились въ Спасскую часть вооруженные запиской "самого генерала" — выдать арестованнаго по просьбъ отца Димитрія Караваева на поруки—слъдовали наши фамиліи. Отцу же объявить, что арестные дома существуютъ не для юношей, виновныхъ въ одномъ лишь легкомысліи, а для преступниковъ. Димитрія же Караваева обязать выъхать изъ Петербурга вмъсть съ отцомъ.

Митенька кинулся намъ на шею.

Мы, разумъется, немедленно въ гостиницу, гдъ остановился его отецъ, и тамъ расписались—такіе то. Затъмъ, такъ какъ Караваеву эти дни бояться было нечего, мы его водворили опять къ Лизъ.

Видъли ли вы щенка, долго просидъвшаго взаперти? То же было и съ Митенькой. Онъ кидался на насъ на всъхъ, оралъ и пълъ что-то несообразное и клялся Лизъ, что какъ тамъ отецъ ни старайся, а онъ отъ нея не уъдетъ.

- Или вернусь.
- Какъ же ты это сдълаень?
- Увидишь. Съ повзда прибъгу.

- Лай Богъ...

Но она сомнительно качала головой.

- Ну, куда тебѣ, Митенька. Воть если бъ они,— указывала она на насъ—такъ еще! А ты? Охъ, чуетъ мое сердце!
 - А воть я тебь докажу, какой я.

Мы, впрочемъ, создали сообща планъ бѣгства — да такъ, чтобы "старый моржъ" былъ посрамленъ вполнъ. Еще бы—будущаго Пушкина (по меньшей мѣрѣ!) увозять въ Стародубъ, чтобы тамъ опредѣлить писцомъ въ какое-то омерзительное управленіе. Мы понимали ссылку Пушкина въ Бессарабію, все что хотите — на тотъ погибельный Кавказъ, что ли... Но ужъ никакъ не въ Стародубъ, гдѣ среди бѣлаго дня обо всѣ заборы невозбранно чешутся свиньи! Въ виду успѣха созданнаго нами плана было рѣшено, что Митенька немедленно явится къ отцу и выразитъ покорность.

- Въдь это обманъ! запротестовалъ кто-то изъ насъ.
- Ну, вотъ. Просто военная хитрость. Наполеонъ поступилъ бы такъ же.

Умы были настроены героически, и ссылка на Наполеона заставила улетучиться последнія сомпенія.

- Наполеонъ, такъ Наполеонъ.

Митенька поцъловаль Лизу и полетъль къ отцу.

Что между ними происходило — покрыто неизвъстностью. Митенька отмалчивался и краснъть, потомъ и на мой вопросъ:

- Да въдь не высъкъ же онъ тебя?
- Ну вотъ... до этого, положимъ, не дошло, а все-

Около, несомнънно, было.

Эти два дня ни мы ни Лиза Митеньку не вид'вли. Изъ записокъ его мы знали, что отъ вздъ отложенъ до вечера второго дня, и насъ приглашали непремънно на всякій случай прійти въ вокзалъ—проводить. Лиза, разумъется, все это время плакала.

Мы не знали, что намъ съ нею делать.

- Увезуть его... увезуть.
- Если отцу удастся увезти его Митенька все равно вернется.

И туть Лиза намъ разсказывала все, что ей передаваль Караваевъ о своей жизни дома. Послъднія сожальнія о томъ, что мы такъ непривътливо приняли сразу "стараго моржа" въ насъ улеглись. Отецъ всегда быль съ нимъ суровъ, не заботился о сынъ совсъмъ, и въ душъ у Митеньки не шевелилось вовсе чеголибо похожаго на сыновнее чувство.

Наконецъ насталъ "роковой" вечеръ.

Мы собрались всв на Николаевскую дорогу.

Часовымъ стоялъ Волгинъ. Его "отецъ" не видѣлъ, и онъ долженъ былъ дать намъ знать, что "старый моржъ" со своимъ Митенькой показался въ дверяхъ. "Папаша" не заставилъ ждать себя долго. Скоро мы увидѣли его браво подходящимъ къ буфету. Рюмку водки, другую... Хлопнулъ, утерся рукавомъ. Караваевъ јипіог было въ сторону, онъ его цапъ за локоть. Митенька покорно остался съ нимъ. Лиза, вся блѣдная, не знала, какимъ ей угодникамъ молиться. Въ вокзалѣ стоялъ гулъ. На пассажирскій поѣздъ явилась масса народа. Митеньку легко было бы сейчасъ же оттѣснить, но тогда и "старый моржъ" остался бы здѣсь. Водевиля въ полномъ смыслѣ этого слова не было бы, и "публика" т.-е. мы, осталась бы неудовлетворен-

ной. Билеты браль отець самь вивств сь сыломь Волгинъ слышаль:

— Въ обръзъ денегь осталось. Изъ-за тебя, поганца, я совсъмъ истратился въ Петербургъ. Еще день, пожалуй, поневолъ пришлось бы тебя здъсь оставить.

Мы видъли, какъ "старый моржъ" вошелъ съ сыномъ

- Лиза, идите садитесь на извозчика и ждите.
- А какъ онъ увдетъ, я и не увижу.
- Не бойтесь. Митенька сегодня смотритъ Петромъ Великимъ наканунъ Полтавскаго боя. "Лицо его пылаетъ—онъ весь, какъ Божія гроза!"
 - Волгинъ, какъ вы?
- Дълайте, что вамъ говорять, Лиза. Наполеонъ на Аркольскомъ мосту, да и только—вашъ Митенька. Надо, чтобы васъ "старый моржъ" и не замътилъ. Мы сумъемъ спрятаться, а вы заревете въдь?
 - Зареву!
 - Ну, то-то!

Второй звонокъ. Сердце щемило. А вдругъ, какъ въ послѣднюю минуту Митенька скиксуетъ? Что тогда съ Лизой?

- Я его зам'вню ей! отечески произнесъ Александръ Николаевичъ.
 - Ну, это аттанде-съ. На узелки...

Мы см'вялись, а, право, на насъ лица не было. Совс'ємъ въ лихорадк'є!

Въ окић вагона третьяго класса мелькнуло лицо "стараго моржа". Онъ опустилъ раму. Позади за нимъ стоялъ Митенька, страшно блъдный.

- Встаеть солнце Аустерлица!
- Ну, пора! Грянулъ третій звонокъ.

Я бросился къ окну и крикнулъ "стараго моржа".

Тотъ высунулся.

- Митенька забыль пакеть... Розьмите...

Поъздъ двинулся.

"Старый моржъ" протянулъ свои жабры. Я, точно боясь, чтобы пакеть не упалъ, шелъ рядомъ съ вагономъ и не выпускалъ изъ рукъ свертка въ старой газетной бумагъ.

- Да что туть?
- Новое платье Митеньки.
- Этакая разиня! Давайте скорфе.

Позади Митеньки ужъ не было.

Повздъ дернуло — онъ пошелъ сильнъе. Я попридержалъ еще и въ ръшительный моментъ выпустилъ — и тотчасъ же, внезапно открывъ двери на платформу, выскочилъ, весь красный, въ поту, растерянный, Митенька, споткнулся, носомъ по панели и вскочилъ съ фонаремъ, но счастливый!

На него набросился жандармъ:

- Развѣ можно такъ?
- Провожалъ отца да опоздалъ.

"Старый моржъ" болталъ жабрами въ окнъ и оралъ что-то неподходящее.

- Да, да,—кричалъ ему, какъ будто въ отвътъ и я.—Кланяйтесь вашимъ, поцълуйте нашихъ, и впередъ милости просимъ въ Петербургъ.
 - Митенька, Митя, Митька!
- Будьте спокойны, все исполню! заглушаль я его. Обоймите за меня жену и поласкайте хвость собачкъ Жучкъ. Пожмите лапку коту Васькъ.

Но потадъ съ барахтавшимся въ окит "старымъ моржомъ" былъ уже далеко.

— A онъ, твой старикъ, не вернется?—накинулись мы на Митеньку. — Нътъ. У него денегъ нътъ назадъ.

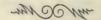
Мы вели Караваева какъ тріумфатора.

— Лиза, получайте имущество.

Та, какъ припала на грудь своему герою, такъ и оторвать ее нельзя было.

— Ай, да мы!—радовался Чижикъ, и хохолокъ на его маленькой головъ принималъ необыкновенно бравый и побъдоносный видъ.

1902.



Русскій художникъ въ Венеціи.

Про художника Воробьева говорили, что онъ съ тъхъ поръ, какъ, раскрывъ ротъ, въъхалъ въ Италію, такъ и не закрывалъ его вовсе. Видъ онъ имълъ остолбенълый, даже и не восторженный, а именно остолбенълый, точно до сихъ поръ онъ еще не могъ очнуться отъ новыхъ, нахлынувшихъ на него впечатлъній. Цълые дни онъ проводилъ то въ гондолъ, не отводя глазъ отъ величаво глядящихся въ воду венеціанскихъ палаццо, то въ шумной толиъ, весело пробъгавшей по Мерчеріямъ, по Ріальто, то въ тишинъ и прохладъ старыхъ соборовъ, подъ сводами которыхъ посятся еще живыя воспоминанія далекаго прошлаго.

- Что съ вами, Воробьевъ?—спрашивали его немногіе русскіе, жившіе въ Венеціи.
- Эхъ, батюшка!..—И онъ обрывался на этомъ и только крепко-крепко жаль руку соотечественнику.
 - Ничего не понимаю...
- Въдь я прямо съ Васильевскаго острова сюда-то... съ 18 линіи... съ Средняго проспекта. А?..
 - Ну-съ...
- Въ томъ-то и дѣло, что Венеція вѣдь!..— И онъ еще крѣпче сжималъ руку собесѣднику и устремлялся куда-нибудь—или подъ колонны Прокурацій, или въ молчаливыя галлерен налаццо дожей, или въ гондолу.

11

Гдѣ онъ жилъ—никто не зналъ! Чѣмъ питался—было загадкой. Вѣчно въ измятой рыжей шляпѣ на затылкѣ, въ сѣромъ пиджакѣ, очевидно, столько же знакомомъ со щеткою, сколько и съ движеніемъ планетъ небесныхъ, Воробьевъ носился по улицамъ и каналамъ, будто отъ этого именно зависѣло спасеніе его души отъ вѣчныхъ мукъ. Подъ конецъ онъ сдѣлался совсѣмъ неудобопонятенъ. Съ нимъ заговаривали, онъ удивленно подымалъ брови и смотрѣлъ на васъ, точно вы въ первый разъ въ жизни представились его изумленнымъ очамъ.

- Гдѣ вы нынче, Воробьевъ?
- Нътъ, —разражался онъ. Если бы вы видъли старинную Мадонну Беллини въ "Редемпторе".
- Что вы по вечерамъ дѣлаете?.. Васъ совсѣмъ не видать.
- Именно, а что же я говорю? Такъ ныпче не пишутъ... Вотъ въдь и техники не было еще, а какое вдохновеніе по лицу разлито... Точно... Позвольте... Это мы гдъ же теперь?..
 - На площади св. Марка...
- A вы кто такой...— уже совсымъ терялся Воробьевъ.
- Послушайте, да вы ошальли... Слава Богу, мы съ вами, кажется, пять льть знакомы.
- Да, это дѣйствительно... A догарессы все-таки найти не могу.
 - Какой догарессы?..
- Писать хочу... A ее нъть. Воть задача. Что хотите есть, а догарессы нъть. Вы случаемь не знаете?
- Yero?

- Гдѣ можно встрѣтить... Потому мнѣ необходимо... Вы понимаете, чтобы была тиціановская, волоса...
- Убирайтесь вы къ чорту!.. терялъ теривніе собесъдникъ и отходиль отъ него прочь.

Слагались легенды. Говорили, что онъ останавливаль на улиць незнакомыхъ и спрашиваль у нихъ, не знаютъ ли они "догарессу". Я слышалъ, что онъ вскочиль разъ изъ своей гондолы въ плывшую рядомъ и чуть ли не на колъняхъ сталъ по-русски упрашивать сидъвшую тамъ даму быть его "догарессой". Дъло чуть ли не кончилось въ префектуръ. Онъ искалъ "догарессу" по темнымъ коридорчикамъ, которые разбъгаются во всъ стороны около Ріальто. Гдъ только его не видъли! Онъ блуждалъ, переходя маленькими мраморными мостиками черезъ каналы, прятался подъ громадные своды старыхъ дворцовъ и снова выходиль изъ-подъ нихъ, чтобы затеряться, наконець, на бълой и пустынной площади. Воробьевъ чуть не до смерти напугалъ пожилую англійскую миссъ, которая съ своимъ краснымъ путеводителемъ въ рукахъ явилась въ академію изящныхъ искусствъ (Ассаdemia delle belle arti). Подходить она къ Мадоннъ, чуть ли не Пальмы старшаго. Стоить передъ картиной необыкновенный, дикій молодой человѣкъ, у котораго, върно для разнообразія, одна нога въ сапоть, а другая въ калошъ. Не успъла еще туристка всмотръться, какъ этотъ господинъ ни съ того ни съ сего схватилъ ее за руку и, проговоривъ: "вотъ такую бы именно найти мнъ", указалъ другою свободною рукою на изображенную художникомъ Дѣву. Англичанка подняла крикъ — Воробьева опять повлекли куда-то... Насколько было правды въ этомъ-не знаю, но что всь разсказы о немъ казались возможными-никто не

сомнъвался! Его встрътили на площади св. Марка. прогуливающимся съ салфеткой, засунутой уголкомъ за борть и съ вилкой въ рукахъ; въ другой разъ его вернули назадъ, когда онъ вышелъ изъ дому въ слишкомъ недоконченномъ костюмъ. Наконецъ надъ нимъ стали потъшаться довольно добродушно и ужъ не удивлялись, когда Воробьевъ надъвалъ спокойно сидъвшую на прилавкъ кошку на голову вмъсто шапки и, одарапанный ею, адресовываль неизбъжный вопросъ о догарессв взъерошенному такою неделикатностью животному. Въ поискахъ подходящаго типа венеціанской красоты онъ теряль сознаніе окружающей его обстановки и, переступая черезъ край набережной, падаль въ каналъ, неожиданно и непонятнымъ ему самому способомъ оказывался въ чужихъ квартирахъ... И все сходило ему съ рукъ довольно счастливо. Будь другой на его мъсть, нъсколько разъ пришлось бы страляться на барьера. Еще бы!?. Онъ остановиль на улицѣ двухъ дамъ съ офицеромъ и принялся разсуждать если бы волоса этой да дать той... нъть, еще лучше, глаза той дать этой. Офицеръ слушалъ улыбаясь непонятную ему ръчь; дамы тоже ласково улыбались. Сумасшедшій художникъ вскорт ихъ оста-

Наконецъ Воробьевъ пропалъ. Привыкшіе къ его чудачествамъ и необычайно взъерошенной фигурѣ люди напрасно спрашивали, куда дѣлась эта странная личность? Какъ въ воду канулъ. Очень можетъ быть, догадывались другіе, что онъ и въ самомъ дѣлѣ утонулъ въ каналѣ или его увезли родные. Я подумывалъ уже, не сидитъ ли онъ преблагополучно тутъ же на лагунахъ въ громадномъ Мапісотіо—сумасшедшемъ домѣ. Спустя еще недѣли двѣ-три, о немъ со-

всьмъ забыли. Какъ вдругъ наше сокровище отыскалось.

Сижу я разь у себя въ отелѣ (я останавливался тогда въ Albergo di Monaco), любуясь въ окно дивнымъ видомъ на Санта Марію-дель-Салюте. Эта чудная церковь, выстроенная венеціанцами въ память избавленія отъ чумы, вся въ статуяхъ, колоннахъ такъ и сіяла подъ солнцемъ, изящно рисуясь голубыми тынями, художественными орнаментами, высыченными изъ мрамора. Она тонула въ чистой и прозрачной лазури, словно не было никакого рубежа между этою суетливою и шумною землею и полнымъ благоговъйной тишины небомъ. Золотая Мадонна, наклонясь съ величаваго купола, простирала надъ городомъ руки, точно благословляя его. Въчно собирающійся улетьть съ своего бронзоваго шара крылатый Меркурій и теперь быль наготов'в и, распустивь крылья, точно ждаль на кровлѣ "Доганы" попутнаго вътра. Еще лъвъе, уже вдали, словно градіозный корабль подъ мачтами, золотилось на бирюзовомъ просторъ лагуны Санъ-Джіорджіо Маджіоре съ тонкою островерхою колокольней. Внизу — на неподвижныхъ водахъ канала лениво скользили черныя гондолы, пыхтьли маленькіе пароходики, сновала на пристаняхъ и клочкахъ набережныхъ, отвоеванныхъ у воды, шумная и пъвучая толпа. Мысль погружалась въ сонъ... Я и заснулъ бы, если бы въ дверь ко мнв не постучался коридорный.

- Что вамъ, Джузеппе?
- Тамъ васъ старуха какая-то спрашиваетъ... Говоритъ, нужно очень. Дбло къ вамъ.
- Попросите ее войти.

Маленькая, вся исчезавшая подъ платкомъ женщина живо вскочила въ комнату и давай присъдать передо мною. Я ее пригласилъ садиться, она заняла уголокъ стула у двери и вытаращила на меня маленькіе слезящіеся глазки. Я ожидаю вопроса, по старушка не говорила ни слова, точно она явилась насладиться видомъ незнакомаго ей "форестьера" (иностранца).

— Чемъ могу служить? — спрашиваю.

Она быстро закивала головою и опять ни слова.

- Я могу быть вамъ полезнымъ?
- Я знаете... содержу меблированныя комнаты. Меня разбирала досада.
- Миѣ никакого дъла иѣтъ до этого, я не собирался переѣзжать изъ отеля.
- И мит все равно, потому что мои комнаты заняты.
 - Съ чѣмъ васъ и поздравляю...
- Но вѣдь вы русскій? Да? А я по всей Венеціи ищу русскаго... Мнѣ одинъ знакомый говорилъ: пойди къ ихнему консулу на Санъ-Канчіано-деи-Мираколи. Я пошла на Санъ-Канчіано. Говорятъ eccelenza нѣтъ, ессеlenza уѣхалъ. Что было дѣлать!.. Наконецъ вчера вечеромъ узнаю, что есть еще русскій и живетъ онъ въ "отелѣ Монако"... Я сейчасъ сюда въ "отель Монако"...
- Что же вамъ угодно собственно?—терялся я въ догадкахъ.
- Видите ли,—и крошечная старушка, перепорхнувъ на другой стулъ рядомъ, замигала слезливыми глазками...—Видите ли... Это деликатное дъло... Я уже не знаю, что и думать. Не рада, что и пустила къ себъ такого жильца... Помилуйте.—При этомъ

прыгъ на сосъдній стуль еще ближе ко миъ. — Она въдь тоже русскій...

- Кто?
- Жилецъ мой... Ничего я противъ него не имѣю. Хорошій, только ужъ не знаю, что и думать. Не пьетъ, не ѣстъ, не моется—сидитъ себѣ за мольбертомъ. Придешь, рукой отмахивается... Я и думаю. Онъ русскій—пойду найду другого русскаго для того, чтобы его урезонили, въ себя привели... Вотъ я и пришла.
 - Какъ его зовуть?
 - Вотъ сейчасъ... У меня тутъ записано.

И она мнѣ подала лоскутокъ. Я прочелъ: мяса $^{1}/_{2}$ кило 1 фр. 23 сантим., сельдей на 20 сантимовъ... Рыбы... Раковъ...

- Послушайте, это вы мнѣ не то дали...—И я ей возвратилъ бумажку съ хозяйственными записями.
 - Какъ не то? удивилась старуха. .

Она взяла листокъ, повертѣла-повертѣла его передъ собою и съ торжествомъ, ткнувъ на какую-то строку, передала мнѣ обратно. Дѣйствительно, между углемъ и капустой значилось: Signor Voroboff, pittore.

- Да это не Воробьевъ ли... Сумасшедшій художникъ...
- Онъ, онъ... Вы его знаете?
- Да, помилуйте, его вся Венеція знастъ...
- Santa Maria! Какъ я рада. Пожалуйста, пойдемте къ нему... Урезоньте его. Я боюсь, и всё остальные жильцы боятся. Помилуйте, вошелъ онъ разъ въ три часа ночи къ спавшему рядомъ съ нимъ чиновнику (тоже у меня комнату нанимаетъ)... На почтё служитъ, вы, вёрно, его видёли. Высокій такой, красивый... Вошелъ и давай что-то ему горячо объяснять

по-русски. Такъ напугалъ, что тоть хотълъ вывзжать отъ меня...

— Пожалуй, синьора, я пойду съ вами, только не знаю, что можетъ выйти изъ этого.

Старушка принялась меня благодарить.

Я одълся. Мы вышли.

- Далеко это?
- О, нътъ...
- Я возьму гондолу.
- Не зачѣмъ... Это сейчасъ за соборомъ св. Марка... Знаете греческую церковь съ падающей колокольней, ну, такъ около. Пять минутъ ходьбы всего...

Разумѣется, пять минуть выросли въ добрыя четверть часа...

Мы шли узенькими уличками; справа и слева тянулись необычайныя събстныя лавки съ такими кушаньями, что отъ нихъ православнаго человъка, пожалуй, только бы затошнило: пьевры, полиппо сепіи, безобразные б'ілые мінки съ щупальцами и цёлою массою б'ёлыхъ же, устянныхъ бородавками присосковъ, вываливающихся изъ мѣшка, рыбы, состоявшія изъ одной головы, съ выпученными глазами, раковины, изъ которыхъ выдавалась противная красная масса, мелкія ракушки словно груда черныхъ оръховъ, изръдка даже торчалъ громадный омаръ, усы котораго грозили перегородить улицу, такъ она была широка, целыя груды вареной брюквы, броколи, гирлянды чесноку и перцу, гроздья винограда и опять длинные черви, раковины, похожія на сигары, изъ которыхъ высовывались, шевелясь, какія-то безформенныя, похожія на слизь тіла, вся эта роскошь, frutti di mare, собранная со дна лагунъ и каналовъ, откровенно выставлялась въ открытыхъ дверяхъ и окнахъ, а то arrosteria съ массою жареной рыбыfrittura. Къ вечеру отъ нея и хвостиковъ не останется. Туть же рядомъ-по переулочку котлы съ горячими каштанами, отъ которыхъ паръ такъ и валитъ въ лицо вамъ. Громадные краббы, похожіе на чудовищныя красныя ладони. Мальчишки бъгали по сторонамъ, протискиваясь между прохожими, часто осель съ двумя мъшками угольевъ загораживалъ улицу, да и самъ, вдвинувшись въ нее, не могъ уже сдълать шагу и останавливался понурясь, пока погонщикъ не снималь съ него мъшковъ, подымая въ воздухъ черное облако... Наконецъ вдали показалась палающая колокольня, и мы вступили на мостикъ, переброшенный черезъ каналъ...

— Вотъ мои комнаты, — показала старушка на необыкновенно ветхій палаццо.

Мраморное кружево его оконъ и балконовъ давно почернъло, колонны покрылись лишаями, порфирныя, серпентинныя и яшмовыя инкрустаціи, красовавшіяся въ стѣнахъ, вывалились, оставивъ откровенно зіять глубокія впадины, точно живыя раны; стекла въ окнахъ будто поросли мхомъ, до такой степени былъ толстъ слой покрывавшей ихъ исторической пыли и коноти. Начинался отливъ, и весь фундаментъ палаццо, обнажившійся отъ воды, оказался сплошь заросшимъ черными ракушками, зелеными бородами водорослей, темно-синими пятнами какихъ-то морскихъ грибковъ, между которыми суетливо бъгали паучки и козявки... Величественная арка надъ водой. Въ старину сюда приставали богаторазубранныя гондолы. Мокрыя ступени были скользки, и на нихъ подъ аркой откро-

венно сидъть себъ молодой парень, свъсивъ голыя ноги внизъ и насвистывая что-то.

— Томазо!.. Вы опять?..—заорала на него съ мостика старушка, грозя кулачкомъ и браня какъ только умѣютъ браниться итальянки.

Томазо добродушно улыбнулся, всталъ, привелъ въ нѣкоторый порядокъ туалетъ и, лѣниво переворачиваясь, скрылся въ глубинѣ подъ аркой.

— Этакая свинья!—злилась старушка,—этакая каналья!.. Сколько разь я уже говорила. Мнѣ бы ничего, — тотчасъ же оправдывалась она... — Только, знаете, иностранцы жалуются. Такіе они въ этомъ отношеніи капризные и странные.

Я, разумъется, не спориль съ нею. Мы обошли палаццо съ узенькаго коридорчика-переулка. Масса съраго камня, называвшагося дворцомъ, заражала воздухъ острымъ запахомъ гнили и плъсени, передъ нами широко растворялись какія-то ворота. За ними громадныя и темныя съни. Когда глазъ мой привыкъ къ темнотъ, я различилъ на стънахъ остатки старыхъ гербовъ, бюсты, смотръвшіе изъ нишъ и совершенно обвитые старою паутиною точно вуалью. Въ нъкоторыхъ мъстахъ штукатурка стъны обвалилась, и тутъ зіяли откровенно камни, сквозъ которые сочилась влага... Я подошель къ одному бюсту—смотрю, подъ нимъ круглая, еще уцълъвшая надпись: "Побъдитель при Лепанто", а отъ самого побъдителя осталось только полголовы, да и то безъ носа.

- Я знала, что вамъ понравится мой палаццо. Всъ любуются имъ, —радовалась старушка.
- Какъ вашъ палаццо? Вѣдь вы содержите въ немъ меблированныя комнаты.
 - Нътъ... И этотъ палацио тоже мой...

- Значитъ, вы...
- О, я и говорю объ этомъ, мы разорены теперь... А прежде нашъ родъ былъ великъ и славенъ. Отъ насъ только и остались, что я да вотъ мой племянникъ Томасо.
 - Позвольте узнать вашу фамилію?
 - Я герцогиня **

Признаюсь, если бы меня ударили палкой по лбу, я бы остолбенъть менъе. Какъ, эта жалкая старуха—герцогиня **, этотъ оборвышъ Томасо, изображавшій одноглаваго орла на ступеняхъ дворцоваго выхода въ каналъ,—послъдній представитель рода, когда-то весь міръ наполнявшаго яркою славой. Чортъ знаетъ что такое! Въ моей памяти мелькнули блистательныя страницы всемірной исторіи—завоеванія Кандіи, Кипра, Сиріи, крестоносцы, бой при Лепанто, осада Вероны, Падуи, сраженіе подъ Болоньей... И изъ этихъ-то **—уличный гаменъ, располагающійся себъ преспокойно для вовсе не величественнаго занятія на выдвинувшихся ступеняхъ когда-то роскошнаго дворца. Чортъ знаеть что такое!..

- У насъ много такихъ! вдогонку мнѣ объясняла старуха.
- Есть и князья и графы между нищими. Мы еще дворецъ сохранили, а другіе спять на улицахъ.

Громадная мраморная лъстница.

Очевидно, на этихъ пъедесталахъ по сторонамъ ея прежде стояли статуи — двѣ изъ нихъ вверху еще цѣлы. Квадраты золоченой бронзы украшали потолокъ... Три изъ нихъ темиѣютъ тамъ, грозя, если не сегодня, такъ завтра разбить кому-нибудь голову. Длинныя погребальныя ленты паутины висятъ оттуда и колышутся, когда меланхолическій вѣтеръ вмѣстѣ съ нами

подымается туда и точно считаеть ихъ, всѣ ли онъ налицо и на мѣстѣ. Изъ-подъ карниза потолка смотритъ рядъ выцвѣтшихъ портретовъ. Они оборваны. Сырость оставила на нихъ сѣрыя пятна; иногда такое пятно занимаетъ мѣсто лица, и то это лицо виситъ внизъ вмѣстѣ съ отодраннымъ кускомъ полотна, на которомъ оно написано.

- Вы знаете, кто это строилъ?
- Кто?
- Санъ-Совино... A эти портреты писали Порденоне, Чима да-Конельяно и даже Тинторетто.
 - Отчего же вы ихъ не продадите?
- Въ такомъ видъ ужъ ихъ никто не купитъ. Да и жалко—въдь все-таки предки.

Широкія окна пропускали очень мало свѣта, потому что стекла ихъ были чернѣе души любого грѣшника. Тѣмъ не менѣе на упѣлѣвшихъ портретахъ можно было различить руки, опущенныя на рукоятки мечей, мантіи, украшенныя гербами, латы и шлемы. Длинныя надписи подъ каждымъ означали рядъ подвиговъ которые "во времена оны" совершилъ давно сгнившій и забытый оригиналъ.

Лѣстница вывела въ громадную залу... Она вся въ барельефахъ, фигуры изъ мрамора и гипса сверху смотрѣли внизъ, по стѣнамъ видны были мѣста, гдѣ сіяли когда-то громадныя зеркала. Мнѣ, впрочемъ, некогда было всматриваться въ это—старушка подошла къ одной изъ дверей и таинственнымъ шопотомъ, точно за этою дверью скрывалось кровожадное чудовище, проговорила: "Здѣсь!.."

[—] О чемъ же я стану говорить съ нимъ?—приготовился я.

— Вы, какъ соотечественникъ, можете образумить его... Меня онъ не слушаеть, другихъ—тоже.

Когда я вошель къ Воробьеву, я на первыхъ порахъ даже его не замътилъ.

Маленькая фигурка его пряталась за мольбертомъ. Окно было отворено, и широкіе лучи лились въ эту крошечную и неприглядную комнату. Самъ художникъ, когда я, какъ говорять военные, зашелъ ему во флангь, поразиль меня до такой степени, что на первыхъ порахъ я даже не нашелся. Онъ сидълъ за работою босикомъ, но почему-то въ шляпъ, вороть рубахи разстегнуть да и сама рубашка покрыта разноцвътными мазками вдохновенной кисти; между прочимъ, на колъняхъ его нижняго бълья масляными красками, наскоро, на память, намазана какая-то головка, такія же набросаны на валявшихся лоскуткахъ бумаги, кускъ какого-то картона, крышкъ футляра для шляпы, на стене даже... Что рисовалъ Воробьевътрудно было сказать. Я могъ различить только ярко залитую луннымъ свътомъ стъну стараго палаццо съ мавританскими окнами и арабскими тонкими колоннами. По серединъ этой стъны балконъ, на балконъ оставлено пятно... Внизу, вся уходящая подъ тынь дома, черная гондола...

— Здравствуйте...

Воробьевъ, видимо, нисколько не изумленный моимъ появленіемъ, даже не обернулся, а только кивнулъ головою...

- Я вамъ говорилъ!..—ни съ того ни съ сего отвътилъ онъ на мое привътствіе.
 - Что вы мнѣ говорили?
- Да вотъ... Ну, и не нашелъ... Переискалъ вездънътъ. Старый тиціановскій типъ вымеръ. Ничего и

не подълаешь. Все зарисоваль... А здёсь воть пятно... Нетъ нигаё...

- Очень вы неудобопонятны, г. Воробьевъ.
- И отлично... А не знаете ли вы, глѣ здѣсь мнѣ заказать фракъ. Мнѣ нужно.
 - Вамъ фракъ... Зачѣмъ?
- Фракъ и прочее... Что еще къ фраку полагается?
- Панталоны, разумъется. Если вы ихъ не отрипаете.
- Какіе еще панталоны? подняль опъ на меня удивленный взглядъ, точно въ первый разъ услышалъ необыкновенное слово. Ахъ, да... Правда. Это все мнъ надо.
 - Одъвайтесь—я васъ свожу, гдъ заказать можно...
- Вы не думайте, у меня деньги есть... Да вы кто такой сами?

Я назвался, объясниль ему, что онъ довель хозяйку до отчаянія, и она отыскала меня, совсёмъ незнакомаго человёка, чтобы образумить его.

- Глупости!
- Что такое?
- Глупости, говорю. Мнѣ теперь главное—фракъ... Безъ фрака нельзя.
 - Чего нельзя безъ фрака?
 - Въ маскарадъ безъ фрака вѣдь не пускаютъ?
 - Въ какой маскарадъ?..
- Ну, Господи! Вы все хотите, чтобъ подробно... Я не могу, у меня для мыслей словъ не хватаеть. Ну, въ маскарадъ желаю, въ театръ Россини который. Искать буду... Говорять тамъ много венеціанокъ... Правда?
 - Не знаю... Не видълъ!

- Ну вотъ... А мић пепремѣнно тиціановскій типъ... Вотъ сюда, — ткнулъ опъ въ пустое мѣсто на картинѣ.
 - Фракъ заказать я вамъ помогу... Пойдемте.

Воробьевъ, какъ былъ босикомъ, такъ и пошелъ было къ двери. Насилу мнѣ пришлось втолковать ему, что на улицу слѣдуетъ одѣться... "Вотъ еще, какія глупости! — недовольнымъ тономъ самъ про себя ворчалъ онъ. — Чего не выдумаютъ".

— Послушайте, Воробьевъ, да вы дъйствительно такой чудакъ или прикидываетесь только?

Но онъ уже меня не слушалъ. Мнѣ пришлось опять его убѣждать, что въ туфляхъ на улицу нельзя и не безполезно надѣть галстукъ; но такъ какъ галстука у него не оказалось, то онъ съ необыкновенною находчивостью сорвалъ ленту со шляпы и завязалъ ее сверхъ ночной рубашки.

- Развъ у васъ нътъ крахмальныхъ?
- Нѣтъ, какъ же, есть... Вотъ...—Онъ влѣзъ подъ дивапъ и вытащилъ оттуда рубашку, но—увы!—она оказалась неудобной. Вся была зарисована красками. Женскія головки предполагаемаго стараго венеціанскаго типа красовались и на груди и на манжетахъ. Нисколько не смущаясь онъ посмотрѣлъ на одну изъ этихъ головокъ и сталъ ее поправлять кистью, совсѣмъ забывъ о моемъ присутствіи... Едва мнѣ удалось вытащить его вонъ изъ комнаты.

На улицъ онъ хмурился и потягивался. Оно и понятно, —больше мъсяца не выходилъ изъ комнаты!..

- Вѣдь теперь будеть одинъ весенній маскарадъ въ театрѣ Россини?
 - Да.
- Ну вотъ. Говорятъ, аристократки бывають на немъ.

- Очень часто...
- Я сейчасъ, значитъ. Какъ вы думаете, найду подходящую?
- Вы, Воробьевъ, давно не чесались?—спросилъ я, глядя на его выбившуюся изъ-подъ шляпы шевелюру.
- А что?.. Для моихъ волосъ и гребешка нѣтъ... Я пробовалъ... Вотъ дотроньтесь,—до сихъ поръ зубцы, какъ попали, такъ и сидятъ...

Кое-какъ удалось довести его до портного, гдѣ съ него сняли мърку.

- Ну, я васъ теперь не пущу домой.
- Куда же?
- Вы, кажется, еще не ъли?.. Пойдемте къ Бауэру. Ресторанъ Бауэра въ Венеціи тогда считался лучшимъ и, во всякомъ случав, самымъ громаднымъ. Теперь я никому не посоввтую тамъ всть: долго, дорого и не важно. Лакеи министры. Не подаютъ, а милости оказываютъ, и притомъ на три четверти нъмцы. Стоитъ для этого вхать въ Венецію! Хотите всть хорошо, дешево и весело, идите въ чисто-италіанскіе рестораны: на Мергеріи—въ Capello nero, въ Vapore, за площадью св. Марка въ Citta di Firenze. Хотите платить дороже, ступайте, тутъ же, подъ Прокураціями, къ Квадри—у него на ствнахъ кстати картины величайшихъ мастеровъ! Но на этотъ разъ я все-таки потащилъ Воробьева къ Бауэру.

Воробьевъ влъ жадно и самъ не замвчалъ, что именно. Я желая узнать, притворяется онъ или нътъ, требовалъ ему три раза подъ рядъ макаропы—онъ даже не изумился. Пилъ онъ все. И только языкомъ шелкалъ.

- Что вы?
- -- Вкусно.

И опять набрасывался какъ жаждущій верблюдь въпустынъ на источники водные.

- А ъсть еще не хотите?
- Сладенькаго бы.

Я спросилъ ему соленой рыбы, онъ ее съълъ спо-

- Понравилось вамъ пирожное?
- Ничего!

Послѣ этого мы отправились за фракомъ. Трудно было представить изумленіе портного, когда я привель къ нему злосчастнаго художника! Вокругь моего новоявленнаго пріятеля заходиль приказчикъ, созерцая его какъ нѣкоторое чудо. Еще смѣшнѣе все это было потому, что самъ виновникъ торжества неизмѣнно сохранялъ величественный и глубокомысленный видъ и, подойдя къ зеркалу, такъ сосредоточенно, серьезно и пристально любовался собою, что тутъ уже не выдержалъ никто. Кругомъ раздался безцеремонный хохотъ,—настолько безцеремонный, что искатель догарессы вышелъ изъ молчаливаго самосозерцанія.

— Итальянцы... тово... веселый народъ, — замѣтилъ онъ, не соображая, что въ данномъ случаѣ онъ самъ былъ предметомъ ихъ веселости...

Какъ бы то ни было, но мърку съ него сняли и обнадежили, что фракъ будетъ готовъ очень скоро.

- Ну, вотъ!..—разръшился онъ по обыкновенію довольно немногословною ръчью.—Теперь знаете?..
- Ничего не знаю!—отвѣтилъ я наконецъ, не дождавшись никакихъ объясненій.
- Я это насчетъ... Если бы рюмочку ликеру. Гдв тутъ... ликеръ? Вы не думайте, пожалуйста...

И опять замолкъ.

— Чего не думайте?

- Что я... у меня деньги есть... Воть... И опъ пользъ въ карманъ. Тамъ не оказалось, въ другой съ темъ же успъхомъ: посмотрълъ въ шапкъ — и въ шапкъ нъть. Онъ сняль пилжакъ и зашарилъ позади въ подкладкъ. Къ крайней потъхъ уличныхъ мальчишекъ, вытащилъ изъ прорахи кусокъ сахару, невадомо зачемъ туда попавшій, посмотрель-посмотрель на него и спокойно положиль себв въ роть, какъ будто это такъ и следовало, потомъ изъ того же "большого кармана" было извлечено: какая-то газета, большая рыбья кость и носовой платокъ, но денегь не оказалось. Онъ началъ было подозрительно посматривать на свои панталоны. Я уже забоялся, какъ бы онъ тутъ же торжественно не сняль ихъ, но, слава Богу, все оказалось благополучно. Самодовольная улыбка озарила его лицо. Онъ посмотрълъ на меня и захохоталъ.
 - Чего вы?
 - Нашелъ!
 - Деньги?
 - Да... Онъ у меня въ диванъ.
 - Какъ это?
- Просто...— И больше онъ не сумълъ объяснить ничего.

Потомъ уже оказалось, что у него сидѣніе дивана подымалось. Онъ пользовался этимъ и бросалъ туда все, по его мнѣнію, мѣшавшее благообразію комнаты—чай, сапоги, грязное бѣлье, старыя книги, краски, комъ гипсу, изъ котораго онъ хотѣлъ было лѣпить что-то, недоѣденную рыбу, пирожки... Туда же попали и леньги...

Мы направились съ нимъ на площадь св. Марка.

Солнце заходило. Мозаики безсмертнаго собора были облиты золотымъ свътомъ. Точно зарево охватывало

уголь палаццо дожей, громадную башню, казавшуюся совсьмъ розовой, и ту часть площади, которая находилась между ними. Въ то же время подъ арками Прокурацій ужъ сгустились сумерки, и только колонны, на которыхъ покоятся эти зданія, більли, выдаваясь наружу. На прощальномъ сіяніи вечерняго неба красиво и ръзко обрисовывались мраморные зубцы домовъ. Оркестръ военной музыки игралъ что-то, и вся ріаzza, залитая толпой, представляла необыкновенно оживленный видь. Отовсюду доносились смѣхъ и крики. Здъсь начинались и обрывались пъсни, тамъ продавецъ сладостей и нанизанныхъ на деревянныя шпильки обсахаренныхъ фруктовъ выпѣвалъ однообразное: carameli, carameli, сотни мальчишекъ со спичками совали ихъ въ руки каждому, предлагая купить solfanelli и темъ спасти несчастную семью съ сорока двумя дътьми, къ которымъ принадлежалъ и самъ продавецъ, оть голодной смерти. Въ толпѣ шныряли оборванцы, которые, завидевъ туриста, моментально, однимъ взмахомъ руки, съ шумомъ, подобнымъ пистолетнымъ выстрѣламъ, развертывали передъ нимъ цѣлую ленту наклеенныхъ на холстъ фотографій. Малорослыя и неуклюжія, но съ очаровательными головками венеціанкикружевницы бросали по сторонамъ кокетливые взгляды, которые хватались на лету туть же вздыхавшими обожателями, не смѣвшими при строгой мамашѣ или какой-нибудь, иногда взятой напрокать изъ табачной лавки теткъ подойти къ предмету своего вождельнія, пока этотъ предметь не заговариваль самъ. Располнъвшій красавецъ-принчипе толкался туть же, сопровождая совству уже необыкновенную рыжеволосую англичанку, съ такими выдавшимися впередъ острыми и громадными зубами, что они казались ребромъ жиавотнго, которое опа держала во рту. Около кофеенъ масса столиковъ, за которыми сидъли цълыя семьи, истребляющія безконечное количество кофе и мороженаго.

- Откуда вы добыли себ'такую ворону?—шепнулъ мн на ухо подошедшій пріятель.
 - Художникъ такой-то!-представилъ я того.
- -- Очень радъ...-процъдилъ вновь пришедшій сквозь зубы...-Очень радъ...

Но не успѣлъ еще онъ окончить, какъ "ворона" вдругъ съ необыкновенно вдохновеннымъ видомъ взялъ его за пуговицу сюртука и произнесъ:

- Нътъ, знаете... Сколько въдь-а нътъ...
- Кого? чего?
- Я насчетъ... Картина у меня... Не могу вотъ найти... Много, а нътъ.
- Онъ жалуется на отсутствіе типовъ для его картины. Ему нужна догаресса. Совершенно тиціановская... Онъ много видитъ здѣсь женщинъ, а подходящей—ни одной.
- Вотъ... вотъ...—одобрилъ меня "ворона".—Именно... У васъ слова!
- Не хотите ли?.. Вонъ съ Донъ-Карлосомъ идетъ подъ ручку...—показалъ нашъ собесъдникъ на англичанку.
 - Гдь? гдь?..—сорвался съ мъста художникъ.

Ему показали, онъ двинулся напереръзъ претенденту, глупо остановился носъ къ носу съ англичанкой, обозрълъ ее всю и уныло вернулся назадъ.

- Нътъ... Оно точно, но нътъ.
- Вѣдь рыжая?
 - Да... Но тиціановскаго нѣтъ.

На первыхъ порахъ смѣшно было все это, но потомъ мнѣ стало очень тяжело съ нимъ.

Закать отгоръль-купола и мозаики св. Марка, недавно еще охваченные золотисто - розовымъ свътомъ, погрузились въ голубой сумракъ. Вершина башни терялась въ немъ. Казалось, что ей нътъ конца, она безконечна. Подъ сводами Прокурацій зажглись огни безчисленныхъ магазиновъ. На площади ярко засверкали фонари. Темная ночь охватила толпу гуляющихъ понятнымъ только здъсь на югь увлечениемъ. Шумъ росъ... Отовсюду неслись напѣвы, полные огня и страсти. Какіе-то непризнанные баритоны и тенора выпъвали любимыя аріи, не стъсняясь присутствіемъ толпы-Съ Мерчеріи доносились такіе же звуки. Одинъ оралъ чудесный мотивъ изъ "Фаворитки", "Spirto gentil"!.., другой громче и громче выкрикивалъ проклятія изъ "Риголетто". Воть несколько голосовъ хоромъ затянули клятву на мечахъ изъ "Гугенотовъ".

- Хорошо, —вдругъ оживился нашъ художникъ. —Мы лаже не ожидали.
 - Что хорошо?
- Ночь... Башня та—посмотрите... Гдв конець... Льствина Іаковля... Только ангеламъ и сходить по ней...

Я диву дался. Ворону ли слушаю? Но на него, очевидно, нашло, и онъ не могъ уняться такъ скоро. Выбрасывая слова по обыкновенію быстро и отрывочно, онъ точно не мнѣ говорилъ.

— Теперь... если на каналахъ... выйти чтобъ... ну и послушайте... вся вода поетъ. Тамъ поютъ, здѣсь поютъ... Съ гондолъ поютъ... Съ балконовъ—тоже... Хорошо. Въ Россію не желаю. Въ Римъ гонятъ, я и въ Римъ не хочу. Зачѣмъ? Прощайте...

И онъ порывисто вскочилъ, сунулъ миѣ въ руку, точно тайкомъ отъ всѣхъ передавалъ спрятать что-то̀, потомъ воззрился на моего пріятеля, произнесъ почему-то—"эге, и вы тутъ",—хотя тотъ все время сидѣлъ съ нами, и потомъ, снявъ шапку и положивъ ее къ намъ на столъ, пошелъ. Едва удалось его вернуть и нахлобучить ему на голову сіе шапо, иначе не знаю какъ и назвать воронье гнѣздо, которое онъ носилъ на головъ.

Дня три о немъ не было ни слуху ни духу.

Я сидъль у себя на балконъ и любовался все на то же несравненное зрълище большого канала и его дворцовъ, санъ - Джорджіо - Маджіоре и далекаго Лидо, когда ко мнъ въ комнату ворвался Воробьевъ. Видъ его на сей разъ былъ еще необыкновеннъе. То же воронье гнъздо на головъ. Бълье скомканное и измятое, галстука не полагалось—но зато фракъ съ иголочки. Въ рукахъ онъ несъ старое платье, не завернутое, а точно на продажу. Панталоны, какъ епитрахиль, болтались черезъ плечо, пиджакъ съ жилетомъ навъсу. Видъ у него былъ столь необыкновенный, что вслъдъ за нимъ у меня въ номеръ показались портье, лакей и хозяинъ. По ихъ испуганнымъ лицамъ я сейчасъ понялъ, что въ скромной воронъ они заподозръваютъ по меньшей мъръ убійцу или грабителя...

- Это вашъ знакомый?—спросилъ хозяинъ.
- Не нужно ли чего?—бормоталъ растерянный лакей. Портье молчалъ, но выразительно подмигивалъ, точно давая знать—вы только прикажите, а мы сейчасъ же распорядимся послать за полиціей.

Я расхохотался и успокоиль ихъ всёхъ, только хозяинъ крайне недовольнымъ тономъ счелъ себя обязаннымъ заявить мнё, что у всякаго заведенія есть

свои обычаи и что его отличается отъ другихъ избранной публикой, къ которой онъ и причислялъ меня, но что синьоръ во фракѣ съ платьемъ въ рукахъ до того напугалъ на лѣстницѣ даму, жившую у нихъ и вотъ уже третій мѣсяцъ исправно оплачивающую счетъ, что она лежитъ теперь въ истерикъ.

- Что же онъ слълалъ?
- Помилуйте. Стоя передъ ней, сталъ ее оглядывать, а потомъ забормоталъ что-то про себя и, какъ обожженный, бросился къ вамъ наверхъ.

"Ворона" — точно и не о немъ шло дъло!

Онъ преспокойно помъстился себъ на балконъ, вынулъ альбомъ для набросковъ и сталъ зарисовывать какое-то лицо...

- Что вы дълаете?
- Встрътился здъсь на лъстницъ... Всъмъ бы хороша но... глаза не тъ и потомъ волосы... Спрашивалъ почему... Она отъ меня прочь... Дура!..

Рѣшивъ это къ собственному успокоенію, онъ оглядѣлъ себя и, увидѣвъ на плечахъ панталоны, преспокойно поднялся и положилъ ихъ на столъ въ моей гостиной, рядомъ съ альбомомъ и дорогими изданіями...

Прелестный венеціанскій театрь Фениче въ этоть сезонъ быль закрыть, карнавальные маскарады поневолѣ давались въ Ридотто для кухарокъ, лакеевъ и горничныхъ и въ залѣ театра Россини для тѣхъ, кто чиномъ повыше. Мой художникъ совсѣмъ потерялъ голову, если она, впрочемъ, у него была когда-нибудь. Во-первыхъ, онъ не вылѣзалъ изъ фрака, при чемъ иногда забывалъ надѣть вмѣсто ночной крахмальную рубашку, во-вторыхъ, головной уборъ его, взъерошен-

ный видъ, растерянное лицо-до того шли подъ стать карнавалу, что онъ вдругъ сдёлался здёсь популяренъ надиво. Его узнавали вст, но когда онъ среди масокъ, арлекиновъ, пульчинелли, коломбинъ, турокъ, далматинцевъ, грековъ, китайцевъ появлялся въ пестрой толпъ Ридотто, публика приходила въ неистовый восторгь. Вокругь него начинали плясать на манеръ дикихъ, танцующихъ съ обреченною на смерть жертвой въ центръ. Его, впрочемъ, это нисколько не смущало, даже онъ обрѣлъ способность издавать членораздѣльные звуки. По крайней мъръ, онъ началъ говорить съ нѣкоторымъ апломбомъ... Добродушные венеціанцы изъ тѣхъ, что веселились на дешевенькихъ маскарадахъ, вообразили, что русскій юродствуєть не потому, что онь и въ дъйствительности таковъ, а ради карнавала, и это, разумъется, только способствовало успъху моего соотечественника.

Разъ вечеромъ, чуть не въ послъдній день праздниковъ, онъ явился ко мнъ.

Я собирался въ театръ Россини.

Художникъ вошелъ въ шляпѣ и, по обыкновенію забывъ ее снять, прямо началъ о цѣли своего посьшенія.

- Ну, вотъ, отлично... Значитъ, сегодня ужъ пепремѣнно.
 - Что такое?
- Сказано, кажется, вм'ьсть! Чего туть? Глупо даже—право. Именно.
- Говорите толкомъ, что вмѣстѣ въ маскарадъ, что ли?
- Куда же еще... ей Богу... это даже... знаете. Вчера я мелькомъ видёлъ, но не догналъ...
 - Кого? что?

- Ее... догарессу... Золотые волосы, каріс глаза! Плечи—воть! Удивительная. Но она въ гондол'в мимо плыла... Нельзя было. Можеть быть, сегодня...
 - Желаю вамъ полнаго успѣха.
 - А я сегодня изъ Россіи получилъ...
 - Что?
- Деньги... Разумъется, много... Отецъ выслалъ... Вотъ...

Онъ полъзъ въ карманъ панталонъ и вытащилъ оттуда сухарь и коробку съ пудрой.

- Нѣтъ, не это...
- Пудра-то вамъ зачёмъ?
- Какая пудра?
- А воть эта.
- Развъ это пудра?.. Не знаю. Откуда бы?..

Коробка оказалась не вскрытой. Изъ другого кармана показался сургучъ, кусокъ голубой краски и женскихъ кружевъ.

- Это еще что?
- Отъ маски одной... Въ Ридотто. Я ее за хвость... Въ рукахъ и остался...

Но денегь не оказывалось...

Онъ отправился въ задній карманъ фрака и вытащилъ на первый разъ совсёмъ неразличимую массу. Оказалась сырая рыба, завернутая въ платокъ. На этомъ онъ сидёлъ, и все обратилось въ лепешку.

- Рыба у васъ откуда?
- Сегодня ходилъ на здъшніе рынки... смотрълъ... купилъ... зачъмъ только?.. Въ окно можно выбросить?
 - Пожалуйста.

Но вмъсто окна онъ положилъ все это въ свою шляпу. Деньги, наконецъ, оказались. Цълая пачка,

свернутая въ комокъ въ оттопыривавшемся боковомъ карманъ фрака.

- Сколько ихъ у васъ?
- Сколько?.. Не знаю... Сочтите.

Я счель, по тогдашнему курсу оказалось довольно.

- Франковъ много?
- Три тысячи семьсотъ пятьдесять.
- Прорва... Закучу... Ну, а гдъ мъняютъ теперь?.. Потому у меня кромъ—ничего! Все тутъ.
- Сумасшедшій вы человѣкъ... Теперь банки заперты.
 - Тогда, значить, вы...
 - У меня столько денегь нътъ.
 - Ну, хоть немного.

Я ему размѣнялъ сто рублей, онъ швырнулъ ихъ въ шляпу къ платку съ рыбою вмѣстѣ. Пришлось ему напомнить, чтобы онъ рыбу выбросилъ вонъ... Съ нею онъ чуть-чуть не бросилъ въ каналъ и деньги. Остальныя бумажки, неразмѣненныя мною, онъ съ совершен но спокойною совѣстью засунулъ въ спинку дивана.

- Что вы дълаете?
- Прячу.
- Зачёмъ? Вёдь это у меня же... Вы къ себё возьмите.

Онъ недоумъло оглядълъ комнату и только тогда, когда сообразилъ, что онъ не у себя, вынулъ деньги. Я заставилъ его сложить ихъ какъ слъдуетъ, положилъ ему въ конвертъ, а конвертъ въ боковой карманъ фрака. Затъмъ позвалъ человъка и приказалъ ему отчиститъ пріятеля, что тотъ и исполнилъ, хотя безъ особеннаго удовольствія.

Било одиннадцать часовъ ночи. Площадь св. Марка, когда мы проходили по ней, вся была затоплена народомъ, тъмъ не менъе изъ Мерчеріи и другихъ входившихъ подъ ея аркады улицъ стремились сюда же новыя толиы. Точно море гудело, расшумевшееся подъ могучими ударами сввернаго вътра. Отдъльные звуки, хоръ несколькихъ оркестровъ пропадали въ этомъ стихійномъ гуль. Едва продвигались въ живой массь комическія процессіи съ тысячами фонарей, знаменъ, хоругвей... Вонъ баркайоло съ веслами, одътые ради карнавала въ бархатъ. Передъ ними на шестахъчерная гондола изъ картона и легкаго дерева. Вся она залита огнями безчисленныхъ плошекъ, а въ ней мальчикъ и дъвочка въ старыхъ венеціанскихъ костюмахъ, въ парчъ, въ жемчугахъ, съ напудренными париками... Процессія кал'ькъ--слівные, хромые, горбуны, карлики и карлицы; чуть ли не полкъ дъвушекъ въ импровизированныхъ военныхъ костюмахъ. За ними съ пищалками, скалками, трещотками, сковородами и другими мусикійскими орудіями, не пользующимися правами гражданства въ обыкновенное время, следують собравшіеся со всей Венеціи клоуны... Громадный деревянный слонъ, за нимъ корабль, застрявшій, наконець, потому, что въ этомъ сплошномь морф ему пришлось състь на мель и сняться съ нея нътъ никакой возможности... А отдёльные типы, отдёльныя лица! Что за разнообразіе масокъ, костюмовъ!.. Двъ прехорошенькія рыбачки изъ Кіоджіи, цълыя дюжины прелестныхъ кружевницъ изъ Бурано, шумная гурьба мальчиковъ не старше девяти леть, одетыхъ ангелами, рыбами, бутылками, бабочками, птицами, лягушками, и надъ ними громадное, едва справляющееся съ своими ходулями, чудовище съ кабаньей головой, тюленьими лапами и гигантскими крыльями летучей мыши. А по самой серединъ площади - эстрада, на ней гирлянды фонарей. Изъ зелени, расположенной въ центрѣ ея, ярко свѣтятъ электрическія солнца... На эстрадѣ танцуютъ — это шабашъ, гдѣ что-то пестрое, яркое, бѣшеное, кричитъ, хохочетъ, поетъ и носится съ головокружительной быстротой подъ звуки невѣдомо кому елышной музыки. Мы съ художникомъ едва-едва могли продраться сквозь толчею, при чемъ въ одномъ мѣстѣ моего пріятеля осыпали мукой, въ другомъ подхватили и завертѣли маски, въ третьемъ насъ обоихъ заключили въ кругъ, составленный изъ всевозможныхъ уродовъ, и мы должны были принять участіе въ ихъ каннибальской пляскѣ.

Растрепанные, сбитые съ толку, оглушенные, но веселые и возбужденные донельзя, мы, наконецъ, очутились подъ сводами Прокурацій и оттуда поспівшили уйти въ боковую уличку, которая вела къ театру Россини. Толны и туть, впрочемъ, были такъ густы, что намъ приходилось пробираться гуськомъ. Справа и слъва врко освъщенныя лавочки съ маскарадными костюмами полнымъ полны. Венеціанцы и венеціанки, нисколько не стъсняясь, съ шутками и хохотомъ переодъвались кто во что могъ, откровенно снимая съ себя все до рубашки. Изъ дверей лавокъ, настежь открытыхъ, въ живыя ръки, стремившіяся по улицамъ, выбъгали ежеминутно красныя, желтыя, синія, зеленыя, фантастически закостюмированныя фигуры. Маленькіе съъстные магазины были тоже наполнены съ верхомъ. Тѣ же маски торопились перекусить кое-что, наскоро, безъ толку. Одинъ глоталь какой-то противный frutti di mare, другой возился съ пульпой (спруть), третій выскакивалъ съ колбасою въ рукахъ, размахивая ею какъ капельмейстеръ палочкой, пока не съвдалъ ее до хвоста включительно. Обыкновенно безмолвные и

мрачные по ночамъ капалы, на этотъ разъ были лишены величаваго и нъсколько угрюмаго спокойствія. Когда мы входили на мостъ, переброшенный черезъ нихъ, подъ нами неслись гондолы за гондолами съ цълыми хорами и оркестрами любителей, ярко освъщенныхъ бумажными фонарями... Все это отражалось въ водъ также пестро и ярко. У меня, наконецъ, закружилась голова. Я уже не помню, какъ мы добрались до театра Россини. Остался въ памяти тотъ необычайно торжественный видъ, съ которымъ искатель догарессы вступилъ въ залу, гдъ уже игралъ оркестръ и веселыя пары носились, сознавая и импровизируя совсъмъ непонятные намъ танцы и фигуры...

Я поспѣшилъ въ фойе, предоставивъ моего спутника его собственной участи. Спустя нѣсколько времени, я сталь его отыскивать, и представьте мое удивленіе, когда этотъ отечественный дикобразъ оказался въ блестящей ложѣ, въ кружкѣ прелестной молодежи. Лицо художника было оживлено свыше мѣры.

— Эге!.. — сказалъ онъ, увидъвъ меня и перевъсившись черезъ барьеръ. — Кажется, можно понять бы... Чортъ знаетъ что!

Какъ я ни привыкъ къ нему, но на этотъ разъ не могъ сообразить, что ему надо, и спросилъ объ этомъ.

- Видите въдь... Именно... Угощаю... Чего же вы...
- Я пить не хочу. Нашли вы что-нибудь?
- Пока нъть... Но это все равно... Пожалуйте.

Компанія, бывшая съ нимъ, тоже меня приглашала: Я вошелъ, но не успѣлъ еще мой пріятель налить мнѣ въ бокалъ шампанскаго, какъ бутылка выпала изъ его рукъ на полъ, и самъ онъ, вытаращивъ глаза и раскрывъ ротъ, точно окаменѣлъ, не сводя глазъ съ дверей ложи, въ которой показалась снявшая маску прехорошенькая венеціанка съ цьлою массой золотистых волось на головь.

— Oro!..—только и могь онъ выговорить... — Воть она... Ай, да мы...

Хохотъ окружавшихъ насъ принялъ гомерическіе разм'тры. Захохотала и вошедшая, польщенная произведеннымъ ею впечатл'ты ніемъ.

- Да-съ...—потиралъ онъ руки...—это точно...—Но потомъ вдругъ опомнился и, схвативъ за руку ближайшаго венеціанца, чуть не крикнулъ ему на ухо:—Chi è questa signora?..
 - Эта дама... Э... такъ, работница...
 - Какъ работница, догаресса говорю.
 - Нътъ... Она на Мерчеріи въ магазинъ шьеть...

Художникъ ополоумълъ, отчаянно заискалъ въ карманахъ, нътъ ли альбома, чтобы зарисовать ее; альбома не оказалось, зато онъ вытащилъ пакетъ съ деньгами, при одномъ видъ которыхъ догаресса почувствовала къ нему необыкновенное уваженіе.

- Пойдемъ, эге...— приглашалъ онъ ее. Вотъ это самое, да!..—И при этомъ для пущей удобопонятности сгибалъ локоть кренделемъ и подставлялъ ей. Нанина, какъ оказалось звали ее, нисколько не удивляясь этому, протянула руку ему, и хохотавшіе отъ души молодые люди тутъ же составили цълую процессію за ними, когда они пошли по залъ... Въ этотъ вечеръ я уже потерялъ надежду удержать соотечественника отъ какой-нибудь глупости. Онъ прилипъ къ златоволосой догарессѣ и отъ Нанины не отставалъ вовсе...
- Вы не безпокойтесь за него, —предупредили меня: Нанина милая дівушка и ничего дурного съ вашимъ пріятелемъ не произойдеть.

Такъ я и увхалъ изъ маскарада.

Дня черезъ четыре, интересуясь, что сталось съ пріятелемъ, я поёхалъ къ нему въ гондолѣ.

Та же старуха встрѣтила меня на лѣстницѣ своего сырого и мрачнаго палаццо.

- Дома?
- Кто?
- Русскій художникъ.
- Онъ еще вчера убхаль.
 - Куда?..
- На ту сторону, на Джіудекку... Какая-то д'ввушка съ нимъ была все время... Я думала, вы знаете.
- Вотъ тебѣ и на, что жъ они поселились вмѣстѣ, что ли?
- Э... молодое всегда къ молодому льнетъ. Тутъ уже ничего не сдълаешь. А знаете, что мнъ только къ сегодняшнему дню удалось привести его комнату въ сколько-нибудь человъческій видъ.

Я прожиль въ Венеціи еще четыре недёли, но художника ужъ не встречаль нигде.

Въ палаццо ди-Брера открылась выставка.

Я въ это время жилъ въ Миланѣ и въ одно солнечное утро отправился въ знаменитый дворецъ, создавшій въ своей "академіи" не мало талантливыхъ живописцевъ. Къ полному моему благополучію было еще очень рано и въ залахъ, кромѣ меня да какого-то старика, не оказывалось никого. Можно было познакомиться съ новымъ художественнымъ урожаемъ безъ помѣхи. Я быстро миновалъ ученическую галлерею, мнѣ хотѣлось поскорѣе увидѣть моихъ прошлогоднихъ знакомцевъ. Что-то дали новаго Риччи или Віанелли, изъ-за которыхъ я выдержалъ, помню, цѣлую бурю

упрековъ отъ представителей стараго режима въ искусствъ... "Консерваторы" красочнаго цеха никакъ не могли простить молодымъ maestro ихъ оригинальности, отсутствія правильныхъ линій, реализма, впрочемъ, реализма итальянскаго, не имѣющаго ничего общаго съ грубостью и карикатурой, въ которой выразился фламандскій, напримѣръ, жанръ. Подъ синимъ небомъ, подъ горячимъ солнцемъ, среди яркихъ красокъ, красивыхъ лицъ и красивыхъ движеній, мудрено было бы удариться въ шаржъ, въ уродливость, въ ту помойную живопись, которая, разумѣется, находить и будетъ находить поклонниковъ... Вѣдь есть же любители порнографическихъ листковъ и площадной карикатуры, отчего же не быть такимъ же и у помойныхъ маляровъ?

На сей разъ Риччи и Віанелли отсутствовали. Ихъ не было.

Я посмотрѣлъ въ каталогъ оказалось, что они ничего не прислали.

Върно, перекочевали въ Римъ, гдъ новые художники находять лучшихъ цънителей и... покупателей. Скромный Миланъ можетъ только выставить картину, а купятъ ее въ Римъ или Неаполъ, гдъ много "форестьеровъ"... Итальянцы ръдко пріобрътаютъ произведенія искусства, если это не шедевры старыхъ мастеровъ...

Было нѣсколько новыхъ картинъ, скульптурныхъ вєщицъ, носившихъ на себѣ печать истиннаго таланта. Я спокойно проходилъ мимо, отмѣчая въ своей записной книжкѣ то, что мнѣ особенно нравилось, какъ вдругъ до меня донеслось восторженное восклицаніе старика, ранѣе меня появившагося на выставкѣ.

— Вотъ настоящее сокровище!

Я подошель.

— И въдь надо же, чтобы лучшая картина принадлежала иностранцу... — злился старикъ. — И фамилія какая-то необыкновенная... Върно, онъ турокъ или, по крайней мъръ, шведъ.

Изумленный географическими сопоставленіями старика и его "по крайней мѣрѣ" я заглянулъ на подпись подъ картиной.

— Это-русскій,-поясниль я.

Еще бы-значилась фамилія Vorobieff...

- Не можеть быть русскій?..
- Увъряю васъ, я знаю.
- Ну, что вы знаете?.. Что вы можете знать? Я перевидъль русскихъ тысячами. Они покупаютъ картины, но не пишутъ ихъ.
- Воть тебѣ и на! Мало въ Римѣ русскихъ художниковъ.
- Я никогда не быль въ Римъ! Что такое Римъ, я васъ спрашиваю? Я—миланецъ (sono milanese), и онъ энергично ударилъ себя въ грудь.—Sono milanese, ессо! И горжусь этимъ. А Римъ намъ не указъ и никакихъ тамъ русскихъ художниковъ нътъ, почему же иначе имъ бы не быть и въ Миланъ?

И онъ побъдоносно оглянулся на меня.

- Могу васъ ув'трить, что Воробьевъ русскій. Я самъ русскій, и потому знаю.
- Вы русскій?.. Значить, вы покупаете картины?— перешель онъ въ д'іловой тонъ. У меня, синьоръ, есть настоящій Гверчино... Я вамъ уступлю дешево...
 - Я не покупаю картинъ.
 - Значить, вы не любите искусства?.. Значить, вы...
- Не потому вовсе... А потому, что у меня нътъ денегъ для такихъ покупокъ,

— Эге... пъть денегъ. — И онъ недовърчиво подмигнуль мнъ глазами. — Какъ же это, чтобъ у русскаго да не было денегъ? Гдъ же виданы такіе русскіе?.. Ну, ужъ это знаете... Скажите просто, что вы у старика Луиджи де-Верме не хотите купить, ну я и удовольствуюсь этимъ. А то на-ко... Денегъ нътъ... Да вы знаете, что ни у кого нътъ столько денегъ, сколько у русскихъ. Вотъ что, синьоръ, я вамъ могу и въ долгъ повърить. Настоящій Гверчино...

Но я рѣшительно отказался и отъ этой сдѣлки...

— Если это вашъ соотечественникъ, — ткнулъ онъ въ картину, передъ которою мы стояли, — то ему можно объщать громадную будущность. Это необыкновенно... Я знаю... Я въдь самъ профессоръ... То-есть былъ. Теперь молодежь знать ничего не хочетъ, но когда-то Луиджи де-Верме былъ не послъднимъ человъкомъ въ академіи ди-Брера!.. Нынъшніе художники всъ ушли въ эффекты, въ неожиданности...

Я сталь всматриваться въ картину Воробьева.

— Да я знаю этого художника!—изумленно воскликнулъ я.

Посмотръль въ "указатель", читаю "Dogaressa" Воробьева. Онъ, именно онъ и никому болъе быть нельзя. Всматриваюсь въ черты "Догарессы" и узнаю въ нихъ скромную венеціанскую модистку, встръченную когда-то нами въ Teatre Fenice, въ маскарадъ...

Картина была, действительно, хороша.

Она написана на Макартовскій манеръ, на узкомъ полотнъ, точно для простънка. На верхней половинъ сквозной венеціанскій балконъ стараго палаццо, за колоннами балкона сплошная ръзьба мраморныхъ стънъ. На балконъ "догаресса" чудной красоты, вся въ волнахъ распущенныхъ золотистыхъ волосъ. Луна бъетъ

прямо въ ен блѣдное лицо... Внизу стѣна палаццо и сумрачная глубь смутно набросаннаго канала. Догаресса не то слушаеть, не то мечтательнымъ, задумчивымъ взглядомъ слѣдитъ, не подплываеть ли къ ней знакомая гондола...

Мнѣ хотѣлось, какъ можно скорѣе узнать, гдѣ находится чудакъ-художникъ, наконецъ отыскавшій свою догарессу. Я обратился за справками въ контору академіи, мнѣ не могли сказать ничего и послали къторговцу***.

— Онъ долженъ знать, онъ всъхъ знаеть, —пояснили миъ.

Я поъхаль къ нему, оказалось, что, дъйствительно, онъ всъхъ знаетъ. При первомъ вопросъ о Воробьевъ онъ сначала расхохотался и потомъ вдругъ сдълалъ серьезное лицо и справился, не родственникъ ли онъ мнъ. Когда я на этотъ счетъ успокоилъ его, онъ опять сталъ смъяться.

- Ну, если это не родственникъ вамъ, то тогда я могу сказать откровенно, что другого такого оригинала, навърное, по всей Италіи не найдете.
 - Развъ онъ и злъсь себя показаль?
- Еще бы, если бъ не жена, онъ давно попалъ бы или подъ поъздъ желъзной дороги, или въ каналъ, или подъ колеса...
- О какой женъ вы говорите?
- Да разв'в вы не знаете? Синьоръ Воробьевъ женать на итальянкъ.
- Не на оригиналъ своей догарессы?
- Да! да! O belissima signora! Лучшая изъ венеціанокъ. Ну, и она любить его тоже, на минуту одного не оставляеть. Такъ и смотрить, какъ бы онъ чего не выкинулъ.

- Гдѣ же они теперь живуть?
- Глѣ-то!
- А гдѣ именно?
- Этого я не знаю. Думаю, что вообще... въ Италіи.

Объясненіе было не настолько точно, чтобы я могь имъ воспользоваться. Но сама судьба, очевидно, готовила мн'в пріятную неожиданность встр'вчи съ Воробьевымъ.

Черезъ нъсколько мъсяцевъ послъ этого я вздумалъ провести осень на Lago di Como. Тамъ, надъ самымъ озеромъ, среди дивнаго парка есть отличный отель Villa d'Este. Въ немъ собралась вмѣстѣ со мною пѣлая ватага соотечественниковъ, - не такихъ, отъ которыхъ обыкновенно, какъ отъ чумы, бъжишь за границей, а людей простыхъ, милыхъ и добрыхъ. Такимъ образомъ мы жили очень весело... Разъ какъ-то пришло намъ въ голову предпринять побадку по озеру въ лодкъ. Красавецъ Константинъ, нѣкогда контрабандистъ, побывавшій на каторгь и помилованный королемъ, предложилъ намъ свое "бателло". Мы съли. Съ первыхъ ударовъ весель были уже далеко. Когда лодка отплыла наполовину озера, вдали сквозь голубыя ущелья показались сивговыя вершины Швейцаріи. Пахло туберозами. Вътерокъ изъ садовъ, окружающихъ озеро, доносиль къ намъ ихъ густое благоуханіе. Нъсколько лодокъ уже обогнало насъ, мы просили Константина грести медленние, какъ можно. Такъ хорошо было среди этого затишья. Великольпный американскій ботъ на косомъ парусъ сръзалъ носъ у нашей лодки. Цълая дюжина красивыхъ американокъ, почти по парижской модъ разряженных в до невозможности, пронеслась бокъ-о-бокъ... Кто-то запълъ, я весь погрузился въ счастливое созерцаніе всего окружающаго, какъ вдругъ прямо на колівни мнів попала чья-то шляпа...

— Вотъ именно... Оно самое...— кто-то кричалъ неподалеку.

Изумленный, подымаю голову и вижу— Воробьевъ самолично, швырнувшій въ меня шляпой, изъявляетъ намъреніе изъ лодки лъзть прямо въ воду. Закинулъ ногу, лодка качается... Какая-то дама старается удержать его. Я велълъ Константину грести въ ту сторону.

— А что я говорилъ?.. — послышалось радостное навстръчу мнъ. — Вотъ и оказалось... Чего туть еще — ей Богу...

Лодки наши поравнялись... Воробьевъ, невзирая ни на что, перескочилъ къ намъ и ни съ того ни съ сего, уставившись на господина, сидъвшаго поодаль отъ меня, произнесъ:

- Глѣ онъ?
- Кто такой?
 - Ну, вотъ еще... я спрашиваю... Здравствуйте.

И онъ совствит незнакомому подалъ руку.

- Такъ вы не можете?
- Что такое?
- Насчеть его.
- Воробьевъ, меня вы, что ли, спрашиваете?—отозвался я, любуясь этой сценой.

Онъ обернулся и точно только что меня увидёлъ.

— Не угодно ли... Скажите, пожалуйста, а я думалъ.

Воробьевъ оставался столь же неудобопонятнымъ, хотя одъть быль съ иголочки. Галстукъ на немъ былъ завязанъ мастерски и даже въ петличкъ красовался геліотропъ. Очевидно, о немъ заботились.

— Прошу васъ, синьоръ, — обратилась ко мив съ другой лодки сидъвшая тамъ дама. — Надъньте на него шляпу.

Я ему передаль ее. Воробьевъ посмотрълъ на мягкую шляпу такъ, точно онъ никогда не видаль ничего подобнаго, и потомъ, скомкавъ, положиль ее въ карманъ, точно платокъ. Всъ кругомъ расхохотались, Воробьевъ нисколько не смутился.

- Ну, чего же? Ко мит теперь... Именно-вст.
- Куда къ вамъ?
- Вонъ, неопредъленно махнулъ онъ рукою, туда. Я счелъ обязанностью представиться его женъ.
- Мы ужъ разъ виделись! поправила она.
- Гдъ? —притворился я не помнящимъ.
- Въ театръ Фениче... У насъ своя вилла здъсь. Я и мужъ просимъ васъ всъхъ пожаловать къ намъ...
- Она всегда...— пояснилъ Воробьевъ, за меня. У ней словъ много... А у меня словъ нѣтъ! И онъ съ видомъ безпредѣльнаго и почтительнаго изумленія уставился на собственную супругу.
- Ты бы надълъ шляпу. Тебъ же въдь неудобно такъ, уговаривала она.
 - А гдѣ шляпа?
 - У тебя въ карманъ...

Черезъ четверть часа мы приставали къ прелестному саду, примыкавшему къ самому берегу озера...

Что сказать еще?

Воробьевь счастливо живеть до сихъ поръ на Лиго ди Комо и все рисуеть свою догарессу, не зная другого идеала. У нихъ дъти, на которыхъ отецъ смотритъ съ удивленіемъ, а мать трепещеть, какъ бы ему не пришло въ голову вм'єст'є со шляпой и носовыми платками положить ихъ въ карманъ или прод'єлать надъ пими какой-либо иной столь же неожиданный опыть.



НЕ ОТЪ МІРА СЕГО.

(очёркъ.)

I.

Монахъ-художникъ.

Надъ городомъ Б., весь закутавшійся въ зеленое облако липъ и черемухи, стоитъ Андроньевскій монастыръ. Изъ-за вершинъ свъжаго, словно только что омытаго дождемъ, сада едва замътны бълыя стъны келій и красивый силуэть собора, колокольня котораго одна свободно возносить въ голубыя выси свой золотой кресть. Любителю сравненій показалось бы, что монастырь нарочно спрятался въ густую чащу и, слегка раздвигая ее, смотрить, крадучись, на чуждую ему суету люднаго города внизу, на сотни барокъ, привалившихъ къ берегу ръки, голубые извивы которой уходять далеко-далеко, привольно раскидываясь по зеленымъ степямъ, на суетливые пароходы, бъгущіе внизъ къ Черному морю-туда, откуда въ раннія весны въеть теплый, оживляющій вътеръ и цълыми стаями слетается въ монастырскія рощи всякая крикливая птица... Съ монастырской колокольни видно еще дальше... Вонъ, на югъ, смутный очеркъ стараго, невъдомо какъ уцълъвшаго лъса, а изъ-за него полувоздушные бѣлые силуэты церкви, точно это парусъ, затерянный среди туманнаго моря.

- Наша сторонка обителями не оскудъваеть!—пояснить сопровождающій васъ монахъ. — Это пустынь Евоимьевская, за лъса схоронилась, подальше отъ гръховнаго міра... А вонъ тамъ — ишь, въ мари этой только звъздочка горить: это—куполъ Спасскаго монастыря.
- Да, много, много! стараетесь вы разглядѣть что-то совсѣмъ уже смутное, пятно какое-то, подъ этой звѣздочкой.
- Оттого и округъ всей благодать. Ради нашего непрестаннаго моленія — и урожаи и благораствореніе воздуховъ. У другихъ червь, у другихъ жукъ, а у насъ, слава те Господи — ни пресмыкающагося гада ни мухи вредоносной... Все ангелы Божьи крылами своими невидимо отметаютъ... Мы за монастырями, какъ у Христа за пазухой живемъ, ну, и правду надо сказать — народъ здесь это очень даже понимаетъ... Обителямъ не токмо уваженіе, но и на благольпіе жертвують. Купцы особливо... Колокола у насъ такіе горластые, — поди, въ иной ставропигіальной обители не оруть такъ... Мы и съ Евоиміевской пустынью и съ Спасскимъ монастыремъ колокольными языками разговоръ водимъ... Ишь, Спасскаго монастыря-то не видать, а какъ заговорить услышишь... Такъ мы моленіе соборнъ и устрояемъ... Не даромъ сказаномъдь звенящая. Духорадостно и умиленно у насъ...

И въ этотъ городъ и въ этотъ монастырь я попалъ совершенно случайно.

Желъзныхъ дорогъ тутъ нътъ, а есть почтовая гоньба съ традиціонными сивобородыми ямщиками и

загнанными клячонками, которыхъ почему-то по всей мъстности называють чиновниками.

- Эй, Петро!..
- Чево?—отзывается изъ прохладнаго сумрака недовольный голосъ.
 - Запряги-ка пару "чиновниковъ".
 - Кого еще чорть принесъ?..
 - Барина...
- А, чтобъ его! .—слъдуетъ нъсколько энергическихъ восклицаній, и, спустя нъсколько минутъ, откуда-то ведутъ пару едва передвигающихъ ноги чиновниковъ. Головы опущены, бока втянуты и выраженіе мордъ такое, какъ будто чиновниковъ казнить собираются...

Въ городъ же Б., куда я прівхаль утромъ, чиновникова совсъмъ не оказалось.

- Всъхъ разогнали. На Юрковскую—генералъ поъхалъ, шестерку забралъ; а на Маймалочную — полковника съ четверкой отпустили... Теперь у насъ только тройка осталась.
 - Дайте ее.
 - Нельзя никакъ.
 - Почему?
- А потому. Кульерскія и подъ штафету... Намъ ихъ отпущать никакъ невозможно... За это еще какъ влетаеть!.. Помилуйте!.. Въ морду и съ полнымъ удовольствіемъ, объяснялъ староста.
 - Что жъ дълать-то?
- Сидъть!.. Городъ у насъ красивый, съ монастырями... Въ обитель сходите все же и Богу помолитесь!

Такъ я и попалъ въ Андроньевскую пустынь.

Насмотръвшись всякихъ видовъ съ колокольни, сошелъ въ церковь. Вездъ было пусто, пусто и на дворъ.

- Гдъ же у васъ иноки?
- А по благословенію отца игумена на работу пошли. Огороды у насъ, ну, такъ картошку внѣдряемъ... И капуста тоже. У насъ это первая фрухта... Многаго мы не взыскуемъ, но насчетъ овощи этой можемъ и погордиться, потому нигдѣ по всей округѣ такой не найдешь... У гругихъ и вотъ капуста въ трубку идетъ, а у насъ, помилуйте, напыжится пространственно и стоитъ точно купчиха первой гильдіи. Крѣпкая, тучная, отрадная!.. Намъ Господь невидимо споспѣшествуетъ. Теперче у насъ только больные и остались, остальные всѣ на работѣ.
- А вы?
- Я?.. У меня рука сведена... мнѣ работать никакъ невозможно... Я у врать сторожу обитель замъсто псы.
- То-есть какъ же это?
- А такъ... Я для обители—что пса върная... Недобраго человъка не пропущу—пу, а доброму всякое благоволеніе!

Въ церкви, небогатой и простенькой, мое вниманіе остановили прежде всего образа. Чего тутъ не было! На одной изъ стѣнъ наивный художникъ изобразилъ змія погибельнаго. Пасть его была разинута отъ полу до потолка, и въ самую глотку змія при этомъ устремлялись всевозможные народы и сословія. Франтъ въ зеленомъ фракъ и красныхъ штанахъ несъ туда букетъ, другой вступалъ въ это неподходящее мъсто, танцуя и въ это время играя на скрипкъ... Этоть особенно понравился моему спутнику.

— Скакаше и играше! Онъ думаетъ ему даромъ это сойдеть, а его змій къ себ'в тянеть...

Дама въ невозможномъ кринолинѣ и съ такими губами, которымъ позавидовала бы любая корова, очень скромно шла въ ту же пасть, подъ руку съ козломъ, который, стоя на заднихъ лапахъ, долженъ былъ изображать чорта; дальше — такая же пышная особа, подобравъ юбки, дълала какое-то невозможное па,

— Плясавица!—усмѣхнулся на нее монахъ.—Весело ей—сотрясается!.. Како очнешься!—погрозился онъ.

Нъсколько человъкъ шли туда же, читая книжки, а одинъ развернулъ газету и самъ не замъчалъ, по какой дорогъ она вела его. Желая быть точнымъ даже въ подробностяхъ, живописецъ названіе газеты выписалъ на ней, и—представьте мое удивленіе!—когда я, разобравъ его, увидълъ, что въ адъ, въ геенну огненную, идъже плачъ и скрежетъ зубовъ, неосторожнаго читателя влечетъ именно одна изъ самыхъ смиреннъйшихъ и скудоумнъйшихъ газетъ.

Шаги наши отдавались подъ высокимъ сводомъ храма. Полъ его былъ покрытъ каменными плитами, кое-гдѣ на нихъ значились полустертыя надписи. Оказывалось, что тутъ подъ самымъ храмомъ погребены "нарочитые благодѣтели", коими сія обитель устроялась и обновлялась.

Добрались до иконостаса, — и я вдругь остановился, совсъмъ пораженный.

Божія Матерь и Інсусъ Христось были написаны во весь рость — но какъ написаны!.. Нѣжною, дѣвственною кистью, лучезарными красками, которыя, казалось, теплились подъ вашимъ взглядомъ... Вълицѣ Богоматери, обращенномъ къ Младенцу, лежавшему на Ея колъняхъ, сквозила глубокая скорбь. Ка-

залось, Дѣва провидѣла, въ туманѣ будущаго, безлѣсную гору, на ней три высокихъ креста и на среднемъ изъ нихъ распятаго, между двумя разбойниками, этого самаго, такъ безпечно улыбающагося Ей Младенца. Въ благостномъ лицѣ Спасителя—величавое и спокойное произволеніе сіяло въ каждой чертѣ, лилось изъ глазъ Его отрадными лучами. Это были картины въ полномъ смыслѣ слова. Цѣлая поэма человѣческаго духа воплощалась въ каждой изъ нихъ. Глядя на эти чистыя линіи и свѣжія краски, невольно слѣдуя за каждымъ мазкомъ художника, создавшаго ихъ, не одно чувство трепеталось и билось въ груди, — работала мысль, настраиваясь на какой-то особенно цѣломудренный, умиленный ладъ...

- , Что это, вамъ образа нашего брата Хрисаноа понравились?
 - Да... Это вашъ монахъ писалъ?
- Онъ самый... Многимъ они нравятся. Оно, дъйствительно... Ярко и преизможденно...
 - Что?
- Преизможденно, говорю... Мождить, когда глядишь на оные. Теперь онъ, брать Хрисаноъ, распятіе сталь писать, но его самого недугь распнуль и пригвоздиль къ одру!.. Лежить теперь въ обители!..
 - Не на работь онъ, значить?
- Гдв ему на работу, помилуйте! Онъ у насъ всегда хлибкой быль... Тъломъ хлибокъ, но духомъ великолъпенъ... Тутъ, въ келью отца игумена, написалъ онъ "Исходъ изъ Египта"... Профессоръ одинъ прівзжалъ—такъ даже визжать началъ.
 - Это съ чего же?
- Съ восторга... Сколь, говоритъ, сіе удивительно и сказать невозможно... Побъжаль онъ тогда къ брату

Хрисаноу и давай его цъловать!.. А генерала не можеть!—вдругъ запечалился привратникъ.

- Koro?
- Генерала, говорю, не можетъ.
- Что генерала? Какого генерала?
- Отецъ Хрисанеъ, говорю... Все онъ можетъ—и ангела, и звъря-шестилапа, и Спасителя, и святого, какого хошь, а генерала ему не дано... У насъ тутъ генералъ есть. Великій молитвенникъ. Станетъ посере ь церкви на колѣняхъ, ручки воздѣнетъ и вопіетъ: великій я Господу Богу моему грѣшникъ!.. И сейчасъ слезами обольется... Сказываютъ, онъ прежде интендантомъ былъ—такъ нынѣ кается... Вотъ этотъ генералъ познакомился съ братомъ Хрисаноомъ и умолилъ его писать съ себя портретъ, чтобы со всѣми кавалеріями и въ эполетахъ и на конѣ чтобы... Храбро такъ, знаете, и неистово... Братъ Хрисаноъ согласился было, но потомъ бросилъ. Не могу, говоритъ...
 - Почему же это?
- Потому генерала ему не дано... Такого дара нѣтъ, чтобы храбрость верхомъ изображать... Ужъ какъ и генералъ сокрушался... Это, говоритъ, меня Богъ наказуетъ... Раскаянія моего не пріемлетъ, потому и праведной рукѣ силы не даетъ изобразить меня!.. Вотъ, говоритъ, царь меня какими кавалеріями пожаловалъ, а что въ нихъ, когда меня Богъ простить не хочетъ... Такъ онъ съ этого самаго случая и началъ!
 - Это еще что?
- Шибко пить зачалъ. Оть огорченія. Долго этоть генералъ ходилъ пьяный!.. Отецъ игуменъ его встрътилъ и укорилъ, ну, и тотъ тоже такое словечко сказалъ, такое словечко... Я, говоритъ, возропталъ!..

Это онъ на Бога-то... на Всемогущаго возроиталъ!.. Каково это?.. Ну, и за сіе наказанъ былъ..., У Бога, братъ, скоро... Онъ кото оклоушитъ! Сдълайте ваше такое одолженіе...

- Какъ же Богь его наказаль?
- А самъ генералъ разсказываетъ. Къ празднику онъ черезъ плечо ждалъ, а ему, замъсто того, кавалерія на шею вышла!.. Богъ, братъ, хоть кого смиритъ!..
 - А можно ли видъть вашего брата Хрисаноа?
- Сколько угодно. Онъ духомъ-то бодръ, но плотію немощенъ. . Посему отъ нашихъ работъ его ослобонили... Дома онъ теперече, въ кельъ своей... Съ жасминтомъ пребываетъ.
 - Какъ это съ жасминтомъ?
- Съ цвъткомъ... Въ горшечкъ у него... Иноческому сердцу тоже иной разъ хочется къ чему-либо прилъпиться... Бога мы любимъ точно, но и къ слабому чему тоже прилежимъ... Вотъ и братъ Хрисаноъ. У него жасминтъ чудесный. Онъ за нимъ, какъ за ребеночкомъ ходитъ.

Мы пошли по пустыннымъ дворамъ обители... Въ окна маленькой церкви виднѣлись горящія свѣчи передъ образами, тѣмъ не менѣе двери были притворены.

— Туть у насъ по очереди за поминъ душъ благодътельскихъ непрестанныя моленія возносятся.

Вошли въ коридоръ. Направо и налѣво, точно въ тюрьмѣ — одиночныя кельи заключенныхъ... Передъ одною мы остановились.

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!..—проговорилъ мой привратникъ.
 - Аминь!-послышалось оттуда, и мы вошли.

Сильный запахъ жасмина обдаль насъ. Въ углу кустъ его весь въ цвѣтахъ... Большой мольбертъ, за нимъ мы видимъ только подолъ чернаго подрясника да грубые сапоги...

- Кого Богь даеть?.. молодой симпатичный голось, только немного надтреснуть. Изъ здоровой груди никогда не услышишь такого.
 - Гостя вотъ къ тебѣ привелъ... мірского.

За мольбертомъ хозяинъ завозился, отодвигая его въ сторону.

- Я сейчасъ, сейчасъ!..—видимо, смущенно торопился онъ.—Господи, благослови... Проъзжіе, должнобыть. Многіе на насъ, на черноризцевъ, любопытствуютъ...
- Нътъ, я случайно... Образа вашего письма увидълъ. Пожелалъ познакомиться.
- Ну, вотъ... Спаси васъ Богъ... Садитесь...—И онъ рукавомъ вытеръ табуретъ, на которомъ только что силълъ.
- Побесъдуйте, —предложиль привратникь, —а я къ вратамъ пойду... Врата-то я заперъ: можеть, кого и пошлеть Богь.

И мой спутникъ оставилъ насъ наединъ.

Первую минуту мы оба молчали, какъ всегда бываетъ это. Соображаешь, что говорить, чувствуешь какую-то неловкость.

- Издалече-съ пожаловали къ намъ?
- Изъ Питера...
- Вонъ какъ-съ... И я бывалъ тамъ, какъ же-съ... Бывалъ-съ... Жестокій городъ.
 - Почему это?

- -- Жестокій... Изъ граниту весь... И сердца человіческія тоже изъ граниту-съ, каменные люди въ каменныхъ домахъ живутъ...
 - А вы сами откуда?
- Мы—смоленскіе... У меня и пононѣ тамъ отецъ... Торгуетъ...
 - Давно вы въ обители?
 - Да уже седьмой годъ... Тихо у насъ.
- Но зато и отъ картинъ вашихъ такою тишиной въетъ.
- Ни обуреваетъ ничто... Въ мірѣ я работать не могъ, все украдкой, а здѣсь, спасибо отпу настоятелю, благословилъ пиши, говоритъ, образа намъ... Вотъ теперь Спасителя хочу...
- А въ міръ отчего вы не могли работать?
- Отъ любви родительской... Потому у насъ, у купцовъ, совсѣмъ другія понятія... Тятенька, такъ даже били, когда, бывало, увидять, я больше все украдкой... Потому по ихъ дѣлу въ лавку надо—сиди и торгуй... А если духъ этотъ въ тебѣ, призваніе чтобъ искусствомъ заняться самое пропащее дѣло... Заклюютъ-съ. И чѣмъ насъ больше любятъ, тѣмъ больнѣй клевать станутъ... Это такъ-съ... Тутъ уже и не подѣлаешь ничего. Потому, по-нашему, это погибель!... Спасаютъ-съ... Побоемъ.
 - -- Вы и ушли сюда?
- Н'ыть, я въ Питеръ попробовалъ, въ академію хотълъ. И попалъ было туда...—потупился онъ.
 - Ну, и что же?
- Чуть съ голоду не померъ... Ни работы ни привъта... Люди каменные въ домахъ каменныхъ... И насилу-насилу два мъсяца одолъть могъ...
 - Потомъ вернулись домой?

- Съ приключенемъ-съ... У меня три копейки было всего я въ ночлежный домъ. Ночью полиція нагрянула—взяли, а черезъ недѣли эдакъ двѣ меня по этапу... Сколько сраму-то было... Дома тятенька: лучше бы, говоритъ, ты померъ! Столь ему это горько и обидно показалось. Тутъ же они неумѣренно дѣйствовать стали, грудью-то я поддался... Ослабъ... Кашлять началъ, кровью исходилъ... Наконецъ отпросился на поклоненіе сюда, да тутъ и остался совсѣмъ... У насъ ласково... У насъ не какъ у прочихъ обитель тихая. Не смутная. Братія простая, лютости нѣтъ... Пишу имъ образа—они и довольны... Краски мнѣ покупаютъ.
 - Что это вы теперь работаете?
- Спасителя... Первую встръчу его съ Іудой изобразить хочу... И провидить Онъ измъну и предательство Іуды, и муки Свои предощущаеть, и любовь-то къ душъ гръшной въ Немъ растеть... Знаеть, что не спасеть ея, а все-таки мучится за него... за Іуду... И у меня, видите ли, ликъ-то Іуды свътелъ выходить, потому онъ, Іуда, тоже любить Учителя.
 - Любить и предаеть?
- И предаеть, потому безхарактерень. Если бы не любиль—не повъсился бы потомъ... А онъ любить и предаеть. Въ этомъ-то горечь самая.
- Элементъ трагическаго, машинально проговорилъ я.
 - Чего-съ?

Я повторилъ.

- Это вы по какому же?...

Пришлось пояснить.

— Вотъ это точно-съ... Это верно... А только трудно изобразить это. Сидишь целые дни въ созердании, а

потомъ какъ будто что найдетъ на тебя — мазокъ и прибавится... Вотъ глаза-съ у Іуды, видите ихъ — и любятъ они и фальшивятъ... Я до этого двѣ недѣли-съ добирался. Вымучилъ себя... Теперь, думаю, такъ будетъ вѣрно-съ.

- Ну, а свътскаго, кажется, вы не рисуете?
- Монастырь нашъ изобразилъ, какъ онъ за зелень эту прячется, точно пустынникъ отъ скверны міра сего. Сады наши... Лѣсокъ вотъ... А такъ, чтобы мы свътское писали—не полагается, да и что писать-то?..
 - Мало ли предметовъ.
- Какіе же-съ?.. Пустяки все... Жанръ теперь называють, а по-нашему это осужденіе ближняго, жанръ этоть, потому что образь и подобіе Божіе въ смѣшномъ видъ-съ... Не хорошо.

Я невольно улыбнулся этой монастырской догикъ.

- Даже и священниковъ изображають неподобно... Неистово и піано... Видѣлъ я одну такую картину... "На купеческихъ поминкахъ", много и изъ бѣлаго духовенства разные это напитки пьютъ... Что же хорошаго! Соблазнъ одинъ. Или плясавицъ изображаютъ. Тѣло женское-съ. Я даже въ Эрмитажѣ, въ Питерѣ когда былъ, такъ возмущался. Помилуйте! Мученицу одну тамъ художникъ написалъ... Терзаютъ ее, а отъ тѣла, измученнаго-то, сладострастіемъ вѣетъ. Точно оно теплое все, бъется... Холеное, бѣлое... Что жъ хорошаго... Иноку не подобаетъ... это дѣло большое-съ...
 - Такъ что васъ въ міръ и не тяпеть?..
- Не только не тянеть, но безь страха объ ономъ и помыслить не могу. Потому что въ немъ злоба да несчастіе. Другь дружку уловляють. Точно пауки, сидить каждый въ щели и ждеть... А потомъ выско-

чить, обланить и давай сосать... Что жь туть привлекательнаго? Ничего хорошаго и быть не можеть!.. А у насъ тихо,—воть хоть за окно посмотрите.

За окномъ колыхались вѣтви липъ, едва-едва покрытыхъ еще почками... Голубое небо сіяло ясно и ласково, солнце щедро обливало своимъ тепломъ и свѣтомъ далекіе лѣса... Откуда-то доносилась пѣсня, но только самымъ слабымъ, словно въ воздухѣ трепетавшимъ отзвучіемъ... Отецъ Хрисаноъ, собравъ крошки хлѣба, нарочно приготовленныя, бросалъ ихъ на подоконникъ. Суетливые воробъи слетѣлись и давай клевать ихъ... "Чивъ-чивъ, чивъ-чивъ", долго стояло въ воздухѣ.

— Мнѣ хорошо здѣсь! — обернулся онъ ко мнѣ. — И никуда не тянеть, — окончилъ онъ, почти уже враждебно глядя на меня.

II.

Золотая мышь и бутонъ.

Только черезъ два года я опять попаль въ этотъ далекій, захолустный монастырь.

Тоть же съдой, точно мохомъ поросшій вратникъ встрътиль меня; тъ же пустынные дворы тянулись передо мною. Въ окнахъ келій не было замътно никого, и только громадныя липы, шелестя надъ старою стъною, нарушали общую неподвижность этого соннаго царства.

- Что, отцы-иноки на работь?
- Труждаются. Въ поляхъ... Сёдни у насъ косьба... Для обительскихъ животныхъ съно снимаемъ...

- Это хорошо!—сказаль я, чтобы хоть что-нибудь отвътить старику.
- Какъ не хорошо... Скоты, скоты, а тоже какъ чувствуютъ... У меня вотъ пса... Еретикомъ я его, псу эту, прозвалъ... такъ она больше иного человѣка. Словомъ не можетъ, слова ей не дано—такъ хвостомъ больше. Мнѣ весело, и она хвостъ завьетъ... корючитъ его... и завивъ у псы въ хвостѣ-то легкій... На, дескатъ, сколь у меня сердце чисто и духъ правъ!
 - Гдв же у вась Еретикъ...
- А теперь солнце... Онъ, это, спитъ... Тоже и исъ спокой требовается... Блаженъ иже и скоты милуеть!..
 - Это точно...
 - Еще бы не точно... Кто сказалъ-то!..
 - Ну, что, ваши всѣ здоровы?
- Брата Анемподиста о прошлое лѣто похоронили...
 - Вона... здоровый какой былъ.
- Подъ Богомъ ходимъ всѣ... Сегодня здравъ, а завтра—воззва къ Себѣ, и ступай въ горнія...
 - Что же онъ, отъ бользни какой?
- Безболѣзненно и ясно померъ!
- → Воть какъ!
- Въ единую сикунтъ. Вздумалъ онъ это колокольню у насъ поправлять, взлѣзъ-то взлѣзъ, да птицъ ужъ очень любилъ... Щеглы около него завозились. Онъ засмотрѣлся, да самъ сверху турманомъ внизъ... Кинулись мы, а ужъ онъ, голубчикъ-то, и не дышитъ... Такъ безболѣзненно и померъ... И какое произволеніе ему Господне... За обѣдней въ тотъ же день сподобился святыхъ тайнъ!.. Вонъ онъ Богъ-то какъ... Онъ, братъ, знаетъ, когда къ Себѣ призвать! Сдѣлай такое одолженіе...

Я подивился безболъзненной и ясной кончинъ о. Анемподиста.

- Еще отца Макарія не стало.
- А онъ какъ?
- Тоже волей Божіей... Десну, нашу ріку, знаешь?..
- Hy?
- Въ ней и утопъ... Въ разливъ... У него въ женскомъ-то монастыръ сестра-старуха спасалась, такъ онъ ее провъдать ходилъ... Ну, назадъ-то ночью ползъ.. И утопъ... Какъ вода спала, и тъло сего старца благопотребнаго нашли. А только и здорово же его раки объъли... Ну, мы его честь честью похоронили...
- А гдѣ же брать Хрисаноъ? Пишетъ все свои картины?

Вратникъ махнулъ рукой...

- Неужели померъ тоже?—И я вспомнилъ блѣдное лицо и слабую грудь талантливаго художника.
- Лучше бы!.. Бутонщикъ!..—ни съ того ни съ сего изрекъ онъ.—Бутонъ-съ, и при бутонъ-мышь!..
- Да что же съ нимъ случилось?—ничего не понялъ я.
- Въ голову вдарило!—таинственно наклонился ко мнъ вратникъ.
 - Какъ это?..
 - Такъ... Влетвло неввдомо откуда...
 - Что же онъ, рехнулся, что ли?
 - Въ родъ...
 - Съ чего же?..
- Превознесся—и вдарило... Одежды иноческія совлекъ съ себя... Облекся въ краткій!.. Къ плясавицамъ восхотѣлъ... Въ скверну мірскую ушелъ.
 - A!.. Монастырь оставиль, значить, совсымь?

- Вотъ-вотъ... Отецъ у его въ Смоленскъ померъ, большія тыщи оставилъ... Ну, такъ онъ съ этихъ тыщей и кружить пошелъ. Мы такъ полагали онъ по усердію своему на монастырь все, а тутъ одинъ тоже живопивецъ прівхалъ знакомый его. Запирались они въ кельъто, шептались, шептались... А тамъ вдругъ... дъло-то какое!.. Не хочу, говоритъ, въ вашей обители оставаться... Грѣха пожелалъ. Наши его видъли... ПІтаны на ёмъ узкіе, пальтишко-то краткое, тѣсное... Такъ члены не сокровенны и грудь вся отверста, а на груди бълая рубаха и на рубахъ мышь!..
 - Что такое?..
- Мышь, говорю... Подъ самой шеей посадиль себъ золотую мышь... Такъ она и сидить у него во всемъ своемъ непотребствъ. Ну, и цвътокъ!.. Въ петлъ-топвътокъ себъ насадилъ и ходитъ... Къ намъ приходилъ... Я его постыдить хотълъ... Это что, спрашиваю, надель?.. Бутонъ, говоритъ... Такъ я и сомлелъ... Мив, старцу-то, и слово какое... Бутонъ! А? Легко это мнъ?... Ну, а мышь зачьмъ?.. Усовъстить его думаю... Для галстуха, отвътствуетъ. Вижу, онъ обидъть меня хочеть-отошель... Настоятель самь долго съ нимъ говорилъ... Что жъ бы ты думалъ? Онъ и настоятеля улестиль. И какъ улестиль - то!.. даже благословиль его настоятель... Гряди, говорить, въ міръ... Дафованъ тебъ талантъ отъ Бога-труждайся во славу Его! А о бутонь ни слова... И тоть съ имъ, живопивецъ-то, который совратиль его. Тоже прівзжаль... А только ньть!..-одушевился вратникъ немного погодя. -Здъ пребывающій - отринуль, а грядущаго не взыщеть!..
 - Ну, это какъ еще-талантъ у него большой!
- На что талантъ то у него пошелъ. Въ нашемъ городу Вирсавія одна есть... лізповидная, но при всей

своей лѣповидности—сластолюбивая... Сосудъ грѣховный!.. Такъ онъ опослѣ мытарей-то да образовъ сталъ ее писать... въ срамномъ видѣ...

- Вотъ тебъ и на! изумился я.
- Какъ есть... Откровенно, по сіе мѣсто!—черкнуль себя вратникъ поперекъ груди.—Одинъ нашъ старецъ заходилъ къ нему плевался. Ты бы, говоритъ, ее прикрылъ... Что же бы ты думалъ, какое онъ ему слово пустилъ. Это, говоритъ, Богъ создалъ!.. А?.. Я такъ полагаю, отъ мыши это на него... Бутонъ— это по глупости, а мышь эта значительна и волшебна!.. Потомъ онъ къ папѣ римской уѣхалъ.

И вратникъ совсемъ уже сокрушенно опустилъ голову.

Сталъ я выспрашивать—молчалъ-молчалъ, да вдругъ какъ вскинется:

- Воть онь мірь-то... А?.. Сегодня ряса, длинная, соотв'ьтственная, а завтра бутонь!.. Живопивець этоть его все мутиль—по'вдемь да по'вдемь... въ Римъ-то... Ну, долго ли!.. Пришель онь къ намъ прощаться плакали мы... Что жъ съ имъ д'влать!.. Благословили... И Вирсавія сія тоже съ нимъ, изъ Люторовъ она—ей легко; а намъ-то, намъ-то каково? Ты только помысли... Совратится онь тамъ—совс'вмъ совратится!
- Такъ послѣ того и извѣстій о немъ не было никакихъ?
 - Были!.. Картину прислалъ!.. Въ подарокъ...
 - Какую это?..
- Агарь въ пустынъ... Отецъ игуменъ во храмъ ее поставили—гръхъ одинъ.
 - Почему?
- Агарь-то какъ онъ изобразилъ—черномазенькую... Сидитъ въ пескъ и уставилась глазищами... А глазища

у ей большущіе—такъ и горять. Замѣсто смиренія злоба у ее въ глазахъ-то, точно она весь міръ отринуть хочеть... Передъ ей младенчикъ въ пескѣ барахтается... плачеть... больше ничего... Песокъ это кругомъ и столь блестить отъ солнца, что смотрѣть больно... Падаль тоже въ сторонѣ нарисовалъ... вельбуда... Ребра одни да голова изъ песковъ торчить... И въ небѣ птица-грифъ голошейная и стервообразная... Ничего для духа нѣтъ!..

Я, разумъется, не могъ отказать себъ въ удовольстви посмотръть на новую картину брата Хрисаноа.

- Глядътъ-то нечего, убъждалъ меня вратникъ. Ничего въ ей божественнаго нътъ. Даже свътлаго вънчика сіянія у Агари нътъ... Видимо мірской человъкъ писалъ.
 - Да въдь Агарь не святая.
 - Во еще!
 - Върно.
- Толкуй больше... А кому Господь ангела послалъ?.. Агарь не святая... Кто жъ опосля того святой - то?
- Да, постойте. Чѣмъ же это она святой-то стала? Что лѣлала такое?..
 - Какъ что?
- Такъ, вспомните, развъ были у нея какіе подвиги?
 - Разумъется, были.
 - Какіе же?

Вратникъ сначала задумался, потомъ оживился.

— А ты не мудрствуй!..—вскинулся онъ на меня.— Вамъ, свътскимъ, оное мудрованіе ничего, а иноковъ соблазняетъ... Ты вотъ теперь въ душъ моей смущаніе поселилъ... Можешь ли ты это понять? А? Хочешь смотръть картину—смотри, а смущать честныхъ иноковъ не моги... Вы это по князю власти воздушныя, высунете языки, да какъ въ колокольчикъ звоните... А у меня теперь умъ мятется...

— Ну, прости, святой отецъ... Я это такъ.

- Знаю, что такъ... Да ужъ Богъ съ тобой... Я опослѣ у настоятеля спрошу объ Агари... Онъ у насъ все можетъ понимать, даже если и по-гречески... У насъ настоятель знаменитый!.. Носъ какой у его—видълъ?
 - Нѣтъ.
- Преизбыточественный носъ!.. Поди ка, у другого игумена найди такой носъ... Всёмъ носамъ носъ.
 - Какая же польза обители отъ этого?
 - Величественно!.. У него носъ грецкій...

Въ церкви картина брата Хрисаноа была забита въ самый уголъ...

Впрочемъ, теперь, когда я посъщалъ храмъ убогаго монастырька, косой лучь заходящаго солнца падаль именно на эту картину... Подъ его желтоватымъ свътомъ далеко-далеко уходили золотые пески пустыни... На самомъ горизонтъ въ желтоватой дымкъ тонула эта мертвая гладь, и темно-синее небо надъ нею казалось такъ же раскалено, какъ раскалены эти пески... Прямо въ лицо мнъ смотръли съ выражениемъ ужаса и страданія большіе черные глаза; тонкое смуглое лицо Агари, казалось, застыло, передавъ имъ всю свою жизнь... Рука безсильно опущена внизъ, другая, видимо, царапала песокъ — не окажется ли подъ нимъ воды... Пальцы еще скривлены, еще до половины они врылись... Въ тени, которую на желтый песокъ бросаетъ Агарь, лежить плачущее дитя... Въ высоть, въ недосягаемой глубинъ раскаленнаго неба, раскинулъ широкія крылья степной коршупъ и точно ждеть, когда ему можно будеть выклевать эти большіе, черные глаза брошенной на произволъ судьбы матери, рабыни, такъ жестоко выгнанной ревнивою Саррой изъ ставки ея господина... Нѣсколько подальше, уже полузанесенный пескомъ, виденъ трупъ верблюда... Изъ-подъ песчанаго сугроба, принявшаго очертаніе его тѣла, выдвинулась длинная шея и сухая голова животнаго... Ощущаешь на себѣ ослѣпительный свѣтъ и томящій зной пустыни... Картина производила сильное впечатлѣніе.

- Какъ хорошо!.. безсознательно повторилъ я.
- Что жъ хорошаго-то... Генералъ нашъ смотрѣлъ нътъ, говоритъ, ничего... Великольпія нътъ...
 - А какъ же хорошо-то надо?
- А воть какъ—младенца ей положить на колѣни, голову Агари устремить вверхъ молитвенно и очамъ дать умиленіе. Чтобы видно было, какъ она Бога молить послать ей воды... А туть грѣхъ одинъ отчаяніе... Ты погляди въ глаза-то... Развѣ эта Агарь на что надѣется?.. А?.. Вельбуда этого—совсѣмъ прочь, а вмѣсто птицы-грифъ въ разверзающейся тверди изобразить бѣлаго голубя!.. Вотъ это былъ бы образъ настоящій, а теперь Хрисанеова Агарь токмо свѣтское мудрованіе обозначаеть.
 - Генералъ вашъ ничего не понимаетъ.
- Генераль не понимаеть? Нѣть, брать, у него пынче черезь плечо! Воть какъ. Царь его красной кавалеріей пожаловаль поперекъ всей груди... Онъ не понимаеть... Онъ, брать, въ Смоленской ѣздилъ съ себя рисовать даваль тамошнимъ живопивцамъ пат реть... Воть это патреть. Генераль-то на конъ и конь подъ нимъ черный, изъ ноздрей духъ такъ двумя вътрами и стремится. Въ рукъ у генерала—сабля на-

голо, впередъ простирается, какъ бы указуя, и въ другой рукъ у ево—малая хартія!..

- Это еще какая хартія?
- Да, брать... Не то, что Хрисанов, этоть живопивець съ мозгомъ. Такая хартія, которую ему царь при кавалеріи прислаль. При каждой кавалеріи вѣдь хартія полагается!.. А внизу подъ конемъ, подъ самымъ брюхомъ - то — солдатики всякіе, такъ и идутъ, такъ и идутъ... А позади — прямо въ хвостъ коню пушка стрѣляеть, а конь этого совсѣмъ не боится и даже въ знакъ храбрости своей хвость трубой держитъ—пали, дескать, сколько хошь...
 - Да въдь генералъ-то вашъ интендантскій.
 - Точно.
- Зачъмъ же ему пушка и сабля?...Ему куль муки и рваные солдатскіе сапоги подобаеть изобразить... А вмъсто солдать обозъ бы надо.
- Ну, это не нашего ума дѣло... Теперь этоть патреть у него въ домѣ виситъ... Генералъ на него все утѣшается... Столь это ему отрадно!.. Еще съ сабли-то у него кровь капаетъ, точно онъ всю ее въ человѣческой крови выкупалъ!.. Красная такая. И ротъ отверстъ.
 - Это для чего же? Муха влетьть можеть.
- Какъ же ей влетъть, братецъ ты мой, когда онъ неистово "ура" кричитъ? Саблей машетъ и "ура" кричитъ...
 - Да зачёмъ же это?
- А что же другое-то генералу, кромѣ "уры", кричать?.. Не онъ самъ, указано—чтобы "ура"!..
 - И похожъ генералъ лицомъ вышелъ?
- Ну, это пе то, чтобы. Потому лица не видно... Усы одни.

- -- Какъ же это?
- A сверху-то козыремъ глаза закрыты... Зато усы—на виду. Усы и отверстый ротъ... Ты бы пошелъ къ генералу-то.
 - Къ незнакомому?
- Что жъ, онъ это очень любитъ, ежели кто на картину его любопытствуетъ. Страсть любитъ. Сейчасъ угощение...

Къ сожалънію, мнъ такъ и пришлось уъхать изъ этого захолустнаго города, не увидавъ генерала съ пушкой.

III.

На выставкъ.

Въ Петербургъ открылась одна изъ художественныхъ передвижныхъ выставокъ.

Толиы празднаго парода зъвая слонялись по заламъ, прислушиваясь къ отзывамъ знатоковъ и ничего не понимая... Барыни останавливались преимущественно передъ портретами своихъ знакомыхъ и лорнировали ихъ, какъ живыхъ. Какой-то крупный жидъ съ утра до ночи вертълся передъ своимъ собственнымъ изображеніемъ, какъ будто тъмъ самымъ желая доказать высокое искусство художника, сумъвшаго нъсколькими совсъмъ уже небрежными мазками кисти передать на полотнъ и эти толстыя чувственныя губы и эти хищные глаза, зорко выглядывавшіе изъ-подъ низко опущенныхъ съдыхъ бровей... Баранье стадо остановилось передъ какою-то голою женщиной, тълу которой художникъ придалъ совсъмъ уже некстати лиловый оттънокъ, точно она всю себя покрыла вечерними

румянами. У громадной картины - "Іоаннъ Грозный топить новгородцевь въ Волховъ", съ самаго утра не прекращалась толчея. Неувъренные пріемы художника, несоразмърность частностей, особенно старательная отлълка однъхъ деталей, рядомъ съ совершенно небрежно набросанными, - все это совершенно пропадало въ общемъ впечатльни ужаса, охватывающаго зрителей. Таланть молодой, могучій, еще не вполнъ совладавшій съ самимъ собою, не умъющій распорядиться громадными данными, сказывался во всемъ. Спокойное, почти совствиъ схимническое лицо Іоанна рядомъ съ ожесточенными, злобными, испуганными, закостентвшими въ смертельномъ отчаяніи лицами жертвъ, производило удивительный эффектъ. Какой-то неистовый историкъ, близорукій, весь поросшій мохомъ, придвинулся къ самой картинъ и, упершись носомъ въ полотно, какъ свинья въ разрываемую ею землю, негодоваль на допущенныя авторомъ археологическія невърности. Но эту крысу никто не слушалъ... "И это сапогь — той эпохи!" злился онъ. "Посмотрите, эту шапку стали носить только при Димитріи Самозванць!.. " "Какая прелесть!" восклицала бархатная дамочка, но и на ея легкомысліе никто не засм'вялся.

- A все-таки Господинъ-Великій-Новгородъ не умеръ! послышалось изъ толпы.
- Пойдемте-ка я вамъ покажу кое-что, тронулъ меня за плечо знакомый художникъ.—Тутъ въ уголку есть одна картинка—заглядитесь...
- Чья?
- Совсъмъ еще неизвъстнаго... Монахомъ былъ изъ монастыря ушелъ. Теперь онъ поучился годъ въ Римъ и пріъхалъ сюда. Первый разъ выставилъ... Сказываютъ, у него много набросковъ другихъ картинъ.

- Это вы о Чумаков'в?—перервалъ его длинноволосый артистъ стараго образца.
 - Да...
 - Боленъ онъ очень... Кашляетъ.
- Да, онъ вообще смотритъ не особенно прочно... Вотъ она, посмотрите...

Верхушка колокольни готического монастыря... Изъ стръльчатаго окна смотритъ внизъ измученное лицо молодого монаха. Страданіе лежить въ каждой черть его. Видимо, измождаль себя постомь и молитвой, доканать хотъль и не доканаль... Въ этихъ глазахъ, устремленныхъ внизъ, столько тоски... Какъ птица, запертая въ клътку, бъется жаждущая воли и простора душа въ этомъ хиломъ теле... Вдали, тамъ, куда смотрить инокъ, вся затопленная солнечнымъ свътомъ мерещится долина... Туманными очерками круглятся ея пышные сады, едва-едва намъчивается спокойная ръка со смутнымъ силуэтомъ горбатаго моста падъ нею, за нимъ, скорфе отгадываешь, чемъ видишь, куполы, шпили и кровли заснувшаго въ золотистомъ свъть города... Что разглядываеть молодой монахъ въ этомъ туманномъ маревѣ, что ищетъ его упорный страдальческій взглядъ внизу?.. Худая рука опущена внизъ, за окно... Каждая жилка видна въ ней. Пальцы согнулись, точно хотять выдавить ненавистный, горячій, нагрытый солицемъ камень монастырской колокольни.

- Превосходно!
- Да... Большой таланть видень. Посмотрите, какъ все закончено... Ничего лишняго...
- Скажите, вы не знаете, въ какомъ монастыръ былъ Чумаковъ?

- Въ Б... Это далеко отсюда. Совсѣмъ захолустный монастырекъ на югѣ... на Деснѣ гдѣ-то. Послушни-комъ былъ онъ тамъ.
 - Да я его знаю... Братъ Хрисанеъ?
- Воть-воть, онь самый... Хотите, повдемь къ нему? Онь обрадуется.
 - Вы съ нимъ знакомы?
 - Вмѣстѣ въ Италіи были—еще бы не знать!.. Чумаковъ жилъ недалеко.
- Онъ все солнечную улицу выбиралъ. Тоскуеть здъсь по южному солнцу и по своему монастырю!..

Спустя минуть десять мы уже звонили у его квартиры.

- Хрисаноъ Иванычъ дома?
- Гдъ же ему быть... больной лежить...—недовольно проворчала какая-то старуха.—Докторъ даве быль.
- Ну? Сказалъ что-нибудь?
- Ничего не сказалъ, только десять рублей взялъ, и инчего... извъстно, что они могутъ, доктора.
- Да рецепть оставиль?
- Тамъ набрехалъ что-то... въ спальную пожалуйте...

Въ комнатахъ вездѣ были наброски... на мольбертахъ сохли начатыя и на половинѣ брошенныя картины. Точно нетерпѣливая мысль художника не удовлетворялась ни однимъ изъ этихъ сюжетовъ и оставляла его на половинѣ, или просто онъ торопился... Сознаетъ, можетъ - быть, что недолго остается работать, начнетъ одно, а вдохновеніе подскажетъ другое, и хватается за новое полотно... На нѣкоторыхъ углемъ были набросаны какіе-то смутные контуры, понятные только одному ихъ творцу...

- Знакомаго къ тебъ привелъ... еще въ Б. тебя зналъ...
- Не помню что-то...—поднялось съ кровати худоехудое лицо съ яркими, точно нѣсколько воспаленными глазами. Чахоточный румянецъ игралъ на скулахъ, рѣдкая бороденка измялась... сухая нервная рука старалась паскоро застегнуть воротъ рубашки...

Я разсказалъ ему о первомъ нашемъ знакомствъ,

- Теперь и я васъ узналъ!.. Какъ же... Вотъ видите—совсъмъ оставилъ монастырь. Не были вы тамъ послъ меня?
- — Какъ же, въ прошломъ году...
 - Ну, что же, кого видъли?
 - Вратника.
 - А... отца Іону... Обижается онъ на меня!
 - Больше всего за золотую мышь и бутонъ.

Чумаковъ слабо усмъхнулся.

- Ну, и на Агарь мою негодуеть... Да, хорошо тамъ было... тихо, спокойно. Работалось чудесно, совствить не такъ, какъ здъсь...
- Это почему?
- Въ мірѣ мысль нетерпѣливой становится. Пропасть впечатлѣній некогда выносить идею... не кончишь одного другое вырастаеть, за это схватишься —
 опять въ невиданной яркости и красотѣ третье всплыветь... Да и нервы шалятъ... а тамъ миръ... благоволеніе, какъ говорили старцы. Помните видъ у меня
 изъ окна. Вся эта даль, солнцемъ облитая... А жасминъ мой въ углу... для меня одного цвѣлъ... Птицы
 ко миѣ летали. Люди простые тамъ, съ ними легко
 жилось, и требованій никакихъ не было. А тутъ-то,
 тутъ-то... точно въ водоворотъ попалъ какой-то. Волны
 кругомъ подымаются... злыя! захлестнуть хотятъ. Всѣ

это бъгутъ куда-то, и время бъжитъ... сегодня упустилъ — завтра поздно. Страшно здъсь... громады эти каменныя, точно тюрьмы большія— грудь давятъ... Дома каменные и люди каменные... Иной разъ, какъ у меня грудь разболится, ночью, такъ и кажется, что всъ эти гранитныя массы навалились на меня, вотъ-вотъ расплющатъ...

И брать Хрисанов раскашлялся.

- Ты бы поменьше говориль!..
- Э!.. все равно... И не жиль совсѣмъ... другіе хоть живуть, а я такъ прозябалъ все время. Вотъ, если умру, отецъ Іона сейчасъ это объяснить... скажеть обитель оставилъ Богъ его и наказалъ... за бутонъ!..

И братъ Хрисаноъ нервно разсмъялся.

Вскорѣ послѣ того я уѣхалъ на далекій югь. Весна въ Константинополѣ была удивительная. Петербургъ еще задыхался въ снѣгахъ, которые никакъ не хотѣли таять подъ живительнымъ дыханіемъ полуденнаго вѣтра, а на Босфорѣ уже цвѣли розы и лиліи, наполняя воздухъ своимъ тонкимъ ароматомъ. Мелодическія волны съ утра шептали что-то уже согрѣтому горячимъ солнцемъ берегу... Мысль погружалась въ какую-то нѣгу. Мечты, какъ легкіе паруса левантинскихъ лодокъ подъ попутнымъ вѣтромъ весны, скользили въ сказочный край феи - фантазіи, чаруя душу нежданною прелестью яркихъ образовъ и чудныхъ звуковъ...

Русскій пароходъ отходиль изъ Константинополя въ Принкипо. Мнѣ предложили принять участіе въ этой поэтической прогулкѣ. Принцевы острова—самый роскошный уголокъ Босфора. Я отправился, и на столѣ каютъ-компаніи, въ первый разъ послѣ двухъ мѣся-

цевъ, увидълъ русскую газету. Пробъжавъ ее разсъянно, паткиулся на некрологи.

— Ну-ка, кто вышель въ тиражъ? Н'втъ ли знакомыхъ?..

"Вчера умеръ молодой талантливый художникъ Хрисаноъ Чумаковъ отъ чахотки"...

Я невольно опустилъ газету.

Дальше слѣдовалъ послужной списокъ покойнаго, — скучный и ничего не говорящій душ'ь.

"Городъ каменный, люди каменные!" пронеслось у меня въ памяти...

- Что это вы? -- обратились ко мив спутники:
- Умеръ знакомый одинъ...
- Кто такой?.. Какъ его звали?
- Не отъ міра сего...—невольно сорвалось у меня.

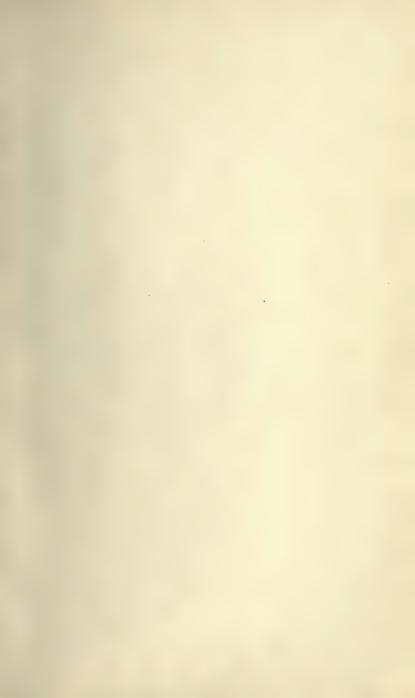
Лучше нельзя было подобрать опредёленія покойному брату Хрисаноу.

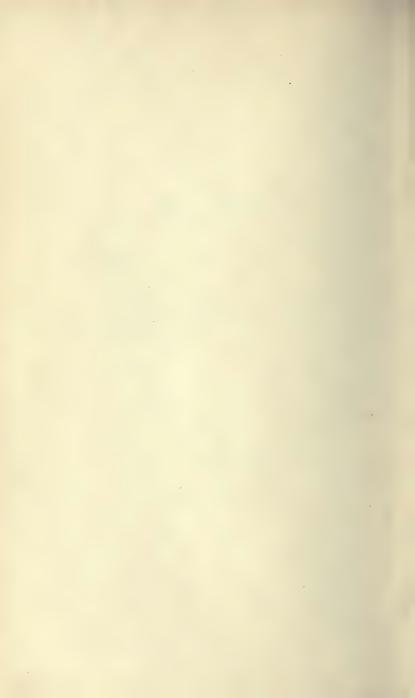


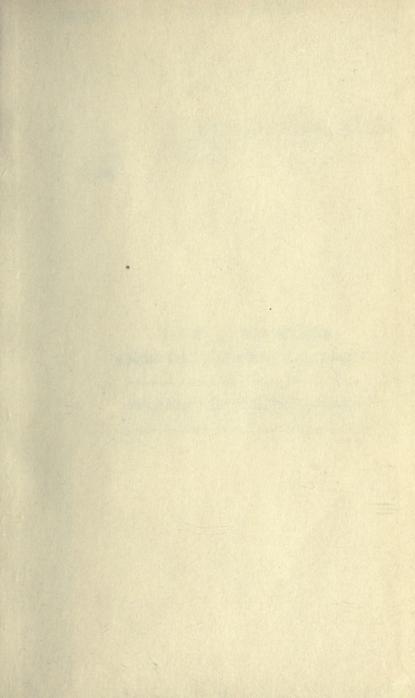
оглавленіе.

					Cmp	
I.	Волны					3
II.	Ночью и днемъ				. 70)
III.	Собака				. 90)
IV.	На первыхъ порахъ				. 108	5
V.	Русскій художникъ въ Венеціи				. 24	l
VI.	Не отъ міра сего	• 4			. 280)

20000









BINDING SECT. AUG 29 1962

PG 3467 N4V62 1907 Nemirovich-Danchenko, Vasilii Ivanovich Volny

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

